6-144

150 ЛЕТ ФОТОГРАФИИ

Москва. Храмъ Христа Спасителя.

Цветные открытки с видами старой Москвы.
Из коллекции И. М. Перкеса.

ISSN 0321—0561. СЛОВО 1989. № 10. 1—88. Индекс 70110. 90 коп.

ISSN 0321—0561

СЛОВО

В МИРЕ КНИГ 10|89

150
ЛЕТ
ФОТОГРАФИИ

МОСКВА. — MOSCOU.

Фото Шерер, Набгольц и К^0

На обложке:
На уроке в Косинской музыкальной школе (г. Москва).
Фото Павла Кривцова.

КУЛЬТУРА

ТРАДИЦИИ. ДУХОВНОСТЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ.

РУССКАЯ ФОТОГРАФИЯ

Слава Богу, что в мировой фотографии, которая отмечает в этом году свое 150-летие, есть и такое понятие, как русская фотография. Крупнейшие специалисты и знатоки разных стран находят в ней отличительные черты и психологическое своеобразие, свойственное работам только наших отечественных мастеров.

К счастью, настала добрая пора. В стране происходят большие общественные и художественные перемены. Все смелее и настойчивее начинают извлекать из тайников, спецхранов, запасников музеев и архивов старые фотографии (дореволюционные и послереволюционные). И воочию перед нами предстают традиции русской фотографии. С удивлением замечаем, что в лучших работах наших современных мастеров много схожего со старой жанровой нижегородской, вятской, архангельской, ярославской, костромской фотографией... Видно, интуитивно была воспринята традиция, сложившаяся еще в прошлом веке, когда технические возможности были крайне ограничены, но это не мешало энтузиастам творить свое ремесло профессионально.

Несомненно, современная культура, издательское дело и пресса уже немыслимы без фотографии. Несмотря на бурное, далеко опережающее развитие порожденных фотографией кино, телевидения и видео, она прочно занимает свое место в ряду современных духовных источников и успела достигнуть такого уровня, что из увлечения любителей перешла в достойный ранг одного из видов мирового изобразительного искусства.

На страницах нашего журнала фотография всегда представлена широко, ведь книга немыслима без хорошей документальной иллюстрации, публицистического и художественного зрительного ряда.

Но в этом номере мы отмечаем юбилей фотографии. И наряду с работами старых мастеров представляем современных, тех, чьи фотографии отмечены и отечественными, и международными премиями, дипломами.

Имя Павла Кривцова (его снимок открывает номер) должно быть хорошо известно нашим читателям. Начиная с пятого номера этого года, он практически представлен в каждом, и все фотографии высшего класса. То ли это памятник Сергию Радонежскому, то ли репортаж из Беломорья, то ли портреты подвижницы Ксении Гемп и новгородского мастера Владимира Поветкина... В каждом снимке свой филигранно отточенный почерк.

Павел Кривцов долгое время жил и работал в Белгороде, потом с большим успехом — в газете «Советская Россия», последние три года — в журнале «Огонек». Пожалуй, в эти годы к нему пришло международное признание. Его работы отмечены высшей мировой профессиональной наградой «Золотой глаз», ему присвоено звание «Международный мастер фотографии». Он получает заказы от самых известных зарубежных изданий, его работы представлены в самых взыскательных мировых антологиях, к его выставкам всегда большой интерес.

Павел Кривцов любит традиционную фотографию — черно-белую, ей отданы десятилетия, и здесь, как он считает, у него случаются удачи... Цветной же он занялся с переходом в «Огонек». Но вам легко оценить по нашей обложке, и по репортажу из Беломорья (вкладка № 8), что и в этом он весьма преуспел... (См. с. 57).

Зато Анатолий Заболоцкий снимает на цвет, сколько себя помнит. Его фотографии к книге Василия Белова «Лад» принесли ему широчайшую известность как выдающемуся мастеру цветной фотографии. Мы представим его вам на стр. 33—36, поскольку цветная вкладка на сей раз отведена его работам...

На вкладке же есть и репортаж из московского лермонтовского дома. Его сделал коренной москвич, старейший сотрудник нашей редакции Кирилл Константинович Попов. Он публикует свои работы на страницах журнала с 1957 года. Человек вдумчивого и наблюдательного ума, юрист по специальности, он настолько увлекся фотографией, что выбрал ее своей профессией. Сотни репортажей, связанных с книгой и жизнью писателей, снял он за эти годы. И время его не берет, он по-прежнему энергичен, по-прежнему в поиске...

Юрий Садовников, в отличие от своих коллег Попова, Заболоцкого и Кривцова, еще и страстный коллекционер старой фотографии. Когда нельзя получить оригинал, он непременно переснимает... Так что его коллекция с копиями-негативами давно перевалила за полторы тысячи. В ней только открыток с видами старой Москвы до трехсот... С частью его коллекции вы могли познакомиться в журнале «Советское фото» (№ 6, 1989), в публикации, посвященной юбилею. Там же нас привлек рассказ о старой фотографии. Мы попросили его поделиться своими мыслями и на страницах нашего журнала...

Юрий Садовников — журналист, начинал на Сахалине, в молодежной газете. Охотское, Берингово моря, Тихий океан — стихия его молодости и зрелости. Как он считает, там прошли его счастливые годы. Он много снимал, месяцами пропадал в океане вместе с рыбаками... Теперь о той поре напоминают только фотографии...

Почти двадцать лет он живет в Москве. Работал в газете «Советская Россия», потом в «Правде» и уже добрый десяток лет — ответственный секретарь журнала «Юность». Ни одной значительной фотовыставки в столице не бывает без его работ. Он часто публикуется и в периодической печати. Но фотографии, которые мы вам предлагаем, за исключением одной, никогда не публиковались. Посмотрев их, вы, несомненно, согласитесь, что он мастер психологических, драматических ситуаций и мастер чистого, светлого и глубокого портрета.

Да, культура фотографии, ее духовная суть складывается из индивидуальностей мастеров, которые помогают нам открыть мир в навечно застывших мгновениях.

Арс. КУЗЬМИН

Фотомастер Я. ЛЕЙЦИНГЕР (Архангельск).

Фотомастер С. М. ЧЕРНОВ (Архангельск).

Из семейных альбомов М. М. Елагиной и М. Я. Капустиной (Архангельск).

Фотографія Александры Ефремовой

Фотомастер А. ЕФРЕМОВА (Архангельск).

Фотомастер С. А. ЛОБОВИКОВ (Вятка).

150 ЛЕТ ФОТОГРАФИИ

ЮРИЙ
САДОВНИКОВ

СНИМОК НА ПАМЯТЬ

Ю. Н. Садовников

Фото ПАВЛА КРИВЦОВА

«...Какая цель и идея руководили мною в течение всей моей жизни? Это цель добиться, сколь позволят мне силы, поднять фотографическое искусство, прежде всего в нашем захудалом городишке, а может быть и больше. У меня была жажда к тому, чтобы фотографию привыкали наши русские граждане считать не забавой, не ремеслом для заработка, а выше...

У художника кисти и художника светописи пути разные, а цель одна...»

Эти прекрасные и глубокие по сути своей слова принадлежат известному русскому фотографу Сергею Александровичу Лобовикову из вятского городка Кирово-Чепецка. И хотя в «Энциклопедическом словаре» он назван «советским мастером фотоискусства. Преим. жанровые (в т. ч. натурные) снимки», основное наследие Сергея Александровича составила фотография, снятая в дореволюционные годы и вошедшая в золотой фонд русской фотографии. Николай Шилов, современный фотограф из Кирово-Чепецка, сделавший изыскания архивов Лобовикова, рассказывал мне, что, кроме жанровой, художественной фотографии, Сергей Александрович занимался и обыкновенным фотографированием на «визитку», на заказной портрет. Как и все русские мастера фотографии, которые никогда не считали «зазорным» или обидным для своего высокого мастерства создание портретов людей из народа, запечатление сцен народного бытия.

Кстати, таких фотографов, активно снимавших народную жизнь и проявлявших к этому занятию постоянный интерес, в дореволюционные годы было немало на Руси. А некоторые были столь популярны, что за ними ездили за сотни верст из дальних губерний, уважая их как настоящих художников.

То, что немало тогда было талантливых фотографов, подтверждает «Список русских фотографических обществ», опубликованный в № 5 «Фотографических новостей» за 1909 год, очень популярного тогда издания. Есть смысл привести его хотя бы частично.

«1. СПБ, V отдел Императорского русского технического общества (и четыре его филиала в Киеве, Одессе, Харькове и Ярославле).

......

7. СПБ. Общество фотографов-профессионалов в С.-Петербурге.

8. Москва. Русское фотографическое общество в Москве.

9. Общество фотографов-любителей в Москве.

13. Баку. Бакинский фотографический кружок.

17. Вятка. Вятское фотографическое общество.

21. Иркутск. Иркутское фотографическое общество».

И далее перечень сорока пяти городов — Казань, Минусинск, Орел, Пермь, Ревель, Рыбинск, Томск, Чита... Несть им числа, фотографам, ведь не одного-двух объединяли общества. В Забайкальском Фотографическом Обществе (так и писали, с прописных букв, с уважением), учрежденном 29 мая 1913 года, было 123 члена. Это в Чите-то, можно сказать, каторжном краю! Они немало сделали для того, чтобы дорогое по тем временам ремесло фотографии было доступно широким кругам народа. От них и остались снимки, которые не желтеют, не пропадают до сих пор.

Детство мое прошло в забайкальской деревне, между Шилкой и Вершиной Дарасуна. До сих пор в памяти виденные почти в каждой избе, на стене рядом с передним окном либо там, где раньше иконы стояли, в красном углу рамки с фотографиями. Посмотреть их — все равно, что историю рода прочитать.

Думаю, что обычай этот — собирать семейные фотографии в одной раме, купно, всех вместе — и пошел-то от красного угла, в котором был иконостас, по-домашнему божница. Это особенно привычно было крестьянину, у которого отняли веру в Бога, а с ней и божницу в красном углу, но взамен не дали ничего, кроме плакатов и призывов, которые мало соответствовали действительности. Но недаром говорят в народе — свято место пусто не бывает. Фотографии близких людей были всегда перед глазами, и с ними можно было мысленно перемолвиться, напомнить себе, что надо послать весточку живым или прикоснуться к заветным думам об ушедших.

Я любил рассматривать снимки в рамках, но еще больше поражали меня их предшественники — солидные семейные альбомы. Старинные были в переплетах из натуральной кожи, с богатым тиснением по ней, с красивыми виньетками вокруг вырезанных в картоне «окошек» для фотографии, почти всегда наклеенных на картон.

Собирать старые фотографии я начал именно после просмотра нескольких альбомов в семьях мастеров-стеклодувов, бывших заводов Болотина в Вышнем Волочке — ныне известного завода

«Красный май», на котором были отлиты рубиновые сульфидные стекла для звезд на башнях московского Кремля. Искусствовед Елена Григорьевна Рачук попросила сделать репродукции с трехсот портретов стеклоделов, мастеров, рабочих этого завода. Вот тогда я увидел, сколь высока была культура изготовления семейной, домашней да и вообще всякой фотографии. Но столь же высока была и культура потребления фотографии в народе, если сохранилось их столько в домах потомков. Лицо целого поколения людей прошло передо мной на тех фотографиях, сделанных в фотографических заведениях Вышнего Волочка, Твери, Торжка, Петербурга и Москвы. И фотографам того времени удалось запечатлеть это поколение людей так, с таким мастерством, что мы удивляемся этому даже сейчас, во время лазеров и компьютеров, полностью автоматизированных японских фотоаппаратов.

К сожалению, культура той фотографии позже, уже в наше время, в тридцатые — сороковые, а окончательно в пятидесятые годы ушла, исчезла вместе с теми фотографами — мастерами штучной работы. Нет сомнений в том, что каждый из них был личностью весьма незаурядной. Иначе мы не имели бы столько прекрасных фотографий, по которым можно судить о высоком уровне мастерства фотографов, их уважительном и внимательном отношении к портретируемой личности, несомненному духовному контакту, который находил фотограф с «клиентом», прежде чем начать фотографирование. Эти мастера имели свою славу среди тех, кто хотел быть постоянным посетителем их заведений. Мне известно, что в Москве популярна была мастерская Г. Трунова, хотя работа его стоила недешево даже по тем временам. Или заведение Шерера и Набгольца, именовавших себя «фотографами Его Императорского Величества» и в то же время имевших «Общедоступные фотографии», где можно было сняться на визитку по более низким ценам, однако качество исполнения было тем же, что и в дорогом заведении.

Чем ближе к нам по времени, тем разительнее разница между снимками фотографов-бытовиков (название-то какое привилось!) и картонами минувших дней — так уважительно хочется их называть, ибо не встречал я заказной фотографии того времени, не наклеенной на картон, и каждая — с виньеткой, адресом, именем и маркой фотографа. Я уж не говорю о качестве фотоматериала — иным в моем собрании за сто лет, а почти не изменили цвета. Когда сейчас читаешь их оборотную сторону, украшенную надписями типа «Фотограф двора ...», гербами, вензелями и медалями каких-то невероятных выставок прошлого века в Париже, Лондоне и Берлине, испытываешь ощущение, близкое к знакомству с подлинными картами испанских походов в Америку. Будто это другая земля, загадочно исчезнувшие жизнь и время. Эта область — той фотографии прошлого и начала нынешнего века — для нас пока тоже «терра инкогнита», которую нам же предстоит открыть и обнародовать. Хотя бы для того, чтобы узнать, что напрочь исчезла культура изготовления семейной фотографии — визитки, кабинетной, праздничной — по случаю свадьбы, завершения курса обучения и прочих торжеств. И чем ближе к нашим дням во времени, тем больше из семейной фотографии уходит душевное тепло, внимание к портретируемой личности, исчезает какое-то всесветное уважение к отдельному человеку, к его лицу.

Печально сознавать, что мы так много растеряли из своего славного наследства, торопясь по-новому устроить свою жизнь. Растратили то, что было близким отголоском славы российской фотографии, идущей от Левицкого, Карелина, Дмитриева, Улитина и других. К чему же пришли? К тому, что многие люди не знают и не помнят своих прадедов и прабабушек, да и дедов своих помнят смутно. Зато с каким тщанием нынче, не зная рода своего, иногда ведут подробную родословную своих собак. Опять же дань моде, но может уж хватит модничать, а лучше заглянуть поглубже и повнимательнее в свое прошлое?

Конечно, сегодня фотография общедоступна. Десятки тысяч профессионалов буквально на каждом углу поджидают охотника запечатлеть себя на память. И стоит такое удовольствие совсем не гроши... А многие сами овладели ремеслом, ведь в обиходе миллионы фотоаппаратов...

Иначе было в начале века, и уж не говорю, как обстояло дело сто, сто двадцать, сто пятьдесят лет назад. Тогда на память могла запечатлеть себя зажиточная семья или человек состоятельный. Фотография заказывалась не часто — по семейным торжествам, к событиям важным и долгопамятным...

Вот такие фотографии я люблю, люблю рассматривать лица на этих старых фотографиях, лица людей, давно ушедших из мира... Сколько в них красоты, здоровья.

Смотрю на северную крестьянку из села Заостровье. Фотографии уже более ста двадцати пяти лет. Ее выбрал для своей книги «Год на Севере» известный этнограф и путешественник, замечательный русский писатель Сергей Васильевич Максимов. Книга эта, к счастью, после долгого перерыва недавно вернулась к читателям. Ведь такое лицо надо увидеть, чтобы с большей для себя пользой представить, от какого корня мы идем.

Или замечательная фотография начала века Лобовикова из Вятки, снявшего молодоженов — учительствовавшего там чеха из Праги Яна Штангля и его невесту — пражанку Марию. В последующем Штангль принял революцию, возглавил массовое физкультурное движение в Вятке, а потом — в Ленинграде, и в Красной Армии имел звание комкора, был начальником Физкультурной военной академии, в 1937 году вместе с выдающимися военачальниками был обвинен в шпионаже и расстрелян... И, конечно, реабилитирован.

На поклон. Апрель 1989 года.

Похороны маршала А. А. Гречко. Апрель 1976 года.

Штурман полярной авиации В. И. Аккуратов.

Портрет Полины Александровны. 1984 г.

«А океан назвали Тихим...» 1965 г.

Или вот три архангельские фотографии из семейного альбома Елагиных, коренных соломбальцев. Фотография классной дамы с воспитанницами гимназии выполнена фотографом А. Ефремовой. Явление чрезвычайно редкое по тем временам, а фотография великолепная. Равно как и другая фотография Елагиных — семья в трауре. Овдовевшая мать с детьми. Сколько в ней психологического драматизма.

Русская семейная фотография в своем роде уникальна. Она заслуживает самого внимательного изучения.

В открытии и восстановлении в моем сознании старой русской Москвы, варварски разрушаемой и уничтожаемой на протяжении долгих десятилетий, начиная с 30-х годов и по сию пору, большую роль сыграла коллекция открыток Иосифа Мироновича Перкаса. Бывший учитель, московский подвижник и коллекционер собрал несколько тысяч открыток старой Москвы, в том числе и цветных — весьма и весьма редкие экземпляры! Две из них вы увидите в этом номере.

Конечно, такие превосходные открытки должны быть возвращены в людской оборот. Они вызывают большой интерес, и многие с удовольствием приобрели бы их. Я уверен, с большей охотой, чем открытки с гостиницей «Интурист» на улице Горького или зданием СЭВа на проспекте Калинина.

К сожалению, все старое, доброе и памятное возвращается к нам медленно. И попыток к этому делается мало, тем важнее шире говорить о старой русской фотографии. Ведь по коллекции И. М. Перкаса можно было бы сделать великолепную книгу.. Но издателей это не интересует, а у коллекционера для этого просто сил не хватает...

Помогает ли мне старая фотография? Несомненно. В подборке моих работ, с которыми знакомит вас редакция, есть портрет Полины Александровны. Разве он несхож с портретами Лобовикова или семейными фототрадициями соломбальцев?! Но это портрет дорогого мне человека, единственного в мире. Я люблю свою маму, и мне хотелось, чтобы в портрете каждый увидел все лучшее, что она несет в себе людям весь свой долгий век. А в то же время она русская женщина со всеми присущими чертами национального характера. Она добра, мила лицом, по-своему мудра, наблюдательна, она жизнелюбива, хотя достаточно много перенесла в жизни бед и горя, она отзывчива на людскую боль и страдание... И она моя мать. Хотя на выставках — это просто портрет Полины Александровны, образ русской женщины конца семидесятых годов.

Наши предшественники — фотомастера XIX и начала XX века в своих домашних студиях умели раскрыть человеческие характеры, как это нам не всегда удается, даже владея их опытом, зная их великолепные работы. Надо еще и еще раз всмотреться в их произведения, чтобы понять, что же они ценили в человеке, нашем давнем соотечественнике.

КНУТ ГАМСУН

РАВНОГО МОСКОВСКОМУ КРЕМЛЮ Я НИЧЕГО НЕ ВИДЕЛ

В 1903 году в Копенгагана вышла книга Кнута Гамсуна (1859—1952) с очерками о его недавнем русском путешествии. Гамсун дал ей название, отвечавшее сути, — «В сказочной стране». Книга не скрывала дружелюбия и даже восхищения Россией. А ведь писал ее человек, подобострастием ко всему чужому не страдавший. И в этом смысле нынешний год для него юбилейный. Свои печатные размышления о загранице он начал ровно сто лет назад, причем и тогда затрагивал что-то русское.

Таков сборник его заметок «О духовной жизни современной Америки» (1889). Буйная жизнь-борьба с постоянным и тщательным обзакониванием ретивого промысла, но по сути своей уже тогда лишенная напряженного духовного ритма. Очевидный разрыв, ценилось другое. Правило для всех — средь бела дня лишнего не брать. Свобода и безопасность: неотъемлемое право каждого — свой пистолет. Несусветная гордыня существ, которым нет в мире равных по сытости, а в любом деле смысла и истины есть решение по большинству голосов. Религия и атеизм: деловое сожительство. Практичная торговля детьми заменила пожизненное рабство негров, оно низвергнуто. Производительность возросла; неудержимый прогресс. Не к этим ли вопросам так много внимания и сегодня?

Что-то знакомое видно и в том, как сам Гамсун начинал — еще до вторжения в литературу. Примерно так же шел чуть позже и наш Алексей Максимович Пешков. Крепко потеснив тех, кто с пеленок до совершеннолетия был ухожен и сыт, юный Педерсен (подлинная фамилия писателя) познал немало для закалки силы и воли: нищету в многодетной семье, невзгоды приемыша, батрака, поденщика. Да и за океан-то он дважды плавал батрачить: не мастером культуры, не полпредом-подрядчиком мировых общественных дел — а именно так, как и Пешков бродил по Руси.

Когда вдруг пришла слава, зарубежные поездки Гамсуну уже охотно оплачивало государство, тогда он побывал и у нас. Но, конечно, Россия его привлекла не этим.

Тут нелишне напомнить, чем он сам увлекал читательский мир. В поиске того, что не было бы мраком и холодом «прогресса», писатель испробовал разное. Первым ключом к пониманию у публики оказался роман-протокол человеческой муки, на собственном опыте, безжалостный и с красивым блеском («Голод», 1888—1889). От казенщины парламентской жизни Гамсун рванулся к полностью дикой свободе бродяги — как «у викингов», с неуемной телесной «любовью», при сатире на чахлый в таком отношении «город» («Пан», 1894; «Под осенней звездой», 1906). Или, скажем, прекрасная повесть «Виктория» (1898) — о запутанном чувстве между юношей-простолюдином, позже писателем, и прелестной девушкой из господ. Что ж: как у нас человека-артиста из толщи народа могли «понести на руках к торжеству прогрессивные женщины» (образ из Василия Розанова), так случилось это и с Гамсуном, психологом тяжелых страстей. А с какой-то другой стороны пришло и влеченье к России. Забывая отчасти «успех» или за него уже не беспокоясь, Гамсун все-таки думал: что важней и весомей — возвращение в лоно природы у спортсмена-охотника — или жизнь, что в природе ведет изначально, и в труде, и в обряде, неспортивно могучий крестьянин? Ведь и он же, Кнут Педерсен, как-никак воспитан деревней. Так сперва возник псевдоним — по знакомой с детства усадьбе Хамсунд. Так, потом, появился роман «Соки земли» (1917) — о простом земледельце, хозяине собственной нивы: он один против всех, и он — всех сильней на земле. По дороге к этому Гамсун и заглянул в Россию.

Как все это мне близко, то и дело думает он, наблюдая быт наших дедов. Крестьянин, занятый делом настолько, что ему не до битв большинства с меньшинством голосов. Живая работа в полях (да, трудней, чем в Америке, замечает Гамсун попутно; мы согласны — кто против сподручной машины?). Люди без чванства и браунингов, добрые к заплутавшему чужеземцу. Прохожие, снимающие шапку перед Спасской башней. Общедоступность Ивана Великого, откуда смотришь на город увлажненными глазами. Человечного облика дома. Ощущение живого и незакоснелого древнего опыта, а не доллара и истеричной новизны. Дух семейственности и бодрости, знакомый по книгам русских великанов. Невольно подумаешь: а если бы и каждый проезжий корнет уважал русских так же. Наверняка и сейчас в нас хорошего было б не меньше, а даже и больше.

Случившееся потом сказалось и на Гамсуне — и, быть может, сказалось сильней, за отсутствием в нем уже чисто сыновней общности с русским. Ведь Россия Достоевского и Толстого давала возможность продвигаться и дальше хвалы домовитым и жилистым частникам. Уже сам будучи всемирно известным писателем, он будет с восторгом писать о Толстом и русской литературе. Но позже, когда в Европе проводился совсем нетолстовский эксперимент, Гамсун как-то ослабил возникшую верную связь и на «Соках земли» был исчерпан. В 1940 году, когда в страшных условиях верный путь указал до конца «Тихий Дон», скандинав и совсем споткнулся, попав в объятья кривды. А потом за союз с Третьим Рейхом — по его же словам, выступавшим против «англо-американской плутократии» — нобелевский лауреат несколько лет отсидел в тюрьме. Там он написал для побратавшихся с Западом сограждан книгу-исповедь «Заросшими тропами» (1949). Есть над чем поразмыслить.

Полная гласность насчет военных деятелей вроде зубров и иже с ними не исключает добросовестной публикации у нас и тюремных записок Гамсуна. А его русские очерки надо бы переиздать полностью. Они полезны как добрая карта при расчистке земли от завалов и хлама. Не говоря уже о том, что настала пора продолжить традиции дореволюционных собраний сочинений Кнута Гамсуна и издать полное собрание сочинений этого европейского классика XX века.

Сергей НЕБОЛЬСИН

ВЗГЛЯД
СО СТОРОНЫ

Knut Hamsun.

МОСКВА—MOSCOU.

Фото ШЕРЕР, НАБГОЛЬЦ и К°.

...Через пятнадцать часов езды от Петербурга мои спутники, наконец, встают. Мы в Москве.

До сих пор я был в четырех из пяти частей света. Разумеется, я не был в них всюду, а в Австралии я вовсе не был, все-таки я достаточно побродил по широкому свету и видел кое-что; но равного Московскому Кремлю я ничего не видел. Я видел красивые города и нахожу, что Прага и Будапешт красивы: но Москва сказочна. Впрочем, я слышал, что сами русские говорят: Масква. Правильно ли это или нет?

У Спасских ворот извозчик оборачивается на козлах, снимает шапку и предлагает нам сделать то же самое. Царь Алексей установил эту церемонию. Мы обнажаем наши головы, мы видим, что и все другие, едущие и пешие, проходят ворота с обнаженной головой; извозчик едет дальше — и мы в Кремле.

В Москве четыре с половиною сотни церквей и часовен, и, когда на всех колокольнях звонят колокола, то воздух дрожит над миллионным городом. С высоты Кремля открывается море великолепия. Я не представлял себе такого города на земле: зеленые, красные и золотые купола и верхушки башен со всех сторон. Это золото и эта синева затемняет все, что мне снилось. Мы стоим возле памятника Александру и держимся за перила и смотрим вдаль, и здесь некогда говорить что-нибудь, но наши глаза становятся влажными.

Направо от нас, перед арсеналом, стоит Царь-пушка. Она так неимоверно велика, что напоминает мне круглый корпус локомотива. Жерло шириною ровно в один метр в диаметре, и ядра весят тысячу килограммов. Я читал, что она пускалась в дело, но я не знаю настоящей ее истории; на ней число 1586 г. Москвичи часто воевали и часто защищали свой священный город. Возле огромного колокола, лежащего на земле в другом месте, находятся сотни завоеванных пушек. Колокол, Царь-колокол, вышиною в восемь метров, и может вместить двадцать человек.

В Кремле, на возвышении, стоит Успенский собор. Церковь не очень велика, но это — церковь с наибольшим количеством драгоценных камней на земле. Здесь коронуются цари. Золото, серебро, драгоценные камни всюду, орнаменты, мозаика от земли до самого свода, сотни икон, изображения патриархов, образа Христа, темная живопись. Есть один уголок в церкви, где еще осталось немного свободного места: там, где каждый новый царь укрепляет огромный драгоценный камень в дар церкви. Там было очень маленькое местечко, ожидающее камней новых царей. И теперь горят здесь в стене бриллианты, смарагды, сапфиры, рубины.

Там есть и еще несколько мелочей, которые показывает церковный сторож. В то время как набожные москвичи стоят перед разными алтарями и творят свои молитвы, служитель, не слишком тихим голосом, объясняет, что это — часть ризы Христовой, это, под стеклом, — гвоздь из Креста Господня, а это, в ящике под замком, — частица ризы Девы Марии. Мы с радостью даем денег служителю и нищим у дверей и уходим, совершенно пораженные сказкой.

У меня нет никакого чувства, что я преувеличиваю. Может быть, и вкралась ошибка в мое воспоминание о церкви, потому что я не мог делать заметок на месте же, пока я был там, и был ошеломлен, и не видел никакого конца этим неслыханным сокровищам; но я уверен, что еще многого, очень многого я не перечислил и даже не видел. По всем углам сверкало, а свет был слабый в некоторых местах, так что многие детали пропали для меня. Но церковь — одна большая драгоценность. Богатство украшений все же было не всегда приятно, особенно помню я, что царские тяжелые, огромные камни на стене показались мне нелепыми и безвкусными. Когда я впоследствии увидел персов с одним бриллиантом на шапке, то это показалось мне красивее.

И мы осмотрели памятник Пушкину, посетили несколько церквей, пару дворцов, Грановитую палату, музеи, Третьяковскую галерею. И поднимались на колокольню Ивана Великого с четырьмястами пятьюдесятью ступенями и смотрели на Москву. Лишь отсюда можно обозреть величие беспримерной Москвы. <...>

* * *

Я, собственно, имел в виду, до завтрака, изучить город [Тифлис. — Ред.] вдоль и поперек, но я скоро убедился, что это неисполнимо; я почувствовал голод и купил мешочек винограда, которым и подкрепился, но, как северянину, мне нужно было мяса и много хлеба, чтобы быть сытым. Я обошел парк и вернулся в гостиницу.

Еще никто не вставал. В передней швейцар снова принялся за свой французский язык, но, чтобы спастись от него, я толкнул какую-то дверь и очутился в читальне. Здесь я нашел на одном из столов Бэдекера по России и Кавказу; я раскрыл на Тифлисе и стал читать.

Моя собственная гостиница «Лондон» была снабжена звездочкой. В городе было 160 тысяч жителей, из которых мужчин было вдвое больше, чем женщин. В городе говорили на 70 языках. Средняя температура лета была 21 и средняя температура зимы —1 градус. Тифлис находился под властью римлян, персов и турок, и теперь находится под властью русских. Своим развитием в новейшее время он обязан своему благоприятному положению в качестве перекрестка на торговых трактах от Каспийского и Черного морей, от армянского плоскогорья и, через Кавказские горы, от России. В городе великолепный музей, театр, картинная галерея, ботанический сад, цитадель. В городе имеется еще дворец грузинских царей, но теперь он обращен в тюрьму. В городе, наконец, имеется статуя какого-то русского генерала. Но высоко-высоко над городом расположен Давидов монастырь. Он расположен на священной для грузин горе Мтацминде. У монастыря стоит памятник Грибоедову.

Я закрываю Бэдекера и вспоминаю, что я читал о Грибоедове. Немного. Только то, что он написал «Горе от ума», эту единственную общественную сатиру, сделавшую его имя в России бессмертным. Этих хитрых слов *горе от ума* я не понимаю; но книга переведена под заглавием ***Проклятие Гения*** или похожим заглавием, различным на различных языках. Грибоедов был женат на княжне из Тифлиса, и

Фрагмент из очерка «В сказочной стране», 1903 г.

ей было только шестнадцать лет. Он был послом в Персии, где был убит чернью тридцати пяти лет от роду, но вдова прожила еще двадцать восемь лет и отказывала всем женихам. Потом она поставила мужу прекрасный памятник у Давидова монастыря. На нем имеется ее надпись об его незабвенности.

Я начинаю вспоминать много русских поэтов, побывавших здесь, в Тифлисе, — Пушкина, Лермонтова, Толстого и много других. И, наконец, я сижу долго и составляю для самого себя некоторое понятие о русском творчестве вообще. Еще так рано, я еще один занимаю эту маленькую комнату, весьма подходящую для составления маленького понятия, потому что она такая милая и тесная и в ней даже нет ни одного окна, открытого на улицу.

* * *

Русское творчество вообще так огромно, и так трудно объять его. Насколько широкое, — это зависит от простора русской земли и русской жизни. Здесь — беспредельность во все стороны. Я оставляю несколько в стороне Ивана Тургенева. Он был европеец, настолько же француз, как и русский. Его люди не отличаются непосредственностью, этой наклонностью к бездорожью, к «неуравновешенности», присущей единственно русскому народу. Возможно ли в другой стране, чтобы пьяница, которого нужно арестовать, освободился тем, что стал бы обнимать полисмэна посередине улицы и целовать его и просить прощения? Герои Ивана Тургенева — мягкие и удивительно прямолинейные люди, они думают и поступают уже не по-русски. Но они так приятны, настолько логичны, настолько французы. Тургенев не был сильный ум, но он был доброе сердце. Он верил в гуманизм, в изящную литературу, в западноевропейское развитие. В то же самое верили и его французские современники, но не все русские, и некоторые из них, как Достоевский и Толстой, опровергали его прямолинейность. Где западноевропеец видел спасение, они видели безнадежность. И они впали в самое несвоевременное богопочитание семидесятых годов: почитание Бога. Иван Тургенев был тверд, он нашел ясный широкий путь, который тогда находила посредственность вообще, и дорога годилась для него, и он пошел по ней. Рассказывают, что, когда он, окончив Берлинский университет, вернулся на родину, он «привез с собой свежий воздух культуры». И, лежа на своем смертном одре, он написал Толстому трогательное письмо, где умолял его вернуться к своей прямолинейности и заняться больше беллетристикой. Он был бы так счастлив, — писал он, если б его мольба была услышана.

Когда Тургенев умирал, то умирал искренно верующий.

Но Достоевский умирал, как фанатик, безумец, гений. Он был такой же разорванный и безудержный, как его герои. Его славянофильство было, пожалуй, несколько слишком истерично, чтобы быть глубоким, это было раздражительное упрямство болезненного гения, он кричал о нем, шипел о нем. И его вера в русского Бога была, может быть, не тверже, чем вера Тургенева в Бога Европы, иначе говоря, они оба верили непреложно. Где он — как в «Братьях Карамазовых» — хочет быть философом, он обнаруживает поразительную запутанность. Он болтает, говорит, пишет в один прием. Пока опять не попадает в область — где вся сила его пера. Никогда человеческая сложность не была так тщательно расчленена, как у него, психологическое чутье его всесильно, ясновидяще. При попытке определить его не оказывается мерки, он — единственный. Его современники хотели измерить его, но им не удалось, потому что он был так непростительно велик. Представьте, был человек, которого звали Некрасовым, редактор журнала «Современник». Однажды является к Некрасову молодой человек и передает ему рукопись, человека зовут Достоевским, в свою рукопись он назвал «Бедными людьми». Некрасов читает, поражен, ночью же бежит в город и будит великого Белинского восклицанием: у нас появился новый Гоголь! Но Белинский, как подобает критику, скептик, и, только прочтя рукопись, он стал радоваться вместе с Некрасовым. При первой своей встрече с Достоевским он горячо приветствовал молодого автора; но тот сейчас же оттолкнул от себя великого критика тем, что считал себя гением. Ни больше, ни меньше. Маленький великий Белинский не нашел у Достоевского общепринятой скромности. Он был вне мерила, единственный. Но тогда, как я читал, Белинский стал очень сух. Какое несчастье! — писал он, — Достоевский — несомненный талант; но если он уже теперь воображает себя гением, вместо того, чтобы работать над своим развитием, то он далеко не уйдет! — И Достоевский вообразил себя гением, и работал над своим развитием, и так далеко ушел, что еще никто не возвысился до него. Бог знает, если бы Достоевский не вообразил себя гением, стал бы ли он приниматься за разрешение величайших задач. И теперь вот у него двенадцать томов, и их нельзя даже сравнивать с двенадцатью томами другого автора. Нет, даже с двадцатью четырьмя томами другого. Вот, например, маленький рассказ «Кроткая». Крошечная книжечка. Но она слишком велика для всех нас, слишком недосягаемо велика. Пусть все признают это.

Однако это выражение Белинского восхитительно, — думаю я, сидя здесь, — утверждение, что Достоевский не далеко уйдет, если он уже теперь вообразил себя гением, вместо того, чтобы работать над своим развитием. Белинский читал и изучал то, что было ходячим представлением в Западной Европе в его время. Столько-то фунтов английского ростбифа в неделю, прочесть столько-то книг, осмотреть столько-то галерей, столько-то «культурного воздуха», — таково «развитие» гения. Достоевскому следовало поучиться кое-чему, и прежде всего скромности, что в глазах всех рядовых людей является добродетелью...

И я думаю о Толстом. И я не могу отделаться от подозрения, что в жизнь этого великого художника вкралось нечто поддельное, непроизвольно ложное. Первоначально это могло произойти от искренней беспомощности; что-нибудь должно было овладеть сильным человеком, и когда мирские радости были исчерпаны, то он со всей своей врожденной прямотою впал в религиозное ханжество. Вначале он, конечно, проигрывал мало, но он был слишком силен, чтобы остановиться, и вот это стало его привычкой, может быть, даже его природой. Опасно начинать игру. Генрик Ибсен довел ее до того, что годами, в определенный час, сидел сфинксом на определенном стуле в определенном кафе в Мюнхене. Потом ему пришлось продолжать игру; и когда он уехал, ему и впредь пришлось сидеть на людях сфинксом в определенный час и на определенном стуле. Потому что люди ждали этого. Иногда это, может быть, ужасно мучило его; но он был слишком силен, чтобы перестать. Ах, что за силачи, эти Толстой и Ибсен! Многие другие во всяком случае не могли бы вести подобной игры более одной недели. А может быть оба они проявили бы больше силы, если б остановились вовремя. К несчастью, они теперь возбуждают насмешку, как у меня, так и у других обыкновенных людей. Конечно, они достаточно велики, чтобы вынести это; нас самих засмеют в свою очередь. Но будь они несколько более велики, они, пожалуй, не стали бы относиться к самим себе так уж серьезно. Они бы улыбнулись слегка своему собственному многолетнему чудачеству. То, что они внушают другим, а в заключение и самим себе, что эта их игра составляет их необходимость, вскрывает недостаток в их личности, который умаляет их, унижает их. И только великим художественным произведением и можно возместить этот ущерб. Стояние на одной ноге — поза, естественное положение — стояние на двух ногах без гримас.

«Война и мир», «Анна Каренина» — более великих произведений в своем роде никто не создавал. И ничего удивительного, что впечатлительный коллега даже на смертном одре просит больше таких. Но когда я теперь сижу здесь и думаю об этом, я могу с радостью понять и с радостью простить Толстому его отвращение сидеть и создавать людям даже самые великолепные художественные произведения. Поставлять изящную литературу могут другие, кто чувствует себя при этом хорошо, кто высоко ценит эту деятельность и находит в ней высокую честь. Но с чем я, по моему разумению, не согласен, это с суетной попыткой великого поэта сочинять философию, мышление. Она-то и искажает его положение в позу. Он разделяет судьбу Ибсена. Ни один из них не мыслитель, но они оба стоят на одной ноге и хотят стоять так. Они будто глубже от этого, они думают, что так лучше. И вот мы, остальные, настолько малы, что смеемся над ними — хотя они так велики, что переносят это. Мышление — одно, а резонерство — другое. И мечтание — третье. Они — мечтатели; но таковы многие. Один крестьянин из Гудбрансдалена мечтал всю свою жизнь, и у него была такая хорошая голова, что все говорили о нем. И лоб у него был столь же большой, как у любого поэта. Между прочим, он самостоятельно выдумал часы, которые должны были показывать время на все четыре стороны сразу. Он был в горах и вез домой сеню скотине, когда он выдумал это. И когда он потом рассказывал об этом событии, то плакал в своей великой мечтательности и всегда прибавлял, что он и в этот день вез домой сеню с гор. И он казался диковинкой и самому себе, и жителям всего прихода.

Философия Толстого — смесь из старых избитых истин и поразительно несовершенных собственных измышлений. Недаром он принадлежит к народу, который за всю свою историческую жизнь не выставил ни одного мыслителя. Как равным образом и народ Ибсена. И Норвегия и Россия создали много великого и хорошего, но лишь ни одного мыслителя. До появления обоих великих поэтов, Толстого и Ибсена.

Мне вполне понятно, что поэты стали мыслителями в этих странах: у нас не было никого другого, пригодного для этого. И это не произвольный выбор, в этом большая последовательность, что мыслителями стали поэты, а не сапожники. И я мог бы даже объяснить, как это, на мой взгляд, произошло. Но я должен еще раз посмотреть, хорошо ли закрыты окна, прежде чем излагать это.

Кто жил достаточно долго, чтобы помнить семидесятые годы, тот знает, какая перемена произошла с поэтами, начиная с этого времени. До этого они были певцами, выразителями настроения, рассказчиками, потом они увлеклись духом времени и стали работниками, воспитателями, реформаторами. Это английская философия с ее стремлением к практической пользе и счастью начала руководить людьми и преобразовывать литературы. Появилось творчество, где было мало фантазии, но много старания и много здравого рассудка. Можно было писать обо всем, что валялось под ногами обыкновенного человека, лишь бы оставаться «верным действительности», и это создало множество великих писателей во всех странах. Литература раздулась. Она популяризировала науку, занималась общественными вопросами, преобразовывала учреждения. В театре можно было видеть спинной хребет доктора Ранка и мозг Освальда в драматическом обличии, в романах было еще больше свободного простора, простора даже для обсуждений об ошибках в переводе библии. Поэты стали людьми с суждением обо всем; люди спрашивали себя иногда, что поэты думали о теории эволюции, что Золя подметил в законах наследственности, что Стриндберг открыл в химии. Все это привело к тому, что поэты передвинулись на другое место в жизни, которого они раньше никогда не занимали. Они стали руководителями народов, они знали все и поучали всему. Журналисты интервьюировали их о вечном мире, о религии, о всемирной политике, и если в иностранной газете иногда появлялась заметка о них, то отечественные газеты видели в этой заметке доказательство того, что за молодцы их поэты. Наконец, люди должны были проникнуться представлением, что их поэты — завоеватели мира, они неотразимо проникали в духовную жизнь эпохи, они приводили народы в мечтательность. Это повседневное бахвальство должно было, наконец, повлиять на людей, у которых уже и без того была наклонность к позе. Каким изумительным молодцом ты стал! — говорили они сами себе; но об этом пишут во всех газетах и говорят все люди, значит, это так! И раз у народов не было других людей мысли, то поэты стали еще и мыслителями. И они заняли это место без отговорок и без улыбки. У них, может быть, была философская подготовка, какая вообще бывает у образованных людей, и с нею-то, как с основанием, они становились на одну ногу, морщили лоб и возвещали своему веку философию.

Таким-то, в общих чертах, образом все это и случилось. А раз игра была начата, необходимо было продолжать ее. Хотя было бы больше величия и силы прекратить ее.

Великий поэт Толстой — и его не миновала судьба умалить себя в качестве мыслителя. Его врожденная наклонность к этой профессии многим другим представляется гораздо меньшею, чем, может быть, представляется ему самому; я не знаю, что думают другие, но я допускаю это. От поры до времени в газетах появляются разные образцы его мышления, и, кроме того, он нередко пишет книгу, где он излагает свои суждения об этой жизни и грядущей. Несколько лет тому назад он обнародовал свое знаменитое учение о безусловном целомудрии, о полном половом воздержании. Когда против этого учения возражали, что земля в таком случае стала бы пустыней, то мыслитель ответил: — Да, в этом-то и суть, она должна стать пустыней! — Ах, старое учение!

Один маленький эскиз Толстого носит заглавие «Много ли земли нужно одному человеку?» Речь идет об одном крестьянине, Пахоме, который находит, что у него слишком мало земли, и вот он прикупает пятнадцать десятин. Через некоторое время у него возникает ссора с его соседями, после чего он решает скупить еще и их землю, и теперь он становится маленьким помещиком. Но когда прошло еще некоторое время, к Пахому является один крестьянин с Волги и рассказывает ему, как там хорошо живется крестьянам, сколько даровой земли они могли получить и на сколько тысяч рублей они продают в год пшеницы. Пахом едет на Волгу. Здесь он не встречает никаких затруднений с получением земли, и он берет себе вдоволь; но в своем усилии получить больше, все больше, Пахом окончательно надрывается. Его рабочие находят его в поле мертвым. Вот он и свалился. Тогда его слуги взяли да вырыли могилу своему хозяину — и могила была длиною в три аршина. И говорит мыслитель, столько-то земли и нужно одному человеку, три аршина для могилы.

Может быть, правильнее было бы сказать, что трех аршин земли слишком мало для одного человека; но столько нужно для одного *трупа*. Равно как можно было сказать, что человеку не нужно даже этих трех аршин. Во-первых, потому, что труп перестал быть человеком, во-вторых же, потому, что труп может обойтись и без погребения. И мыслитель может получить свои три аршина обратно.

Другая маленькая вещь Толстого заключается в следующем. Один человек был недоволен своей долей и ворчал на Бога. Он сказал: Добрый Бог дает другим богатства, а мне ничего не дает. Как я могу пробиваться в жизни, раз у меня нет ничего? — Один старец услышал эти слова и сказал: Неужели ты так беден, как тебе кажется? Разве Бог не дал тебе молодости и здоровья? Да, этого человек не мог отрицать, у него были и молодость, и здоровье. — Старец взял тогда человека за правую руку и сказал: Дашь ты отсечь эту руку за тысячу рублей? — Нет, человек не хотел. — Тогда левую? — Даже этой — нет. — Но ты позволил бы лишить тебя света глаз твоих за десять тысяч рублей? — Боже, упаси! Человек не хотел этого. — Тогда старец сказал: Вот видишь, какие богатства дал тебе Господь, а ты еще жалуешься!

Допустим, что это был бедный человек без правой руки, без левой руки, без глаз, стоящих десять тысяч рублей, и вот пришел к нему старец и сказал: Ты беден? Но у тебя же есть желудок, стоимостью в пятнадцать тысяч рублей и спинной хребет, — около двадцати тысяч!

Говорят, слово Толстой значит толстяк...

Он не лишен логики. За что он берется, он сплетает в то, во что оно, по его разумению, должно быть сплетено. Он не лишен и органов. Но самый центр мышления у него пуст. У челна есть весла и принадлежности, но в нем нет гребца.

Или же это я лишен всякой способности разобраться в этом. То, как я сужу, есть лишь суждение, необязательное для всех, оно просто — мое. Я думаю, что можно, конечно, отыскать и еще худшее философское убожество, чем в рассуждениях Толстого.

Но он гораздо симпатичнее других его коллег, играющих в мыслителей. Потому что его душа так безмерно богата и так открыта. Он не закрывает своего рта после первых десяти слов и не заставляет отгадывать скрытые за ними непостижимые глубины; он говорит дальше и дальше, громко и с предостережением и *Истинно говорю вам*. Он не очень заботится о том, как бы не сказать лишнего, чтобы мир мог заглянуть в него; он говорит более чем охотно. И голос у него глубок и велик без аффектации. Он — древний пророк, да. И в наше время нет ему равного.

И люди могут слышать его слова и взвешивать их, и отводить им надлежащее место. Или могут поучаться у них и жить по ним. Они и это могут. Если только людям безразлично, что их понятия о земном возможном и разумном будут так беззастенчиво поставлены вверх ногами.

ИЗДАНИЯ К. ГАМСУНА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:

Голод. Спб., 1892.

Собрание сочинений. Т. 1—12. Спб., 1909—1910.

Полное собрание сочинений. Т. 1—14. М., 1905—1911.

Соки земли. М., 1922.

Избранные произведения. Т. 1—2. М., 1970.

ЛЕВ СКВОРЦОВ

И ЛЮБОВЬ К РОДНОМУ ЯЗЫКУ

Фото НИКОЛАЯ КУЛЕБЯКИНА

СКВОРЦОВ Лев Иванович, родился в 1934 году в городе Суздале Владимирской области. Доктор филологических наук, старший научный сотрудник Института русского языка АН СССР. Автор более двухсот печатных работ по вопросам русского языка, в том числе книг «Теоретические основы культуры речи» (1980), «Культура языка — достояние социалистической культуры» (1981), «С. И. Ожегов» (1982), «Правильно ли мы говорим по-русски? Словарь-справочник» (1983), «Основы культуры речи. Хрестоматия» (1984) и других. Один из основателей и постоянный ведущий (с 1962 года) радиопередачи «В мире слов». Сопредседатель инициативной группы ученых по организации Всероссийского общества любителей русского языка.

СЛОВО О СЛОВЕ

I.

Язык всем знаниям и всей природе
ключ
Г. Р. Державин.

«В начале было слово»... И, значит, Слово не даром дано человеку. Язык, слово объединяет многие поколения людей в их историческом процессе, сплачивает нацию, питает ее самосознание и суверенность в кругу других наций и народностей.

Слово соединяет в себе всё, чем памятно для нас прошлое народа, чем дорого и свято его настоящее и чем отрадно ожидаемое будущее.

Неумолимое в своем движении Время может истребить творения рук человеческих. Но память о делах, а значит, и суть этих дел сохраняются в Слове, и потому слово тоже есть дело. И недаром говорил А. И. Герцен о том, что где не погибло слово, там и дело еще не погибло. Если живет язык, значит, жива и нация, на нем говорящая.

«В слове сокрыта самая великая энергия, известная на земле, — энергия человеческого духа». Так записал в своих дневниках замечательный мастер русской прозы Ф. А. Абрамов.

Величие Слова воспето в одном из стихотворений А. А. Ахматовой 1945 года:

Ржавеет золото, и истлевает сталь,
Крошится мрамор. К смерти всё готово.
Всего прочнее на земле — печаль
И долговечней царственное слово.

Поэтическое провидчество и проникновение в самую глубину русского языка и русского языкового сознания потрясает нас в этих коротких и точных строках.

И ведь в самом деле. Драгоценному злату, металлу и камню — предметам вещественным и тленным — противопоставлена прочность духовных проявлений: стойкость и глубина человеческой печали (горя) и долговечность царственного, всепобеждающего Слова.

Язык любого народа — исторический аккумулятор его культуры. Он одновременно и продукт и орудие культурного развития нации, ее движения в ряду других наций и культур и во взаимодействии с ними.

В литературном языке закрепляется историческая память народа и формируется его историческое сознание. А историческое сознание, по меткому определению критика Ю. Селезнева, — «это осознание прошлого пропорционально будущему».

Перестройка экономической и социальной жизни страны, которую мы переживаем, это не всеобщий переворот, не простой отказ от всего накопленного ранее.

В области культурного строительства — это подчас расчищение засыпанных истоков, восстановление забытого и разрушенного, возвращение к подлинной научности и историчности.

В условиях всеобщей и глубокой перестройки не язык надо «перестраивать», а наше отношение к нему.

Что это значит? Возродить уважение к самоценному, доброму, честному, яркому и правдивому Слову, неразрывно связанному с делом и помогающему делу. Укрепить доверие к самой языковедческой науке, к знаниям специалистов-языковедов, проникнуться важностью и нужностью их работы в наши дни, направленной на лингвистическое обеспечение перестроечных процессов. И, наконец, время перестройки требует в области языка — как и в любой другой сфере деятельности — настоящего профессионализма, глубоких знаний и подлинной компетентности, которые только и могут быть залогом успеха, основой для сплочения всех общественных сил.

II.

Словом можно убить, словом
можно спасти,
Словом можно полки за собой
повести
В. Шефнер.

Состояние русской языковой культуры волнует сегодня всех. Об этом пишут и говорят педагоги и журналисты, писатели, ученые-языковеды и специалисты-нефилологи — все, кому дорог и кому небезразличен родной язык.

Видимо, ни для кого не секрет, что современная устная и письменная речь стилистически снижается и огрубляется. Язык художественной литературы испытывает тенденции к безликости и стандартности. Публицистика наша (при всех ее явных достижениях) грешит подчас многословием, невнятностью и невыразительностью. Язык науки страдает от ненужной усложненности и от обилия не всегда оправданных иноязычных заимствований-терминов, даваемых без перевода.

Сама наша повседневная, обиходная речь в известной мере деградирует, теряет свое лицо и образ.

Заметим, кстати, что одно из старинных народных значений слова *образ* — это «порядок, расположение, устройство». У Ф. М. Достоевского в «Дневнике писателя» (1876 год) есть замечание о глаголе *образить*: «— Ты хошь бы *образил* себя» (говорят долго пьянствующему; слышал от каторжников)»... Возможно, тут в основе лежит другое слово: *образдúть (коня)* — у В. И. Даля «обуздать, смирить, укротить» (глагола *образить* у Даля нет). Но оба смысла для нас важны и значимы — и «устроить, обрядить», и «обуздать, укротить». Ведь в воспитании культуры происходит постоянное укрощение, обуздание (всего темного, ненужного, наносного), а через него — и обряживание, установление сообразного порядка и его поддержание.

Мутными, теряющими смысл словами мы затуманиваем нередко ясные понятия. Почему это происходит? Да потому, что падение уровня общей культуры приводит неминуемо к падению слова.

В недавнем прошлом мы заменили *кражу* — «недовложением», *срыв* или *провал* — «недовыполнением», а *мелкого вора* — «несуном». Девиц известной профессии называем теперь «ночными бабочками» (какая поэзия!) и даже зачислили их в разряд профессий «повышенного риска» (вот куда хватили!). Вместо *подорожания*, *роста цен* и т. п. — говорим о «вымывании дешевых товаров», а неизжитую армейскую *дедовщину* именуем мягко «неуставными отношениями»!

Служат ли делу перестройки, проводимых перемен эти стыдливые иносказания? Конечно же, нет, ибо они затуманивают смысл, содержание нашей речи, меняют ее оценочный регистр. От этих «словесных пряток» наше общество ничего не выигрывает. Играть словами нельзя. Такая игра и безнравственна, и бесперспективна. Рано или поздно за нее приходится расплачиваться моральными потерями.

Как дико (но уже чуть ли не привычно!) звучат новомодные обращения к незнакомым людям по биологически-половому признаку: «мужчина!» или «женщина!».

Не привились предложенные в свое время писателем В. Солоухиным слова *сударь* и *сударыня*. Но ведь ничего и не пришло взамен (кроме физиологических кличек-констатаций)...

Что же, станем и дальше искать слово? А, может быть, надо искать меры для смягчения нравов? Ведь дело-то не в словах, а в сути.

Что касается меня, то я за *гражданина* и *гражданку*, за *сударя* и *сударыню*, за *товарища* и даже... за *господина* и *госпожу!* (Вспомним профессора Полежаева из кинофильма «Депутат Балтики» с его знаменитой оговоркой-обращением к матросам: «Господа!..»).

Давайте же поймем, наконец, что дело не в отдельных словечках и не в языке в целом (он «всего лишь» — зеркало эпохи), а в нас самих. В тех этических, моральных, культурных утратах, которые мы понесли и еще можем понести, если забудем о постоянном самовоспитании личности, о достоинстве Человека, о нравственной высоте и чистоте нашего общества.

III.

Нет, не словарь лежит передо мной,
А древняя рассыпанная повесть
С. Маршак.

Язык закрепляет историческую память Слова, и культура речи предстает перед нами как накопление этой памяти, как неразрывная духовная связь поколений.

Заветы русских ученых, писателей и общественных деятелей учат нас патриотическому отношению к родному языку, заботливому и бережному обращению с ним. В них подчеркивается здравый смысл, здравый вкус, народное самосознание («народное самолюбие»), уважение к народу-созидателю и к его истории.

Академик Ф. И. Буслаев в своей известной книге «О преподавании отечественного языка» (1844 год) писал: «Об языке должно сказать то же, что о народных исторических песнях. ...Как один и тот же герой в продолжение столетий действует в различных событиях народных и тем определяет свой национальный характер, так и язык, многие веки применяясь к самым разнообразным потребностям, доходит к нам сокровищницей всей прошедшей жизни нашей».

Подлинными сокровищницами «всей прошедшей жизни нашей» являются исторические словари, и в этом смысле их значение в языковой культуре народа трудно переоценить.

Наибольшую известность получил у нас словарь И. И. Срезневского, который вышел в 3 томах в 1893—1912 годах под названием «Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам» (в настоящее время он переиздается издательством «Книга»). В словаре содержится около 40 тыс. слов из памятников русской письменности XI—XIV веков. Толкования их сопровождаются большим количеством цитат из древних текстов. Значение этого словаря сохраняется и в наши дни. Ведь по замыслу составителя он должен был стать (и фактически стал) «сокровищницей языка, памятником быта и образованности народа, насколько они выражаются в языке».

С 1975 года выходит «Словарь русского языка XI—XVII вв.» АН СССР (к настоящему времени опубликовано 15 томов от «А» до «П»). Этот словарь включит в себя более 100 тыс. словарных статей, которые сопровождаются обширными иллюстрациями из текстов (использовано около 2 тыс. источников).

В новом словаре широко отражен историко-культурный фон эпохи. Показательно в этом смысле отношение наших предков к книге, к письменности (грамоте), к «почитанию книжному» вообще. Бережное обращение с книгой воспитывалось (и весьма строго) с младенческих лет. Ученикам запрещалось, например, перегибать книгу по корешку или оставлять между ее страницами указательную деревянную палочку и т. п. Что же касается работы писца — переписчика книг, то она всегда почиталась как особо важная и нужная.

Обширным был и сам круг чтения образованных людей Русского государства XI—XVII вв.: это и ученые книги по богословию, и книги по космологии (астрономии), по географии и этнографии («описанию земель и нравов разных народов»), по сельскому хозяйству, ремеслам и мн. др.

О высокой степени развития письма, жанров русской письменности и делопроизводства свидетельствуют, в частности, материалы словарной статьи ГРАМОТА. В ней к 4-му значению слова «деловой документ, акт» приводится более 130 наименований: вечная г., вольная г., доправная г., затворная г., купная г., златопечатная г., отпускная г. и т. п.

Из словаря мы узнаём, например, что *лапша* могла быть и *гороховой*; что *зеркало* первоначально представляло собой тщательно отполированный диск из металлических сплавов (отсюда сочетание: «зеркалы булатные»); что *золото* могло быть *сухим*, то есть «чистым, самородным, беспримесным» (срав. современное «сухое вино») и т. п.

Слово *знамя* на протяжении XI—XVII веков могло обозначать не только «стяг, полотнище» (как теперь), но и «знак, метку» или «родинку», а также «клеймо», «подпись», «печать», «документ с печатью» (например, церковное разрешение на брак), и «герб», и «воинское соединение»... В словаре приводится 13 значений этого слова!

Исторический словарь (впрочем, как и любой толковый словарь языка) располагает нас к внимательному и неторопливому чтению, к тщательному обдумыванию его статей и иллюстративных материалов (текстов). Недаром французский просветитель-энциклопедист Д. Дидро отмечал: «Одно лишь сравнение словаря языка в разные эпохи дает возможность представить характер прогресса народа».

Справедливо считается, что словарное дело — это гуманистическое звено всех наук и форма активного включения языковедов и писателей в общественное мышление как социальный процесс. Словари — сокровищницы языка, наследие нашей национальной культуры.

IV.

И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мёртвые слова
Н. Гумилев.

Существуют слова «живые» и «мертвые». Это — как живая и мертвая вода в народных преданиях и сказках. Живая вода — проточная, бьющая ключом, живительная влага. Мертвая вода — стоячая, болотная и смрадная (в сказках она годится лишь на то, чтобы сращивать разрезанное на куски тело).

Есть слова чистые, образные, глубокие по смыслу, слова нравственные и здоровые. Одним из таких восхитился Ф. М. Достоевский в стихах Лермонтова: «...Но подавили грудь и ум / Непроходимых мук собор / С толпой неусыпимых дум» (Перевод из Байрона). «Целая трагедия в одной строчке! — воскликнул Достоевский. — Одно слово «собор» чего стоит! Чисто русское слово, картинное. Удивительные эти стихи!» И недаром к Достоевскому восходят слова соборный и соборность (духа, дела), своеобразно осмысленные им, такие актуальные и такие употребительные сегодня.

А есть и мертвые слова — «больные», нездоровые, безóбразные и безобразные: *сталинщина, брежневщина, ждановщина, чурбановщина, адыловщина...* Слова-символы, слова-уроды, растлевающие слова, от злой сути которых наше общество уходит через обновление и нравственное очищение — через экологию Слова, экологию Души.

Среди экологических призывов и вопросов наших дней пока еще недостаточно громко и внятно звучат требования оберегать чистоту русского языка. Мы справедливо говорим об экологии окружающей среды — о чистоте атмосферы, о здоровье лесов и трав, об ухоженности рек и водохранилищ. Но пока еще почему-то не задумываемся всерьез об экологии языка, о чистоте среды нашего повседневного «речевого существования», о проходящих на наших глазах отрицательных процессах, связанных с нечутким, неграмотным, а то и безответственным отношением к Слову.

А надо ли беречь слово, язык? И зачем его беречь: может быть, он «сам собою правит»? Вопросы эти не такого уж риторического свойства и поэтому требуют к себе внимания и необходимых пояснений.

Наш язык, наша повседневная речь нуждаются в защите от огрубления и вульгаризации, от ненужных иноязычных заимствований, от жаргонизмов и арготизмов, от мертвящих живую душу языка канцеляризмов и штампов, наконец, от косноязычия и «немоты», неумения ясно, просто и вместе с тем образно и ярко выразить свою мысль, передать ощущения и эмоции.

Возьмем, к примеру, такую «вечную» проблему любого языка, как заимствования. Критическое отношение к неоправданному «чужесловию» или языковому «чужебесию» (термин XVIII века) во все времена характеризовало лингвистически зрелую личность, определяло меру любви человека к родному слову.

Конечно, речь не идет об узколобом и упрямом пуризме. Нельзя призывать к отказу от любых заимствований из других языков только в силу их «чужесловия». Там, где они уместны, точны и выразительны, где они понятны, — эти заимствования просто необходимы. Использование иноязычных приставок, суффиксов и целых слов — естественный путь развития языка науки и техники (если дело, конечно, не доходит до своеобразного «терминологического брейка»!).

И все-таки нельзя закрывать глаза на факты засорения языка — при бездумном или нарочито неуемном обращении к иноязычным заимствованиям. Чем, например, «нестандартная ситуация» лучше «необычных обстоятельств» или «чрезвычайных условий»? А к чему нам «локализация конфликта» (когда речь идет о простом усмирении драки или ссоры)? А «спонтанный» вместо «случайный, непреднамеренный»? Или «интегрировать» вместо «обобщать, объединять»? «Функциональные обязанности» вместо «служебные обязанности»?.. Оставим для сугубо научных трактатов слова-термины «релятивный», «дискурсивный», «деструктивный» или «корреспондировать». А в обычной нашей речи пусть будут их буквальные переводы: «относительный», «рассудительный», «разрушительный» и «соотноситься» (или «перекликаться»). Иначе без словарей иностранных слов нам не понять друг друга!

В одном из подмосковных музеев-усадеб развешаны броские таблички — «Экспликация», под которыми идут обычные пояснения. Неужели сами музейные работники не чувствуют языковой безвкусицы в применении к русской бане или старинному амбару иноязычного и редкого (топографического по своему происхождению) термина «экспликация» (в буквальном переводе: «пояснение, описание»)?

А вот пример и того почище. В центре Москвы, на улице Горького, во многих пошивочных мастерских вывешены списки, озаглавленные: «Дислокация ателье»..! Почему же непременно «дислокация»? Ведь не о расположении воинских частей идет тут речь, а просто об адресах учреждений бытового обслуживания! Может быть, дело здесь в желании авторов подчеркнуть бóльшую официальность? Но зачем же за счет родного языка?.. К сожалению и к беде нашей, мы довольно легко привыкаем к окружающим нас со всех сторон штампованным официальным текстам. Так что уж порой и не замечаем их неуместности или даже бессмысленности. На дверях магазинов, кафе, прачечных, мастерских, а также различных учреждений, включая библиотеки (!), читаем «Режим работы от (такого-то часа) до (таких-то часов)». Но почему же именно «режим», а не просто «Время работы» или «Часы работы», наконец, просто «Открыто...»? Надо ли специальные и технологические значения слова «режим» (вспомним «тепловой режим», «режим работы оборудования», «режим питания» и т. п.) переносить на простой распорядок нашей деятельности, на работу обычных (не «режимных»!) предприятий и учреждений?

При всей исторической терпимости русского языка к «чужим» словам, его «переимчивости и общежительности» в отношениях с другими языками (так хорошо подмеченными А. С. Пушкиным), можно и должно, на наш взгляд, кое в чем и сократить поток иноязычных заимствований в наши дни — в первую очередь, в общелитературном употреблении (и в обиходно-разговорной речи) и главным образом из англо-американского источника.

Иностранные слова только тогда заслуживают право гражданства, когда вместе с ними усваиваются новые понятия. Именно поэтому и необходима строгая разборчивость в употреблении иностранных слов, когда они становятся не просто балластом, а полезным дополнением к родному языку. Стоит в связи с этим еще раз задуматься над непреходящей злободневностью известных ленинских строк: «Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их неправильно... Не пора ли нам объявить войну употреблению иностранных слов без надобности? ...Не пора ли объявить войну коверканью русского языка?» (В. И. Ленин, ПСС, т. 40, с. 49).

V.

Ведь слово — это тоже дело,
Как Ленин часто повторял
А. Твардовский.

Известно, что любой живой язык развивается по своим внутренним и объективным законам. Однако это отнюдь не означает, что все изменения в нем происходят стихийно и никак не зависят от воли говорящих на нем людей.

Каждый из нас, — а писатель, ученый, журналист, общественный деятель, редактор в особенности, — должен на деле доказать, что он любит и ценит свой русский «природный язык», верит в его выразительные и смысловые возможности, внутренние творческие силы.

«По отношению каждого человека к своему языку, — писал К. Г. Паустовский, — можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о гражданской ценности. Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку».

Перестройка экономической и духовной жизни советского общества, в которой все мы участвуем в меру своих возможностей и сил, в сфере языка состоит, пожалуй, в том, чтобы, как мы уже сказали, и изменить само отношение к нему (к науке о нем, к вопросам его преподавания, его пропаганды и т. п.), и подкрепить это изменение конкретными делами.

В рамках не так давно созданного культурного центра «Русская энциклопедия» и общественного совета при Всероссийском фонде культуры (во главе с членом-корреспондентом АН СССР О. Н. Трубачевым) возникла идея создания Общества любителей русского языка.

Идея эта появилась не на пустом месте. В известном смысле она направлена на возрождение и продолжение тех культурных и общественных традиций, которые имеют свою историю, но по тем или иным причинам были утрачены.

В 1811 году при Московском университете было создано «Общество любителей российской словесности». Существовало оно до 1930 года (с перерывом в 1837—1857 годах). Возглавляли это общество в разные годы М. Н. Загоскин, А. С. Хомяков, М. П. Погодин, И. С. Аксаков, Ф. И. Буслаев, П. Н. Сакулин и другие видные русские писатели, ученые, общественные деятели.

В первом уставе Общества было записано: «Общество сие утверждается для того, чтобы распространить сведения о правилах и образцах здравой словесности и доставить публике обработанные сочинения в стихах и в прозе на российском языке». На заседаниях Общества выступали И. С. Тургенев, А. А. Фет, Л. Н. Толстой, И. А. Бунин, В. Я. Брюсов, другие писатели и поэты. Было выпущено 27 томов «Трудов» Общества и «Сочинений в прозе и стихах». В трудах Общества публиковались исследования по русскому языку, его истории, о происхождении славянских языков, обширные материалы к словарям синонимов, диалектизмов, к этимологическому («словопроизводному») словарю. Попечением Общества были изданы четыре тома «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля (1863—1866 гг.), а также «Опыт русской грамматики» К. С. Аксакова (1860 г.), сборники народных песен П. В. Киреевского и П. Н. Рыбникова, «Причитания Северного края» Е. В. Барсова и др. Были изданы четыре тома речей профессоров на торжественных актах Московского университета, произнесенные по-русски. Эти речи закрепляли развитие и совершенствование национального русского красноречия, наглядно показывали выразительные возможности звучащего русского слова.

Как настоятельно нужна подобная работа в наши дни! Именно поэтому мы уверены в том, что пришло время создать Всероссийское общество любителей русского языка — с широкими просветительскими, исследовательскими и собственно издательскими задачами.

В соответствии с духом нашего времени, оно должно быть не официально-академическим (и не запретительским по своим задачам), а открыто демократическим, самодеятельным и неформальным по самой своей сути.

Предполагается, что его повседневная деятельность будет опираться на местные филиалы общества при Народных домах России, а также на многочисленные (часто с многолетними традициями) кружки любителей русского языка в школах и вузах страны, на актив слушателей передач Всесоюзного радио о русском языке «В мире слов» (которые ведутся с 1962 года). Надеемся, что и журнал «Слово» станет одним из соучредителей Общества любителей русского языка.

Наше время — это пора активных целенаправленных действий и конкретных мер по обновлению, подъему, укреплению и развитию всех сторон жизни нашего социалистического общества.

В этих условиях забота о русском языке, о повышении его культуры, о постоянном поддержании здоровой и чистой языковой «среды существования» — это забота о духовном «приращении», о гуманитарном обогащении многонационального социалистического государства.

Это забота о судьбах отечественной культуры. А значит — это наш общий патриотический и гражданский долг.

В МИРЕ КНИГ

ВСТРЕЧА С А. БЕЛЫМ

Несомненно, очень полезную и интересную книгу составили два известных критика и литературоведа Станислав Лесневский и Александр Михайлов. Книга эта весьма объемна (829 стр.!), единственна в своем роде, уникальна. Посвящена она Андрею Белому.

Вот что пишут о нем сами составители: «В 1980 году исполнилось 100 лет со дня рождения, а в 1984 году — 50 лет со дня смерти выдающегося русского советского писателя Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева). Состоялись литературные вечера и научные заседания, появились статьи и публикации, посвященные этим знаменательным датам, жизни и творчеству писателя, который оставил большое, сложное и многообразное наследие. И в нашей стране и за рубежом растет интерес к незаурядной личности и произведениям Андрея Белого — поэта, прозаика, критика, исследователя. Нам дорого то, что писатель радостно принял Великий Октябрь и стремился стать деятельным мастером советской культуры.

В декабре 1980 года в Москве в Центральном Доме литераторов имени А. А. Фадеева прошел большой вечер памяти Андрея Белого, ставший фактически научной конференцией, на котором были заслушаны доклады о творчестве писателя. Вечер открыл вступительным словом Сергей Наровчатов, подчеркнувший, что художественное наследие Андрея Белого велико и еще недостаточно освоено. Так возникла идея настоящего сборника — первой коллективной монографии советских литературоведов об Андрее Белом. Авторы сборника — ученые, писатели, критики Москвы, Ленинграда, Тарту, литературоведы разных поколений, объединенные стремлением внимательно, объективно, с позиции историзма изучить и постигнуть значение творческого вклада Андрея Белого в отечественную литературу».

К сказанному нам остается добавить, что выпущена она издательством «Советский писатель», тиражом 50 тыс. экз. По нашему мнению, представит интерес не только для профессиональных литераторов, литературоведов, но и преподавателей русской литературы, библиофилов и самых широких кругов книголюбов.

А. К.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ: ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСТВА: СТАТЬИ, ВОСПОМИНАНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ. Сборник. — М.: Сов. писатель, 1988.

НОВИНКИ:

Бердяев Н. А. ЭРОС И ЛИЧНОСТЬ: Философия пола и любви. — М.: Прометей, 1989. — 158 с. — 4 р. 100 000 экз.

Фрейд З. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОАНАЛИЗ: Лекции / Пер.; Изд. подгот. М. Г. Ярошевский. — М.: Наука, 1989. — 455 с. — (Памятники ист. науки). — 6 р. 50 к. 40 000 экз.

КУЛЬТУРА ВИЗАНТИИ: Вторая пол. VII—XII вв. / Отв. ред. З. В. Удальцова, Г. Г. Литаврин. — М.: Наука, 1989. — 680 с. — 4 р. 60 к. 33 000 экз.

ЕВРЕЙСКАЯ КУХНЯ / Сост. Ж. И. Абрамова, С. Н. Коневская. — Л.: Медицина, 1989. — 133 с., ил. — (Кухни народов мира с диет. рекомендациями). — 3 р. 20 к. 150 000 экз.

Фэн Сяотун. КИТАЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ ГЛАЗАМИ ЭТНОГРАФА / Пер. с кит. — М.: Наука, 1989. — 245 с. — 2 р. 30 к. 2 900 экз.

Шмидель Г. «БИТЛЗ» — жизнь и песни / Пер. с нем. — М.: Музыка, 1989.— 143 с., ил. — (Звезды муз. мира). — 3 р. 50 000 экз.

МУЗЕЙ ДРЕВНЕРУССКОГО ИСКУССТВА ИМЕНИ АНДРЕЯ РУБЛЕВА. — 2-е изд. / Текст, сост. А. А. Салтыкова. — Л.: Художник РСФСР, 1989. — 263 с., ил. — 20 р. 25 000 экз.

Уразаев Ш. З. ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. — Ташкент: Фан, 1989. — 56 с. — 10 к. 3 000 экз.

Шемшученко Ю. С. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ. — Киев, Наук. думка, 1989. — 231 с. — (Человек и среда). — 3 р. 2 000 экз.

ШАГАЛ. ВОЗВРАЩЕНИЕ МАСТЕРА: По материалам выставки в Москве к 100-летию со дня рождения художника. Альбом-каталог / Сост. М. А. Бессонова. — 2-е изд. — М.: Сов. художник, 1989. — 327 с., ил. 25 р. 25 000 экз.

ВРЕМЯ

ИДЕИ. ДИАЛОГИ. ПОИСКИ.

У НАС ЕСТЬ СВОИ ЦЕННОСТИ...

БЕСЕДА С НАРОДНЫМ ДЕПУТАТОМ

Фото АЛЕКСАНДРА КАРЗАНОВА

С Борисом Олейником я знаком давно — уже лет пятнадцать. Читал все его книги, о многих, как критик, писал. Был на его родине — в селе с несколько странным для русского уха названием Зачепиловка, что на Полтавщине, у тихой и ласковой речки Ворсклы. Через реку перекинулся новый мост. Но стоит он на старых, еще довоенных блоках-опорах, как бы символизируя связь времен, труд и подвиг поколений. Но дорог этот мост Борису Ильичу и другим. В 1941 году здесь он распрощался с отцом. На мосту отец еще раз обернулся, помахал шестилетнему сыну рукой и зашагал на запад. Так он навсегда и запечатлелся в памяти сына. В наследство от отца осталась вышитая голубым по белому сорочка, часы с римскими цифрами на циферблате, «а еще обостренное чувство долга». С этим чувством уже более трех десятилетий творит замечательный украинский поэт. За эти годы он издал много книг. За сборник «Стою на земле» был удостоен Государственной премии СССР. Кроме того, он — лауреат республиканских премий имени Н. Островского и Т. Шевченко. Б. Олейник с поистине сыновней любовью относится к своим родным украинским классикам — начиная от великого Кобзаря и кончая М. Рыльским, П. Тычиной, В. Сосюрой. Но он трепетно чтит и гениального сына России — Пушкина:

На горах пушкинских,
 на реках псковитянских,
Когда захочешь, чтоб, добром дыша,
Тебе раскрылась русская душа,
Что вырастает из корней славянских, —
Замри на той меже, где среди дня
Не гасит вечность своего огня, —
На горах пушкинских,
 на реках псковитянских.

Б. Олейнику органично присуще это чувство единого славянского корня. Но при этом оно нигде не перерастает в национальную ограниченность или обособленность. Ему внятны боли и беды всех людей нашей страны и мира. Это чувство всеобщности заставило его в дни чернобыльской трагедии многие дни находиться в самом пекле событий, оно же подвигнуло его участвовать в разрешении межнационального конфликта в Нагорном Карабахе. Присутствовал он там в качестве депутата Верховного Совета СССР, но не только... Думаю, еще и по долгу поэта. А поэт, по его словам, отвечает за все на земле. На первой сессии Верховного Совета страны поэт Борис Олейник был избран заместителем Председателя Совета Национальностей. С этого мы и начали нашу беседу...

— Борис Ильич, вы избраны заместителем Председателя Совета Национальностей Верховного Совета СССР. Как вы предполагаете строить свою работу?

— Увы, я не завидую себе. Говорю это без всякого кокетства. Межнациональные отношения — самое запущенное дело в нашей общественной жизни. И исправлять эти недостатки будет нелегко.

— Но разве так уж все плохо в межнациональной сфере? Все-таки многонациональнй Союз — реальность.

— Согласен — с водой не следует выплескивать ребенка. В сегодняшней критике своих недостатков мы порой перегибаем палку. А иные в каком-то мазохистском унижении готовы оплевать все и вся. Дело дошло до того, что уже некоторые наши зарубежные друзья говорят нам: перестаньте «трусить» на себя одеяло.

Действительно, в самоупоительном критическом раже мы можем и повредить делу социализма. В конце концов партия ведь взяла на себя моральную ответственность за допущенные ошибки, трагические события прошлого. И потому первая задача — постараться всем миром исправить их, создать условия, которые бы исключали их повторение. При этом нельзя забывать, что в прошлые недобрые времена «черные воронки» забирали прежде всего коммунистов. А на фронте... Кто не знает приказа: «Коммунисты, три шага вперед!» Так что только партия может судить себя — моральное право на это она заслужила понесенными бесчисленными жертвами.

Перестройка, революция началась сверху. Ее инициатором была партия. Но среднее, бюрократическое, звено сопротивляется реформам, тормозит их. Гласность взяли на вооружение прежде всего прогрессивные силы общества. Но есть и непорядочные люди, которые под шумок хотят вымыть из сознания людей гены социализма. Мы же стесняемся теперь даже само это слово употреблять в нашем понятийном аппарате, словно забыли, куда идем и какое общество собирались строить. Деструктивные же силы, которые есть в любой нации, немедленно этим пользуются, не стесняясь выдвигать свои, по сути антисоциалистические цели...

— Но ведь как изменилось отношение к нам за границей...

— Да, легальные каналы, которые мы открыли в отношениях со странами Запада, все усилия, направленные на разрядку напряженности, предпринимаемые товарищем Горбачевым, во многом изменили международный климат, повысили степень доверия людей друг к другу. В особенности следует отметить такой мужественный шаг, как вывод наших войск из Афганистана, в чем заслуга прежде всего нашего Генсека. Тысячи матерей, я думаю, благодарны ему за это.

Да, отношения между странами теплеют. Не надо, однако, впадать в эйфорию. Я часто бываю за границей и хорошо знаю, что там есть силы, относящиеся к нам весьма враждебно. И они продолжают работать против нас. И первое, что они хотят «зацепить», обострить, это межнациональные отношения в Союзе. Я, например, видел карту американского происхождения, где обозначены 19 «горячих точек» в СССР, которые, по расчетам этих «картографов», должны в ближайшее время проявить себя. Так что кое у кого совсем недружественные планы относительно нашей перестройки.

Все мы радуемся сегодня бóльшей свободе, которую обретают наши республики в политической и экономической сферах, постепенно возвращаясь к ленинским нормам подлинного федерализма, что пойдет только на укрепление дружбы народов. Но есть ведь и настораживающие моменты. Я не думаю, что известные трагические события в Фергане — результат только внутренних противоречий. Не обошлось и без идеологического подстрекательства из-за рубежа. Мы должны помнить, что враждебные силы по-прежнему работают против нас — и работают тонко, качественно. Так что на идеологии нам не следует экономить. У нас есть свои ценности, которые мы можем конвертировать наравне с другими ценностями. Мы сформировали тип советского человека с его высоким интернационалистским чувством, готовностью прийти на помощь соседу, поделиться с ним последним... Между тем, бывая на Западе, я всегда чувствую, что нахожусь в совершенно другом мире. Если кто тобой здесь и поинтересуется, то только по делу. Никто с тобой просто так, без причины, не посидит. Конечно, может, мы в своем бескорыстном общении теряем чересчур много драгоценного времени, но ведь и идеал дельца, у которого единственная цель — деньги, ей-богу не для нас. А мы готовы сегодня все наши ценности принести в жертву усердно создаваемого нового идола — некоего «делового человека». Вот, к примеру, мы взялись «оплевывать» наши писательские декады и дни литературы и искусства, которые проводили в республиках. А ведь это действительно мощное средство общения, познания друг друга, взаимовлияния многоцветной культуры разных народов. Готовясь к такой декаде, мы читали своих коллег из других регионов страны, обменивались духовными ценностями...

— В каких, на ваш взгляд, переменах, нововведениях нуждается наша литература и общественная жизнь?

— Нам позарез нужен журнал типа «Дружбы народов», но только с социально-политическим уклоном, где я мог бы прочитать о жизни, культуре, истории Эстонии, Молдавии, других республик, узнать обычаи их жителей, законы предков, дабы не обидеть случайно друг друга в разговоре, общении... Надо открыть представительства и консульства не только в Москве, а и в республиках — то есть друг у друга.

Российская Федерация или Украинская ССР могли бы иметь свои консульства, например, в Канаде или США, где украинская диаспора после русской и еврейской занимает третье место по численности. В общем, нам надо как можно шире развивать межнациональные связи, всерьез учиться культуре национального взаимообщения.

— Какие проблемы в межнациональных отношениях вы считаете на сегодняшний день наиболее острыми?

— Я поддерживаю точку зрения наших прибалтийских республик о том, чтобы конституционно был закреплен закон о национальностях, была введена ответственность не только за оскорбление человека по национальному признаку, а и за фальшивое, ложное обвинение в национализме. Надо, наконец, разобраться в понятийном аппарате: что считать патриотизмом, интернационализмом, а что национализмом? Тут много путаницы. Если я, условно говоря, «работаю» на украинский народ не за счет других наций — это, на мой взгляд, патриотизм, а если я говорю — мы лучше всех, это уже национал-шовинизм, за что надо отвечать.

И, конечно, одна из острейших — языковая проблема. Сейчас у нас создана рабочая группа из специалистов для разработки закона о языке, который будет рассматриваться на сессии Верховного Совета УССР. Конечно, тут есть сложность, и потому как бы не наломать дров. На Украине живет около 10 миллионов русских, коренных жителей. В прошлом и сегодня они создали целый пласт культуры, классической литературы — достаточно назвать хотя бы одного М. А. Булгакова. У некоторых есть сомнение, не окажутся ли ущемленными права русских, когда в республике украинский язык будет провозглашен государственным. Я поэтому предложил на республиканской сессии такую формулировку: считать украинский язык государственным, русский — языком межнационального общения.

Украинский язык сегодня нуждается в государственной поддержке. Все ссылаются на право выбора родителями языка обучения для своих детей. Конечно, это идеальное право, подкреплениое Уставом ООН, но на Украине оно не срабатывает, ибо в крупных городах республики почти нет украинских школ. Из чего же выбирать? В такой ситуации, думается, у народа должно быть право на защиту своего родного языка.

— Борис Ильич, кроме депутатских обязанностей, у вас много и других... Вы — председатель Украинского фонда культуры. А какую лепту вносит эта организация в дело укрепления межнациональных отношений?

— Культура — могучий феномен не только единения народа, но и иитереса народоа друг к другу. При Украинском фонде уже созданы Общества культуры еврейского и тюркоязычных народов, во Львове — русского, польского, еврейского и армянского, в Донецкой области — греческого, в Крыму — татарского. Русский писатель Сергей Сокуров, житель Львова, организовал Общество содействия украинскому языку. Во Львове же создано и Общество любителей русской словесности им. Пушкина. Вот как переплетаются и поддерживают друг друга языки и народы, когда действуют не по указке сверху, а по зову сердца.

На Украине большая еврейская община, существующая, как установлено по документам, еще со времен Владимира. Вон сколько живем вместе, а нас кое-кто хочет обвинить в антисемитизме. Это абсолютная неправда. Моя бабка Химка в войну спрятала и спасла от смерти еврейскую семью из семи человек. Сейчас мы просим вернуть еврейской общине кафедральную синагогу, отнятую у них в 1945 году. Открываем четыре мемориальных доски, увековечивающих память великого писателя-гуманиста Шолом Алейхема. И представляете, такие мероприятия сразу снимают немало острых проблем — причем без всякого нажима и деклараций.

— Тем не менее, проблемы есть. Существуют и центробежные силы. Мы с вами не раз бывали во многих республиках, участвуя в разных писательских мероприятиях. Наяву видели все многоцветье культур народов страны. И мне, честно говоря, было бы страшно жаль, если бы Союз распался, и мы лишились возможности жить одной семьей. А между тем, вот только что в «Правде» опубликована статья, где говорится о том, что Народный фронт Латвии предлагает обсудить вопрос о выходе из СССР.

— Мне тоже было бы жаль... «Прибалты» четко, на научной основе разработали свой национальный пакет. Советская Прибалтика — интересный, с чертами европеизма, регион, дающий своеобразную подсветку нашему Союзу. Конечно же, литовцы, латыши, эстонцы — мудрые люди. Только мне кажется, что 95 процентов из них не осознают, что в тот час, когда они отсоединятся, они должны к кому-то присоединиться. На первых порах, возможно, их поддержат, но... Прежде чем терять такой надежный берег, стоило бы крепко подумать. Ведь самое страшное, как говорит Олесь Гончар, это национальное одиночество. Безусловно, в Прибалтике есть проблемы — там слишком велик процент некоренных национальностей, кстати, много и украинцев, а не только русских... Но, если будем точно соблюдать Конституцию, саму по себе очень даже демократичную, даже если брать Конституцию 1936 года, уверен, мы свои национальные проблемы решим.

— Вот вы сказали, что в Прибалтике много украинцев, но украинцев много и в Молдавни, и в Средней Азии, а...

— ... а вину за все беды валят только на русских. Все работают «под русских»: закрывается украинская школа — списывают на русских. Где-то авария — опять русские виноваты. Но, должен сказать, что у нас, например, самыми отъявленными шовинистами были украинцы, которые совершали свои действия якобы «по указанию» русских. Почему так получилось? Потому что на Украине с давних времен утвердился клан людей, получавший привилегии, возможности для карьеры за свой якобы интернационализм, под которым подразумевалось слияние. Так воспитывались люди, готовые предать собственную нацию.

— Борис Ильич, а как вы намерены совмещать столько обязанностей — и депутатских, и общественных, и секретариатских? Честно говоря, я бы вам не позавидовал.

— Ну, во-первых, я не новичок в этом деле. Я был в двух созывах Верховного Совета УССР. Это действительно тяжелая работа. Сейчас а особенности, поскольку она усугубляется обилием нерешенных национальных проблем. Можно сказать, я и сам себе не завидую. А что касается распределения обязанностей... Выхожу из секретариата СП Украины. Ибо считаю, что модель Союза писателей в сегодняшней его форме исчерпала себя. А вообще я хотел бы попасть в те двадцать процентов депутатов, которые будут совмещать свои депутатские обязанности с основной работой — у меня, в данном случае, с работой в Украинском фонде культуры.

— Я, как литературный критик, могу отметить ваши успехи в ораторском жанре. Мне даже из других городоа звонили и просили передать вам благодарность за выступление на Съезде. Но все же, все же, все же... Вы поэт, и этим интересны, говоря словами Есенина. Зачем вам все это?

— Зачем? А вы почитайте вот эти телеграммы.

(И тут, в скобках, я должен привести несколько выдержек из телеграмм, адресованных в Кремль, депутату Б. И. Олейнику:

«Старые больные люди... не получают никакой пенсии нет трех последних лет работы лишены всех средств существования защитите нас нищих отверженных...»

«Благодарим вас за поддержку и заботу населения Деражнянского района выступающих против строительства полигона на территории села Згарок Верим в перестройку наше будущее жители села Згарок Хмельницкой области...»

«Уважаемый Борис Ильич выражаем глубокую признательиость за ваше гражданское мужество за человечность за доброту за тревогу о людях, которые проживают в районах жесткого радиационного контроля. Спасибо вам что волнует судьба наших деток их будущее ради всего светлого помогите нам...» И т. д., и т. д., и т. д.)

— Еще вопрос как поэту. Почему-то не видать поэтических шедевров, хотя, казалось бы, нынче все возможности для творчества.

— Раньше, в эпоху безгласности, — продолжил Борис Ильич, — возможно, мы больше работали над формой. Сегодня о том, что я думаю, мне легче сказать в публицистике, чем в стихах. В славянской поэзии поэт всегда считал себя, по Некрасову, прежде всего гражданином. У нас не было идеальных возможностей. Идеально, когда поэт может отрешиться от суеты и вдумчиво проанализировать мир. У нас на это не было времени. Можно, конечно, отдать в этом смысле предпочтение Б. Пастернаку, но и он ведь не чистый лирик, и он — публицист, потому что отстаивал себя и сопротивлялся чему-то. Нынче же мы оказались не готовыми работать без прессинга. А возможно, нужна некоторая люфтпауза. Хотя, может быть, мы ее уже упускаем. Кроме того, есть биоритмы национального инстинкта. Не просто все это...

— Нынче модно отказываться от прежних убеждений, от сказанных слов. Не собираетесь отказываться, например, от таких ваших строк:

По-братски мы делилися с тобою
В дни жатвы и под небом грозовым
Глотком воды, окопами, судьбою —
И только корень наш был неделим!..

И даже в дни, когда одни руины
Чернели на земле моих предтеч,—
Знал весь народ:
не сгинет Украина,
Пока в руке Россия держит меч!..

Шумит береза, и цветет калина,
И Волгу Днепр целует горячо.
Вовеки будет Русь и Украина,
Пока плеча касается плечо!

— Никогда!

Вел беседу Павел УЛЬЯШОВ

КНИГИ БОРИСА ОЛЕЙНИКА:

Сива ластівка. Київ: Веселка, 1984. **В зеркале слова.** М.: Сов. писатель, 1984. **Избранное.** М.: Худож. литература, 1985. **Мера.** М.: Мол. гвардия, 1978. **Сім.** Поэма. Київ: Радянський письменник, 1988.

Фото НИКОЛАЯ КОЧНЕВА

ГАНИЧЕВ Валерий Николаевич родился в 1933 году на станции Пестово Новгородской области. Окончил Киевский государственый университет имени Т. Г. Шевченко. Доктор исторических наук, профессор, прозаик, критик, лауреат премии Ленинского комсомола.

Работал преподавателем истории, был на комсомольской работе. С 1964 года работает в различных литературных и общественно-политических изданиях. Был заместителем главного редактора журнала «Молодая гвардия», директором издательства «Молодая гвардия», главным редактором «Комсомольской правды», с 1981 года — главный редактор «Роман-газеты». В. Н Ганичев является автором ряда научных работ по проблемам молодежной прессы, истории средств массовой информации, а также историко-критических, публицистических книг: «С открытым сердцем», «Наследники», «Чистые ключи», «Во имя потомков», «Устремление вперед».

Особое место в его творчестве занимает историческая проза, освещающая события восемнадцатого века: «Росс непобедимый», «Тульский энциклопедист», «Флотовождь».

За годы работы в «Роман-газете» им сделано очень много для совершенствования этого издания. Но остаются и нерешенные проблемы, о которых идет речь в нашей беседе.

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ОБЩЕДОСТУПНОЙ... «РОМАН-ГАЗЕТА»

КНИГА И ПЕРЕСТРОЙКА. МНЕНИЕ ИЗДАТЕЛЯ

— Прежде всего, Валерий Николаевич, по какому принципу «Роман-газета» отбирает произведения для публикации? Ведь поток литературы очень большой.

— Здесь, пожалуй, не обойтись без маленького экскурса в историю. Раньше отдавалось предпочтение произведениям, отмеченным теми или иными литературными премиями. Одни из них отличались высоким уровнем, другие были конъюнктурными. Редколлегия утверждала план, но оказывалось, что она его просто обсуждала. Я как главный редактор со списком отобранных произведений должен был обойти, допустим в 1981 году, такие инстанции: управление художественной литературы Госкомиздата СССР, одного из заместителей председателя Госкомиздата, а затем и самого председателя. После этого я шел в Союз писателей СССР к секретарю, который ведал издательской деятельностью. Заканчивался этот поход встречей с первым секретарем правления Георгием Мокеевичем Марковым. В зависимости от литературной или окололитературной ситуации высказывались соображения о том, что можно оставить в плане и от чего необходимо избавиться. Окончательное решение принималось в ЦК КПСС. Товарищ Беляев, заместитель заведующего отделом культуры, ответственный за литературные дела того периода, ставил передо мной стакан чая, плошку с сушками, и начиналось путешествие по много раз отшлифованному плану. Это были самые настоящие, серьезные игры. Допустим, Эрнста Сафонова нельзя было оставлять в плане потому, что он то ли выступал против исключения Солженицына из Союза писателей, то ли вообще не был на том собрании. И каждый раз, когда Сафонов появлялся в плане — Беляев его вычеркивал. Или нельзя было ставить в план Иона Друце, потому что против выступал известный «Иван Иванович». Подобных примеров можно привести много. Следующей ступенью на лестнице иерархии был отдел пропаганды ЦК КПСС. Заведующий сектором Алексей Алексеевич Козловский к «Роман-газете» и ее редколлегии испытывал какую-то физиологическую неприязнь. Он еще что-то вычеркивал. И, наконец, уже без меня, план выносился на рассмотрение заместителя заведующего отделом пропаганды товарища Севрука. Он, в свою очередь, в нем тоже что-то вымарывал. В дальнейшем редколлегия заседала еще, против чего-то возражала, оставляла в списках некоторых авторов, но впереди было утверждение на коллегии Госкомиздата СССР. Здесь также самым тщательным образом обсуждалась каждая позиция плана: не закралась ли какая-нибудь крамола в то или иное произведение, не оказался ли в списке опасный для нашей системы литератор? Так и не попал за все послевоенное время в «Роман-газету» до прошлого года мудрейший Леонид Леонов, до восемьдесят второго года не был напечатан Василий Белов, отвергались исторические романы Валентина Пикуля, Дмитрия Балашова. Конечно, я не хочу сказать, что все пожелания сводились к подозрительности и тупому отрицанию, были и дельные советы. И действительно, до 1985—1986 гг. в «Роман-газете» публиковались достойные романы и повести, но наряду с ними и пустоцветы, которые нашим временем отторгнуты и о которых читатель забыл. С другой стороны, все это, так или иначе, было отражением реального состояния нашей литературы тех лет.

— А как «Роман-газета» пережила повышение цены? Ведь повысилась она в два раза...

— Это был тяжкий удар по всем принципам, на которых основана «Роман-газета». Ведь в двадцать седьмом году она создавалась как дешевое, массовое, популярное издание. И вот была порушена ее доступность. Если после войны подписка стоила — 3, 6, 9, 14 рублей, то сейчас — 26 рублей 40 копеек. Кому-то и такая цена не кажется высокой, особенно на фоне сегодняшней инфляции, но для пенсионера, студента она неприемлема. И в 1984 году у нас отпало полтора миллиона подписчиков. Это было равносильно уничтожению журнала. Мы написали целую серию записок в ЦК КПСС, в Госкомиздат СССР и в другие инстанции, но от нас отмахивались, как от мух. С досадой объясняли, что цены в последние годы имеют тенденцию к повышению и никоим образом — к уменьшению. А народ — массовый читатель! — их почему-то не беспокоил, перед ним они не испытывали угрызений совести...

С тем мы и остались. Начали искать выход. Решили максимально улучшить взаимоотношения с читателями, приблизить их к журналу, выяснить их потребности. Но как практически навести мост? В 1985 году мы спросили читателей: что вы хотите прочитать в «Роман-газете»? В ответ мы получили около двадцати тысяч анкет и целый поток писем. Мы даже удивились такой заинтересованности. На основании читательского мнения редколлегия сформировала план выпуска 1986 года. Но этого нам показалось недостаточно, и в следующем году, по предложениям читателей и своим собственным, мы составили список произведений и поставили его на голосование. Читатель отобрал десять наиболее значительных, лучших, с его точки зрения, произведений, которые и легли в основу плана. Скажу, что редколлегия не стояла в стороне от всего этого, ибо она вбирает в себя мнение мастеров литературы, критиков, издателей, то есть профессионалов, которые имеют представление о реальном литературном процессе. Вот таким образом мы «спасли» «Роман-газету» как самое массовое и популярное издание, но по-прежнему доступное далеко не всем желающим его иметь.

— Известно, что каждое издание имеет свою платформу. Как «Роман-газета» осуществляет принцип плюрализма? Тем более, что множественность мнений порой не имеет четких границ.

— Следует сразу сказать об особенностях нашего издания. По теперешнему статусу мы имеем право печатать только ранее опубликованные произведения. В жанровом отношении мы, как правило, ограничиваемся публикацией романов и повестей. Безусловно, и в этих рамках наблюдается идейное и художественное многообразие. Мы стараемся в наших номерах представлять его как можно полнее, не опасаясь полярностей. Так, в «Роман-газете» был опубликован роман Василия Белова «Все впереди». Писем после его выхода было много, в том числе и атакующих, в основном анонимных. Подобная ситуация сложилась и с романом Анатолия Рыбакова «Дети Арбата». Некоторые члены редколлегии считали, что это произведение не отвечает высокому художественному уровню. Однако мы учли мнение читателей. В прошлом году мы получили 140 тысяч анкет, и 85 процентов читателей высказались за то, чтобы этот роман был напечатан. Задача была не такой уж простой. Ведь было много писем с решительным протестом против публикации. Такое мнение поддерживалось и в редколлегии видными мастерами слова. И все-таки мы решили его опубликовать. Читатель прочитал и оценил этот роман. В этом году процент голосов, поданных за произведение А. Рыбакова «Тридцать пятый и другие годы», значительно ниже, чем за роман «Дети Арбата». Я считаю, что мы должны уважительно относиться к мнениям различных литературных групп и пытаться представлять на наших страницах все многообразие нашей литературы. Думаю, что сейчас в Советском Союзе нет такого издания, в котором бы печатались Белов и Бакланов, Проскурин и Рыбаков, Распутин и Чаковский, Боровик и Лихоносов, Гончар и Быков. И сама редколлегия у нас неоднозначная, как некоторые считают. На ее заседаниях нередко высказываются самые противоположные взгляды и звучат голоса разных поколений.

— На литературу застойного периода есть два крайних взгляда. Одни говорят, что настоящей литературы в это время вообще не было, другие — что были писатели, которые готовили перестройку, вторгались в жизнь народа, решали нравственные и философские задачи, что всегда было характерно для русской литературы...

— Я считаю, что уровень литературы не находится в прямой зависимости от социально-экономической ситуации в стране. Пример — эпоха Николая I. Как нам известно из истории, она была консервативной в некоторые годы... А в это время свои великие шедевры создавали Пушкин, Гоголь, Лермонтов...

И наше застойное время было сложное, противоречивое. Но в нем было заложено и поступательное движение. Вспомните «Привычное дело» Белова — одно из лучших произведений второй половины двадцатого века, или «Прощание с Матерой» Распутина. Таким писателям было тяжело, но, надо отдать им дань большого уважения, они творили. Я помню, как секретарь ЦК КПСС товарищ Зимянин выговаривал нам за публикацию «Прощания с Матерой»: «Ну что вы печатаете произведения, которые против технического прогресса!» Мы пытались ему доказать, что это произведение против деградации души, разрушения нравственности, о духовной ответственности тех, кто управляет, руководит обществом, в каком бы ранге они не выступали. Настоящая литература всегда чувствует болевые точки.

Некоторые читатели недовольны тем, что мы мало печатаем публицистики. Это верно. Но от каких-то ее вершин мы не отказываемся. Публицистика Ивана Васильева у нас была издана трехмиллионным тиражом, и читатель ее принял. Была опубликована также книга профессора Углова «Из плена иллюзий». Некоторым читателям она не понравилась, а другие восприняли ее как платформу для трезвеннического движения и горячо нас благодарили. Заметим, что публицистика вторгается сейчас и в произведения высокого художественного уровня (такие, к примеру, как «Пожар» Распутина). И главная наша задача — публикация произведений высокого уровня.

— Почта «Роман-газеты» обширна. Как с ней справляется ваш маленький коллектив? И, хотя бы вкратце, что она собой представляет?

— Особенно внимательно мы относимся к письмам, в которых читатель высказывается о нашей позиции и литературной политике. В нашей почте выражаются и крайние восторги, и поддержка позиции журнала, и самые крайние отрицания. И то, и другое полезно. Первое мнение необходимо нам для того, чтобы сохранять присутствие духа и ощущать, что мы ведем правильную литературную политику, а второе — это как бы сигнальные огни, по которым мы должны определить: единичные ли это мнения или целый ряд, который нам нужно учесть. К примеру, один из наших читателей выступил в «Книжном обозрении» с утверждением, что в этом году мы публикуем всего два хороших произведения — «Детей Арбата» Рыбакова и «Каторгу» Пикуля, а все остальное, мол, макулатура. Но как можно в разряд макулатуры зачислять произведения Виктора Лихоносова, Василия Белова, Юрия Лощица, Гранта Матевосяна, Анатолия Знаменского с его первым романом, имевшим такой успех, которого даже я не помню?

— Нет ли у вашего массового и популярного издания опасности «скатиться в ширпотреб»? В связи с этим, Валерий Николаевич, как, по вашему мнению, формируется читательский интерес, вкус, возможно ли «руководство» чтением?

— Опасность «скатиться в ширпотреб» есть, и мы должны ее сознавать. Иногда на нас давит книжный рынок, потребительский и коммерческий вкус. Создан поверхностный, «телевизионный» стиль чтения, какая-то часть подписчиков хочет иметь легкое детективное чтиво. Этому способствует и «сенсационность», умело создаваемая вокруг некоторых произведений, и ажиотаж, которые поддерживаются многими средствами информации. Но проходит время, все утихает, читатель забывает и шумиху, и само произведение. А тем временем вдохновители сенсаций принимаются за другое произведение, которое, на их взгляд, надо поднять до уровня мировой классики. И читатель снова дезориентирован, снова требует то, о чем имеет смутное представление или совсем никакого. И тут, безусловно, слово за профессионалами — писателями, критиками, литераторами. Но осуществить это нам не всегда удается, мы все-таки нередко идем за нетребовательным читательским вкусом.

В глубоком понимании истинных запросов читателей нам сейчас ощутимо помогают недавно возникшие клубы друзей «Роман-газеты». Они ценны тем, что действуют в каком-то определенном месте — в библиотеке, на предприятии, в воинской части, в институте. Здесь мнения и интересы как бы пропускаются через своеобразный фильтр и предстают уже в более взвешенном и основательном виде. Очень полезная встреча была у нас на машиностроительном заводе имени Рябикова в Туле.

Не будем чересчур прекраснодушными и не будем считать: что захотела масса читателей, то и есть истина в последней инстанции. Необходимо учитывать читательский интерес, но направлять его в здоровое русло, к истинным ценностям литературы. Надо иметь в виду, что часто читатель подготовлен к восприятию литературы лучше, чем мы представляем.

— Хочется вернуться к роману Анатолия Знаменского «Красные дни». Судя по почте и газетным публикациям, он стал открытием для широкого читателя. Случайно ли это?

— Если бы мы руководствовались только читательским спросом, то это произведение не попало бы на страницы «Роман-газеты», так как его знал в основном только кубанский читатель. И корреспондент журнала «В мире книг» (1988, № 10) выговаривала нам — как это мы поставили в план неизвестного читателю автора? С претензией на этот счет выступила и газета «Известия», присовокупив к Знаменскому еще и Виктора Смирнова. А результат такой: наибольшее число одобрительных читательских отзывов получил именно этот роман и повесть «Заулки» Смирнова. Знаменский сразу стал одним из самых известных авторов. Читатели нас даже и, может быть, поделом, критиковали за то, что мы не в полном объеме опубликовали его книгу, в основном только вторую ее часть, где разворачиваются самые драматические события. Автора за эту книгу сейчас выдвинули на соискание Государственной премии, по ней проведено множество конференций. Роман пользуется полным читательским доверием, как и повесть Смирнова. И это не единичные примеры. Три года назад мы напечатали Валерия Хайрюзова, молодого писателя из Иркутска, и он получил всесоюзное признание. К тому же был избран в члены правления СП СССР, получил премию Ленинского комсомола. И книга Юрия Сергеева «Самородок», без преувеличения, была для читателя открытием. После нашей публикации это произведение, как лучшее о рабочем классе, было удостоено премии ВЦСПС. А это довольно высокая оценка. Произведения Анатолия Буйлова, Бориса Екимова тоже были высоко оценены. Подобные примеры можно продолжить.

— Высказывались мнения, что необходимо предусмотреть возможность выборочной подписки, то есть возможность подписаться не на все, а на два-три или только на один номер «Роман-газеты».

— На мой взгляд, эта идея о выборочной подписке, мягко говоря, бредовая. При всем при том, что ее повторяют многие издания. Вдумайтесь. Есть регулярное периодическое издание, и, по-моему, еще никому не приходила идея подписаться на один номер «Нового мира» или «Дружбы народов». Попытку вынести вопрос о выборочной подписке на страницы некоторых наших изданий я расцениваю как желание уничтожить «Роман-газету». Коль не удалось поднятием цены — давайте растащим, разорвем издание. Не все, что хорошо для западного читателя, столь же хорошо для нас. Надо бы уважать свои традиции, а у нас читательские традиции — давние!

— В этом году на книжных прилавках появились первые номера «Роман-газеты для юношества», и сразу же это издание стало дефицитным. Я познакомился с вашей почтой, в первую очередь обделенными оказались сельские школьники. Об этом пишут родители, учителя и сами ребята.

— Это многострадальное издание. О нем задумались еще в 1927 году и только в 1986-м ЦК партии принял постановление о его выпуске. Но затем в «коридорах власти» это дело затормозилось, и лишь через три года Госкомиздат изыскал возможности для осуществления этого издания. Оно действительно сразу стало пользоваться популярностью. Мне кажется, по двум причинам. Первая — содержание. Мы стараемся отбирать наиболее интересные произведения текущей литературы, классику, исторические повествования, которые по своему спросу и популярности стоят сегодня на первом месте. В «Роман-газете для юношества» мы также печатаем детективы и научную фантастику. С другой стороны, это доступное издание, цена номера — пятьдесят копеек. Но на эту доступность все время покушаются коммерсанты из нашей системы, полиграфисты, бумажники. Возможно, мы и согласились бы на некоторое повышение цены, но при условии, что будет разрешена подписка для школьных библиотек. Это не детская, а юношеская «Роман-газета», примерный возраст читателя от четырнадцати до восемнадцати, то есть та аудитория, которая больше всех нуждается в жизненной ориентации и утверждении своей нравственной позиции. Смысл этого издания нам видится в том, чтобы протянуть юношеству руку. А если номер будет стоить два рубля, то это будет не дружеская рука, а рука спекулянта.

— А кто все-таки и каким образом мог бы помочь в том, чтобы юношеская «Роман-газета» доходила если не до каждого, то до многих ребят?

— Для этого нужны полиграфические мощности и бумага. Когда мы говорим о необходимости увеличить тиражи, все соглашаются, но ничего не делается в этом направлении. Мне думается (и это вполне осуществимо), что проблема будет решена, если мы вступим в сотрудничество с Детским фондом. Я был сторонником того, чтобы это было совместное издание Госкомиздата СССР, ЦК ВЛКСМ и Детского фонда. Но этот «альянс» не состоялся.

— Насколько вы сейчас самостоятельны, насколько у вас, как у главного редактора, свободны руки?

— По сравнению с тем, что было, степень сегодняшней самостоятельности — это Монблан, а по сравнению с тем, что хотелось бы, то, я думаю, это только первые шаги. После редколлегии план утверждается на коллегии Госкомиздата. Но зачем? Кто, кроме нас, несет за него ответственность? До сих пор мы находимся в структуре издательства «Художественная литература», не имеем финансовой самостоятельности, не распоряжаемся своими кредитами, не имеем денег на развитие кооперативных изданий или серий. У нас нет возможности установить читателям или клубам друзей «Роман-газеты» поощрительные премии, скажем, по итогам заочных читательских конференций. У нас есть свои соображения и, возможно, в будущем будет создана самостоятельная фирма «Роман-газета», где будут сосредоточены основная, юношеская, историческая серии и приложения. Скоро мы переселяемся в отдельное помещение, это должно произойти в будущем году. Может быть, новоселье ускорит создание отдельной фирмы.

Я не хочу бросать тень на издательство «Художественная литература». К нам относятся предупредительно и дружески, но в рамках добрососедства. Но, по сути дела, «Роман-газета» — самостоятельный журнал, самостоятельное издание, самостоятельный издательский организм. Практически же приходится испрашивать десятку на дополнительную премию. В таких условиях сложно решать многие вопросы.

— А как вы смотрите на Госкомпечать?

— На мой взгляд, по всей стране катастрофически падает умение квалифицированно организовать работу. Наверное, это связано с переориентацией на новые формы деятельности. По-старому уже работать нельзя. По-новому — не умеют. В итоге — сплошь и рядом провалы в организации, суета, беспомощность и выжидание. Не избежал этого и Госкомпечать. Но ведь все зависит от того, какую концепцию он примет в ближайшее время. Останется ли он распорядительно-чиновничьим центром, или превратится в творческую структуру, направляющую и стимулирующую издателей, полиграфистов, книготорговцев, критиков и ученых?

— Вы уверены в том, что безболезненно смогли бы перейти на самоокупаемость и осуществить свои планы?

— Нет. Такие переходы всегда требуют жертв, усилий, характера и воли. «Роман-газета» приносит огромную прибыль. В прошлом году в бюджет было отчислено семьдесят шесть миллионов рублей. Эту цифру никто не обнародовал. Извините меня, ио это семьдесят шесть колхозов-миллионеров. А коллектив у нас — двенадцать человек. Эту высочайшую рентабельность некоторые чиновники стараются не замечать. Будто бы все делается само собой. Когда у нас отпало полтора миллиона подписчиков — прибыль уменьшилась до тридцати миллионов. Увеличение прибыли было достигнуто благодаря умелости коллектива, его организаторским и творческим способностям. Естественно, нельзя сбрасывать со счетов те благотворные изменения, которые произошли в нашей литературе и в общественной жизни в последние годы. «Роман-газета» достигла высокого уровня как по числу подписчиков (их у нас почти четыре миллиона, а читателей тридцать — сорок миллионов человек), так и по доходам.

Словом, дел у нас еще хватает.

Беседу записал А. ЧЕРНЕНКО

ПЛАН
выпуска «Роман-газеты» на 1990 год

Ч. Айтматов.	Богоматерь в снегах. Роман.
Ю. Азаров.	Печора. Роман.
С. Азери.	В тупике. Роман. Перевод с азербайджанского.
С. Алексеев.	Крамола. Роман.
Д. Балашов.	Ветер времени. Роман.
В. Белов.	Год великого перелома. Роман-хроника.
О. Волков.	Век надежд и крушений.
Д. Волкогонов.	Триумф и трагедия.
М. Глушко.	Мадонна с пайковым хлебом. Роман.
Б. Екимов.	Пастушья звезда. Повести.
А. Жуков.	Голова в облаках. Повесть.
В. Личутин.	Любостай. Роман.
О. Михвйлов.	Кутузов. Исторический роман.
В. Пикуль.	Честь имею. Роман.
П. Проскурин.	Отречение. Книга 2-я. Роман.
А. Рыбаков.	Тридцать пятый и другие годы.
Ю. Семенов.	Экспансия. Книга 3-я. Роман.
И. Стаднюк.	Москва, 41-й. Книга 2-я. Роман.
А. Чаковский.	Нюрнбергские призраки. Книга 2-я. Роман.

ПИСЬМО В НОМЕР

СИТУАЦИЯ СВЯЗАННЫХ РУК

Известно, что в СССР выпускается свыше 700 научно-технических журналов. Много это или мало? Для сведения: в Финляндии таких журналов 2000, а в США 9000. Но столь невыгодное для нас сравнение еще полбеды. Что же действительно плохо?

Почти шесть лет назад Госкомиздат СССР утвердил Типовое положение о журнале, которое вроде бы рассматривает его редакцию как самостоятельное подразделение издательства. Однако нередко на деле эта самостоятельность таковой не является. Журналы не имеют ни юридических прав, ни самостоятельности экономической. Они, как правило, не могут утверждать штатное расписание, распределять фонд заработной платы, выбирать типографию, устанавливать размеры фонда материального стимулирования. Например, журнал «Светотехника» лишен возможности определять расходы на командировки, гонорары авторов и рецензентов, цену номера. И совсем мы бессильны в изменении объема. Существующий с 1932 года, когда не было ни нынешней светотехнической промышленности, ни многочисленных специализированных научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро, наш журнал остается все в том же объеме.

Неприемлемое положение сложилось и в вопросах, влияющих на рентабельность. Из-за повышения цен на типографские работы стоимость выпуска журналов в 1988 году резко возросла и многие из них, прежде рентабельные, сделались убыточными. В свою очередь, «Союзпечать» подняла плату за распространение журналов на 25 процентов их стоимости. Нельзя не сказать и о том, что ВААП заключает немало договоров на переводы и переиздания советских журналов в других странах, однако ни наши издательства, ни наши журналы не получают от этих сделок ни копейки, хотя розничная цена таких переизданий за рубежом иной раз в сто раз выше их номинала в СССР!

Во многом все это происходит потому, что в треугольнике журнал — издательство — издатель определяющую роль играет последний «угол». Издатель, руководствуясь вышеназванным Типовым положением, зачастую не только определяет тематику журнала, утверждает главного редактора, его заместителей, ответственного секретаря и членов редколлегии, но и заслушивает их отчеты, дает оценку деятельности коллектива, решает вопросы поощрения. Где же видано, чтобы в такой ситуации «связанных рук» журналы критиковали свое ведомство и его руководителей? Кто назовет отраслевые журналы, смело и нелицеприятно вскрывающие недостатки своих производств? Вот и отсутствуют на их страницах критические публикации, полемические колонки редакторов с личной точкой зрения на состояние дел, предложений по перестройке министерств, комитетов, предприятий. Зато сколько угодно стрел направляется в адрес смежников, поставщиков — в общем, «не своих». Как же тут можно согласиться с теми, кто ратует за полное подчинение научно-технических и других журналов министерствам и ведомствам!

Все журналы в настоящее время разделены на четыре группы. Внутри каждой из них имеется и дополнительное деление на подгруппы /в зависимости от объема журнала/. Такая структура приводит к тому, что в элитную группу попали вне зависимости от тиража и прибыльности научно-популярные журналы широкого профиля и общетеоретические общеакадемические журналы, а в четвертую группу журнальных парий — все остальные, наиболее распространенные и практически действенные. А ведь разница в оплате труда ведущих редакционных работников этих групп ощутима. Редактор отдела журнала первой группы получает 220 — 260 рублей, а четвертой 190 — 210, ответственный секретарь соответственно 270 — 300 рублей и 230 — 240 рублей. Но ведь характер работы в большинстве научно-теоретических и общеакадемических журналов кардинально отличается от работы в прикладных изданиях, для которых в гораздо большей степени свойственны активная, организующая роль, динамизм и актуальность публикаций, интенсивная внередакционная деятельность. К тому же тиражи прикладных научно-технических журналов несравненно выше, их убыточность /при, как правило, меньших объемах/ естественно, меньше /а во многих случаях прикладные журналы прибыльны/.

Что же получается? Материальное стимулирование труда журналистов находится в данном случае в отрыве от экономической эффективности. И что прискорбно — ни повышение тиража журнала, благодаря усилиям редакции и редколлегии, ни снижение убыточности, ни увеличение прибыли не влияют на зарплату работников редакции. Так, при повышении тиража с 5,5 до 9,3 тысячи экземпляров и постепенной ликвидации убыточности маленький коллектив «Светотехники» материального стимулирования не получил.

Сказанное только подтверждает необходимость коренной реорганизации журнального дела, прежде всего, изменения статуса наиболее многочисленных и наиболее бесправных научно-технических журналов.

На какой же основе видится перестройка? Каждый журнал должен быть наделен правами самостоятельного социалистического предприятия — с обязанностями, возможностями и благами, зависящими только от экономических результатов. В частности, научно-технические журналы должны быть независимыми органами печати научно-инженерной общественности страны. При этом никаких дотаций на их издание, никакого финансирования ведомствами или спонсорами быть не должно. Имей право регулировать цену (в частности, сделав ее дифференцированной для разных групп подписчиков — организаций, пенсионеров, студентов и др.), менять объем, периодичность, располагая возможностью определять размер авторского гонорара, стоимость помещаемой отечественной и зарубежной рекламы (без навязанного сотрудничества с ВААПом и «Внешторгрекламой»), введя положение, при котором за ряд таких материалов журнал не платил бы ничего, а за другие — получал бы плату с авторов, каждая редакция могла бы сделать свое издание прибыльным.

Независимость от издателей, освобождение от опеки ведомств преобразит многие, в том числе научно-технические журналы — сделает их более критическими, более дискуссионными, а значит более интересными.

Отношения журналов с издательствами должны строиться на договорных началах с обязательным участием редакций в прибылях в зависимости от качества и сроков издания, объема и уровня услуг редакциям. Мало того, журналы должны иметь право выбора издательства и типографии, выхода на зарубежную типографскую базу. Необходимо предоставить журналам возможность устанавливать штаты, зарплату, определять фонды материального стимулирования и технического переоснащения. При этом разумной формой организации дела видится заключение трудовых договоров с работниками журнала на определенный срок.

При переходе на предлагаемый принцип деятельности жизнь сама покажет, какие журналы и в каком виде действительно нужны читателям. Малоинтересные, а потому малотиражные, неминуемо станут дорогими, быстро начнут терять подписчиков, а потому и умрут сами по себе.

На реорганизацию журнального дела решиться не просто. Она требует энергичной психологической и деловой переориентировки, отказа от стереотипов. Иным редакционным коллективам, привыкшим к небогатой, но спокойной жизни, такая перестройка может даже показаться сложной, нервной. Но, право же, нельзя без нее. Развития не будет!

Юлиан АЙЗЕНБЕРГ, доктор технических наук, главный редактор журнала «Светотехника»

ПАРАДОКСАЛЬНЫЕ
ЗАМЕТКИ

ТРИ НЕСГИБАЕМЫХ ПАВЛА

СЕРГЕЙ СЕМАНОВ

СЕМАНОВ Сергей Николаевич. Родился в 1934 году в Ленинграде. Окончил исторический факультет ЛГУ. Автор книг «Макаров» («ЖЗЛ», 1972), «Памятник «Тысячелетие России» (1974), «Сердце России» (1979), «Брусилов» («ЖЗЛ», 1980), «Тихий Дон»: литература и история» (9-е изд., 1982) и многих статей по истории и культуре. Кандидат исторических наук, член Союза писателей СССР.

Гласность все шире раздвигает свои границы, в том числе в осмыслении прошлого литературы. Жаль лишь, что зачастую прошлое пытаются не понять (то есть по Толстому «простить»), а как бы задним числом наказать или, что хуже, поглумиться. Есть старое юридическое правило, что судить человека можно только по тем законам, которые существовали во время совершения им поступка (или проступка). Так и нам, рассматривая обстоятельства нашей недавней истории и литературы, следует проявлять осмотрительность и объективность. Но разбираться надо, слишком много накопилось ложного за минувшие десятилетия.

Жесткое требование изображать не реальную жизнь, а именно «в ее революционном развитии» породило подобие литературы, где творился искусственный мир, порой напрочь отличный от подлинного. Литературу эту следовало бы назвать функциональной или проще — обслугой господствовавшей идеологии. Ругаться сейчас поздно, многие талантливые художники свято верили в необходимость подобного социального заказа, другие — дали себя в этом убедить, а для всех остальных тут предствлялось обширное поле деятельности. Явление это безусловно следует признать трагическим — как для авторов, так и для «читателей», а точнее — для всего нашего народа и его культуры.

Эстетика полностью исключалась из общей оценки произведения, оставались лишь голые установки идеологии. Вспомним опорные сочинения нашей школьной программы: «Молодая гвардия» и «Повесть о настоящем человеке», «Буря» и «Русский вопрос», «Весна на Одере» и «Кавалер Золотой Звезды», «Истоки» и «Сотворение мира»... список можно продолжить. Сейчас всякому мало-мальски подготовленному читателю одолеть эти вещи попросту невозможно, да их и не берут в руки. Тем не менее вся эта не вполне искренняя беллетристика ставилась в один ряд с «Тихим Доном» и «Русским лесом». У скольких людей такое «изучение» отбило вообще охоту читать книги?..

Пришла пора сказать открыто и о том, что литература 20—50-х годов настойчиво воспитывала в людях, особенно молодых, чувства жестокости, политической ксенофобии и истерической взвинченности. Влияние такой литературы на наше общество оказалось непредсказуемым, последствия мы пожинаем до сих пор. Разобраться в этом имеет смысл хотя бы на отдельных примерах.

Трудно сыскать в нашей стране человека, который в той или иной степени не испытал бы на себе воздействие трех героев советской литературы. По странной случайности или закономерности все они носят одно имя: Павел Власов, Павка Корчагин и Павлик Морозов. Эти герои сделались неизмеримо более крупным общественным явлением, чем обычные литературные персонажи. Им подражали, перед ними благоговели, их примеру следовали целые поколения молодежи.

Цель данной работы — рассмотреть образы трех этих литературных героев, отстранившись от общепринятой литературоведческой традиции. Тут не имеют значения такие вопросы, как место их авторов в истории литературы или художественная ценность произведений. Все названные герои созданы на основании обобщения реально существовавших прототипов, но мы не собираемся сличать, в какой мере жизнь и литературная копия совпадают. При этом мы также не считаем возможным проводить какие-либо литературные параллели или сравнения с обстоятельствами реальной жизни. Нас интересует только сам литературный герой, а единственным источником служит авторский текст.

> *Павел Власов — характер тоже не редкий. Именно вот такие парни создали партию большевиков. Многие из них уцелели в тюрьмах, в гражданской войне и теперь стали во главе партии, например, Клим Ворошилов и другие, такие же талантливые люди.*
>
> **(Из письма А. М. Горького к М. М. Черемцовой. Собр. соч., т. 7, стр. 535).**

Известно, что цель, как ее декларировала политическая группа, к которой принадлежал Павел, состояла в освобождении человечества от зла и несправедливости, в создании мира всеобщего счастья и гармонии. Достижение этих целей требовало от исполнителей определенных моральных качеств. Об этих качествах герой сам заявляет уже на первых страницах романа. Он говорит матери:

«— Сам не понимаю, как это вышло! С детства всех боялся, стал подрастать — начал ненавидеть, которых за подлость, которых — не знаю за что, так, просто! А теперь все для меня по-другому встали, — жалко всех, что ли? Не могу понять, но сердце стало мягче, когда узнал, что не все виноваты в грязи своей...»

Вскоре после этого заявления Павел ложится спать, и мать смотрит на него: «на белой подушке четко рисовалось его смуглое, упрямое и строгое лицо».

Итак, «сердце стало мягче», но лицо все такое же «упрямое и строгое». Почему же так? Не будем, однако, спешить с выводами. Посмотрим, как герой проявляет себя непосредственно в своих поступках и суждениях.

Вот он выступает перед рабочими своей фабрики с призывом дать отпор хозяевам. Такое действие безусловно требовало отваги, ибо за подстрекательство к забастовке полагалось в ту пору наказание (не слишком, впрочем, суровое). Герой обращается к своим товарищам, которых он хорошо знает, среди которых вырос, и сам он — плоть от их плоти, свой человек, а не заезжий агитатор.

Речь Павла удивительно выспренна. В угоду красивостям сомнительного свойства приносится даже смысл (деньги не «куют», крайне неудачна фраза о «живой силе»). Но дело не в дурной стилистике. Павел не находит для своих товарищей простых, понятных и необходимых слов, он говорит, как чуждый им книжник. И не случайно из толпы раздается неприятная реплика: «Говори о деле!» Но Павел продолжает:

— Один за всех: все за одного — вот наш закон, если мы хотим одолеть врага!

А затем последовало с его стороны единственное практическое предложение: «Надо вызвать директора». И это все. У Павла нет ни плана действий, ни четкой цели, ни помощников. Забастовка не удалась. Вечером того же дня Павел говорит матери: «Не поверили мне, не пошли за моей правдой, — значит — не умел я сказать ее!..» Вдумаемся в эти слова. Люди не пошли за его правдой, значит, он плохо агитировал за эту свою правду. Если агитировать лучше, они пойдут.

Впрочем, выступление политического деятеля перед толпой — это не лучший источник для его личной характеристики. В общении с близкими людьми тот же митинговый оратор проявляется полнее, многограннее. Какой же материал дает нам в этой связи роман? Какие черты своей натуры проявляет Павел?

Близкий друг Павла Андрей Находка признался ему однажды, что любит девушку, которая вела вместе с ним подпольную деятельность. Андрей говорит это не с тем, чтобы спросить совета у Павла, он просто делится своими чувствами. И слышит совет бросить «все это», то есть отказаться от лучших чувств. С презрением и злостью, как о чем-то дурном и позорном, говорит Павел о семье и детях, о жилище и «куске хлеба» — обо всем том, что составляло и составляет основу человеческого бытия, самую жизнь. Надо бросить все «это», надо освободить себя от обычных забот и радостей человека. Освободить во имя того великого дела, которому Павел и его друзья вызвались служить. Но идеалом этого великого дела, его конечной целью является именно человек, свободный для всех земных радостей. Добиваясь идеала для других, Павел, однако, отказывается и презирает его для себя. Он стремится к общему идеалу, отрицая его в частности. Получается то типичное явление, когда добро хотят осуществить посредством зла.

Образ Павла дается автором через восприятие матери. Однажды «мать задумалась. Монашеская суровость Павла смущала ее. Она видела, что его советов слушаются даже те товарищи, которые... старше его годами, но ей казалось, что все боятся его и никто не любит за эту сухость».

Так самый высокий идеал, достигаемый жестокими средствами, превращается в свою противоположность.

> *Павел Корчагин, хотя он, как и Павел Власов, как Василий Чапаев, пришел на страницы книги прямо из жизни, является полнокровным художественным образом, в котором со всей силой обобщены типические черты молодых советских людей.*
>
> **(Борис Полевой, предисловие к Собранию сочинений Николая Островского, т. 1, стр. 9).**

Судя по некоторым сопоставлениям возраста героя «Как закалялась сталь» с конкретно-историческими событиями, можно установить, что Павел Корчагин родился в 1903 году. Он рос без отца у бедной прачки, в захолустной украинской Шепетовке. В Павле с детских лет угадывается несомненная одаренность натуры. Не имея возможности получить образование, он жадно стремится к знаниям.

Он обладал отчетливо выраженым сильным характером. Зло и несправедливость, точнее то, что сам Павка считал злом и несправедливостью, порождают в нем бурное чувство протеста. Взрывчатый материал ненависти накапливается в его душе. Уже в раннем возрасте Павка стремится изменить неприглядный для него мир и утвердить себя в этом мире одним лишь насилием.

И Павка «учит» своих противнников кулаком в самом прямом смысле: вспомним сцену рыбной ловли, когда он жестоко наказал оскорбившего его гимназиста Сухарько. Ненависть к гимназистам сохранилась у Корчагина на всю жизнь.

Отрочество Павла Корчагина пришлось на бурные 1917 и 1918 годы. Головокружительные взлеты всяческих атаманов и комиссаров, партизанщина, подполье — весь этот пряный аромат приключений и подвигов не мог не стать притягательным для юношей, и в особенности для такого парня, как Павка. И, как это всегда бывает в эпоху воин и социальных потрясений, он рано начал жить жизнью взрослого и совершать поступки, свойственные лишь взрослым.

В подобной обстановке происходит знакомство Павла с большевиком Жухраем. Событие это стало в судьбе героя весьма значительным: Жухрай сделался его крестным отцом в выборе жизненного пути. Этот крестный несомненно должен был произвести впечатление на пылкого и простоватого юношу: бывший матрос, человек необыкновенной физической силы, скрывающийся подпольщик — все признаки романтического героя. Однако не случайно, что столь сильное воздействие на Павку оказал именно такой человек, как Жухрай, а не кто-нибудь другой, хотя бы брат Артем. Некоторые черты личности матроса-большевика были особенно близки пылкому и суровому характеру молодого Корчагина. Жухрай говорил своему ученику: «Тихоньких да примазанных не терплю. Теперь на всей земле пожар начался. Восстали рабы и старую жизнь должны пустить на дно. Но для этого нужна братва отважная, не маменькины сынки, а народ крепкой породы, который перед дракой не лезет в щели, как таракан от света, а бьет без пощады». Он с силой ударил кулаком по столу.

Удар кулаком, наглядно показанный учителем, воспринимался учеником как наиболее ясный и доступный способ действий. Юношескому возрасту вообще свойственны максимализм и категоричность решений, тем более резко выражалось это у Павла. Сомнений, критицизма и скепсиса, свойственного интеллигентной молодежи, он также не испытывает. Вот почему юному Корчагину не могла не показаться родной и близкой партия, которую представлял богатырь-матрос, обладавший столь подкупающими убеждениями и жестами, а так как люди, принадлежавшие ко всем другим партиям, были защитниками богатых, то и следовало поступать с ними, как со злейшими врагами, то есть бить без пощады. Так на шестнадцатом году жизни состоялось политическое крещение Павла Корчагина.

Таков был духовный мир героя «Как закалялась сталь» в ту пору, когда ему довелось вступить в бурные волны революционного потока, затопившего страну. Крутой водоворот событий понес его на самую стремнину течения, но Павел уже определил берег, к которому стремился пристать: то была земля обетованная Жухрая и его товарищей. В шестнадцать лет Павел Корчагин начал воевать в рядах Красной Армии. Об этом периоде его жизни в романе почти ничего не говорится, автор лишь сообщает, что Павка «видел много страшного», что «он вырастал в страданиях и невзгодах», но при этом окреп и возмужал. Его любимым литературным героем стал Овод. Книжку Воинич Павел носит с собой, читает ее вслух у костра. Сделанный им выбор тоже весьма характерен. Среди героев доступных ему в ту пору книг он мог бы остановить свою симпатию на монументальном Спартаке или романтическом Гарибальди, но Павел избрал аскетичного Овода.

Летом 1920 года в бою с поляками Павел был ранен и после мучительных страданий ослеп на один глаз. Прощаясь с врачами, он посетовал: «Лучше бы ослеп левый, — как же я теперь стрелять буду?» Из пламени гражданской войны Павел вышел совсем другим человеком, каким его не знала тихая Шепетовка. Недавно порывистый, своевольный и дерзкий парень быстро приучается к дисциплине и подчинению. Комиссары внушали ему: «У тебя, Павел, все на месте, а вот насчет анархии, это имеется. Захотел — сделал. А партия и комсомол построены на железной дисциплине. Партия — выше всего. И каждый должен быть не там, где он хочет, а там, где нужен».

Павел поступил работать в губчека, к своему бывшему наставнику Жухраю. В новом своем качестве он служил, однако, недолго: очень уж «разрушающе действовала на нервы чекистская работа». Тогда у Павла, как он сказал Жухраю, появилось «большое желание идти в главные мастерские, по своей профессии». Павел и ушел туда, но занялся не столько старой, сколько новой своей профессией: губком направил его «секретарем комсомольского коллектива без отрыва от производства».

Вскоре начинается описанная в романе героическая эпопея с узкоколейкой, ставшая, между прочим, для него широкой дорогой для движения в верхние этажи новой власти. И не только для него. Все герои этой стройки на последних страницах романа становятся ответственными сотрудниками комсомольского, а затем партийного аппарата.

Дальнейший жизненный путь Корчагина не таит в себе никаких неожиданностей и сложных изгибов. Он становится комсомольским работником и постепенно повышается в служебной иерархии. Он побывал секретарем райкома, окружкома, военным комиссаром, делегатом съездов и т. д. Безошибочно можно представить, как будет вести себя Корчагин в том или ином случае: характер его более не развивается. Он целиком посвятил себя служению избранной им идее и, не сознавая этого, превратился в механического робота с раз и навсегда заданной программой. Уже вполне взрослым человеком Корчагин подтверждает свою верность юношескому идеалу, выраженному в образе Овода: «Я за тот образ революционера, для которого личное ничто в сравнении с общим», — и он говорит чистую правду. Друзей у него нет, есть только соратники по общей деятельности. Он живет аскетом и имеет множество, по выражению Д. И. Писарева, «отрицательных достоинств»: не пьет, не распутничает (и борется с развратом среди окружающих), демонстративно отказывается от курения и т. д. Список этих «отрицательных достоинств» легко можно было бы дополнить. Разумеется, Корчагин презирает нэпманов, борется с оппозицией и порывает с троцкистом Дубавой (хотя тот его бывший друг и дважды спасал ему жизнь). Он с утра до ночи занят работой, ибо в этой работе единственный смысл его жизни. Он делается все более сухим и суровым. Интересы Павла очень односторонни: он много и охотно занимается на всевозможных политических курсах, досконально изучил «Капитал» (третий том он штудировал целых два года). Из беллетристики, которую Корчагин читает в ту пору, упоминается только роман Фурманова «Мятеж».

Очень легко можно было бы предугадать и дальнейший путь Корчагина. По своей воле он не удивил бы неожиданным поворотом судьбы. Но раны, полученные им на войне, и страшное перенапряжение последних лет быстро и неумолимо сделали Павла инвалидом. «Жизнь продолжает меня теснить на фронте борьбы за здоровье» — так он сам определял свое положение. Павел ослеп, наполовину парализован. Мало того, он постоянно испытывает приступы мучительной боли. Наконец, материальное положение его далеко не блестяще. И тем не менее в этих условиях Корчагин начал заниматься литературным трудом. Слепой, он пишет через транспарант. Мало образованный и даже не вполне грамотный человек, он снова и снова переделывает написанное. Иногда ему казалось, что все усилия напрасны. «И тогда в безграничной ярости на жизнь, отнявшую у него глаза, ломал карандаши, а на прикушенных губах выступали капельки крови».

В этом своем подвижническом труде Павел удивительно одинок. Прежние соратники не встречаются с ним и не переписываются. Жена совсем не оказывает ему никакой помощи и поддержки. Она «поздно вечером приходит с фабрики» и, перебросившись с матерью Павла несколькими словами, ложится спать. С Павлом в ту тяжелейшую для него пору продолжают изредка встречаться только двое пожилых людей, с которыми он познакомился уже в больницах. Ему помогает только соседка Галя, молодая девушка, которая терпеливо пишет под его диктовку и одобряет написанное: «В доме она была почти единственным человеком, который верил в работу Павла, остальным казалось, что ничего не получится и он только старается чем-нибудь заполнить свое вынужденное бездействие».

У Павла нет ничего, кроме его идеи, вот почему так упорно борется он за то, чтобы продолжать служить ей.

Павлу повезло: культпроп Ленинградского обкома сообщил ему, что «повесть горячо одобрена». Но представим себе, а если бы Павел не нашел в себе литературных способностей? Или рукопись затерялась? Что тогда? С чем бы он встретил сумерки жизни? И с кем? Но поскольку эти вопросы не поставлены автором и текст романа не дает на этот счет достаточно материала, не следует строить загадки...

ЦК ВЛКСМ в апреле 1989 г. подтвердил давнее свое решение об оставлении имени Павлика Морозова в Почетной книге комсомола.

(Из газет).

Павлик Морозов жил в притаежной деревне. В 1931 году, в разгар коллективизации, отец его занимал пост председателя сельсовета, а самого Павлика только что приняли в пионеры. Вскоре ночью Павлик подсмотрел, что отец выдал справку одному раскулаченному, что он-де бедняк. Морозов-младший прибегает к пионервожатой и получает от нее точную установку: пионер должен сказать и о брате, и об отце, если они враги.

Тринадцатилетний Павлик Морозов решил выступить против отца, сознавая, что тем самым погубит его. Отметим здесь два обстоятельства. Во-первых, Павлик не попытался ни разу объясниться с отцом, узнать причину непонятного для него поступка. А ведь побудительные обстоятельства действий Морозова-старшего могли быть самыми различными: ну, например, желание по-житейски помочь, а в тех условиях — спасти несчастного земляка, попавшего в жернова «раскулачивания». Во-вторых, и это главное, Павлик еще подросток, юридически говоря — несовершеннолетний, поэтому его свидетельства и показания во всяком справедливо устроенном обществе принимаются весьма условно, а то и не принимаются вовсе. Более того, показания супругов или близких родственников не заслушиваются судами, если они носят обвинительный характер — это старое, мудрое правило, чтобы сберегать основы человеческой нравственности. Но именно в те годы всякая человеческая нравственность была попрана, и Павлик Морозов — преступник и жертва в одно и то же время, и в этом смысле он — типичнейший сын своего страшного времени.

Грустно излагать дальнейший сюжет слабенькой повести Е. Смирнова «Павлик Морозов» («Молодая гвардия», М., 1938). На отца Павлик, разумеется, донес, и того увели «куда следует». Далее младший Морозов вошел во вкус «классовой борьбы», он выслеживает односельчан, которые «укрывают» хлеб (то есть не желают отдавать последнее, да еще задарма). В этом Павлик проявляет рвение и смекалку: по ночам они с приятелями-пионерами пишут на воротах «кулацких» домов: «Здесь живет злостный укрыватель хлеба» имярек... Павлик шепчется с различными «уполномоченными», которые тогда зачастили в деревню, и сообщает им потребные сведения, выступает на собраниях и громко обличает односельчан.

Вскоре озлобленные кулаки убили Павлика Морозова. Их быстро поймали и еще быстрее наказали, а Павлику Морозову в Москве поставили памятник.

Итак, наш разбор закончен. Выводы? Убрать названных популярных героев из всех школьных программ, запоздало освистать их? Нет. Все трое составили эпоху, политически и идейно необычайно важную в истории нашей страны. И сегодня не следует разрывать могилы и крушить чьи-то памятники, — хватит уже, наломали! — надо осмыслить прошлое и понять, что всем нам давно пора остановиться в страстях и спокойно поразмыслить над происшедшим.

Мы ведем речь не к тому, чтобы отвергать этих полюбившихся героев, принятых и неотъемлемых от судеб многих поколений, разрушать или ставить под сомнение их романтические идеалы. Мы за то, чтобы в воспитании молодежи они заняли свое историческое место... Но не более.

И тогда нам всем — и пожилым, и молодым — станет легче и свободнее. И проще будет избирать свой общий дальнейший путь.

КНИГА И ПЕРЕСТРОЙКА.
МНЕНИЕ ИСТОРИКА

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ,

кандидат исторических наук

ОПЯТЬ ПОЛУПРАВДА

Сегодня мы являемся свидетелями того, как выплеснувшаяся на страницы газет и журналов наша история стала предметом горячих споров. Судьба страны, очищенная от глянца, предстала перед молодым поколением в ее обнаженном, крайне противоречивом, а нередко и трагическом виде. Многое из того, что раньше воспринималось на веру, теперь ставится под вопрос.

История — это нравственный ориентир для молодежи. В рассказе о ней не должно быть места недомолвкам, фальсификациям, ибо это безнравственно. В. И. Ленин выступал против мифотворчества в истории, против создания иллюзий, так как, по его словам, «материалистическое понимание истории и классовая точка зрения безусловно враждебны этому» (ПСС, т. 10, с. 220).

Одна из наших застарелых болезней — пренебрежение к главному творцу истории — человеку. Историю партии мы долгие годы представляли как историю идей, а не историю людей. В литературе по советской истории был долгий период ее полной деперсонификации. «Фигурами умолчания» стали в первую очередь те, кто стоял у истоков, но чей жизненный путь был перечеркнут. Справедливость требует от нас вернуть правду об этих людях, попиравшуюся в трагические годы сталинского культа и замалчивавшуюся во времена застоя. Процесс этот начался. Однако, восстанавливая историческую справедливость в отношении незаслуженно забытых людей (и, таким образом, уходя от одной крайности), важно не удариться в другую крайность и не поддаться соблазну иконизировать некоторых из них. Нужна объективная, взвешенная и всесторонняя оценка каждой личности.

Много уже сказано о страшных последствиях культа личности для общества в целом, но гораздо меньше о том, как отразился культ личности на деятельности комсомола, на формировании сознания молодежи. Обращаясь к этой теме, многие авторы стараются раскрыть картину жизни союза молодежи тех лет через судьбы конкретных людей. Особенно много публикаций в последнее время посвящено жизни и деятельности генерального секретаря ЦК ВЛКСМ 30-х годов Александра Васильевича Косарева. (Косарева А. Вожак. «Юность», 1987, № 4; Головков А. Не отрекаясь от себя. «Огонек», 1988, № 7; Полякова Д., Хорунжий В. Совесть моя чиста. «Комсомольская правда», 1988, 17 марта; Трущенко Н. Пробуждение. «Смена», 1988, № 19; Он же. Косарев. М., «Молодая гвардия», 1988; Борсоев И. Еще была весна. «Комсомольская правда», 1985, 15 сентября и др.).

Надо отдать должное авторам за то, что они довольно подробно раскрывают читателям богатую биографию вожака молодежи, самобытность его натуры, большие организаторские способности. Все это правильно. Пожалуй, наиболее обстоятельно это сделано в вышедшей недавно в серии «ЖЗЛ» книге Н. Трущенко «Косарев». Известный среди историков комсомола как глубокий исследователь, Н. Трущенко на основе богатых архивных материалов, воспоминаний очевидцев, не скрывая симпатий к Александру Васильевичу Косареву, рисует образ своего героя, который «никакой другой деятельностью, кроме комсомольской, не занимался».

Спору нет, А. Косарев был яркой личностью, одной из наиболее заметных фигур в комсомольской истории. Яркой, но отнюдь не однозначной. И это особенно проявилось во время его пребывания на посту генерального секретаря ЦК ВЛКСМ. Именно в той части книги, где автор обращается к данному периоду деятельности А. Косарева, трудно во всем согласиться с Н. Трущенко. Так, он пишет, что «именно в эти годы комсомол находился на подъеме, он все больше упрочивался в качестве важнейшего элемента политической системы общества». «Золотой порой комсомола» называет Н. Трущенко то время. Не расходится с ним в оценках и И. Борсоев, который в своей статье в «Комсомольской правде» пишет: «Когда мы сегодня со вздохом (разрядка моя — А. А.) говорим: «Вот был комсомол...», — то это о комсомоле, который возглавлял Косарев» (то бишь о комсомоле 30-х годов — А. А.). Что ж, к чувствам И. Борсоева — ветерана комсомола, делегата X съезда ВЛКСМ — нужно относиться с пониманием, уважительно. Он вспоминает пору молодости, которую всегда мы склонны идеализировать. Но Н. Трущенко — историк, ученый, от которого требуются объективные, взвешенные оценки.

Не будем подвергать сомнению искренность веры большинства молодежи того времени в идеалы социализма, его готовность к самопожертвованию или осуждать свойственный ей максимализм революционного нетерпения. Но говорить только об этом, значит — вновь ограничиться полуправдой. И тут я вполне солидарен с мнением авторов статьи об А. Косареве «Совесть моя чиста» , опубликованной в «Комсомольской правде» 17 марта 1988 года. «Важно, — пишут они, — удержаться на стезе объективности. Избежать и «хрестоматийного» глянца, и несправедливого, необъективного осуждения». К сожалению, сами авторы не последовали этому призыву, нарисовав нам почти идеальный образ комсомольского вожака, а через него и образ всего комсомола 30-х годов.

Предвидя возможные упреки в предвзятости, субъективизме, не буду голословен, а обращусь к документам. Вот какую оценку деятельности комсомола под руководством А. Косарева дал Пленум ЦК ВЛКСМ, состоявшийся в 1961 году сразу после XXII съезда партии: «Атмосфера в те годы была пропитана недоверием, подозрительностью, казенщиной... В комсомоле укрепились такие методы работы, как администрирование, бюрократизм, очковтирательство. Культ личности воспитывал у руководящих комсомольских работников формализм, равнодушие, пренебрежение к самодеятельности молодежи».

Легче всего вину за то, что происходило с комсомолом, свалить только на Сталина. Ну, а как же быть с другими политическими деятелями и, в частности, с руководителем комсомола А. Косаревым, который был еще и членом Оргбюро ЦК ВКП(б). Какова мера его ответственности? А. Бутенко в своей статье «Сталинское окружение» писал: «Можно считать, что 1929 год, ставший годом утверждения сталинской концепции социализма, был переломным и в формировании «сталинского окружения». Случайно ли то, что именно А. Косарев стал комсомольским генсеком в 1929 году? И можно ли считать, что он, продержавшийся у руля руководства союзом 10 лет (срок по тем временам немалый), относился к тому окружению, которое, опять-таки говоря словами А. Бутенко, «в принципе разделяло сталинское видение социализма, активно поддерживало сталинскую политику, а потому вместе с И. Сталиным несет ответственность за эту политику?»

Еще в 1926 году, будучи делегатом VII съезда ВЛКСМ от Ленинградской организации, А. Косарев выступил с предложением «послать приветствие от съезда тов. Сталину». Можно допустить, что это был своеобразный политический ход: компенсация Сталину за поражение на выборах его делегатом XIV съезда партии в Ленинградской партийной организации. Но это не меняет сути. В любом случае чинопочитание тогда еще не было в традициях комсомола, и предложение А. Косарева, хотя и встреченное аплодисментами, не прошло. И только пять лет спустя, став генеральным секретарем ЦК ВЛКСМ, Косарев на IX съезде комсомола сумел реализовать свое предложение. «Знамя победившего социализма», «наше счастье», «счастье будущих поколений» (так продолжать можно до бесконечности) — вот что такое для А. Косарева был Сталин. И эти клише усиленно насаждались им в сознании комсомольцев, всей молодежи. «Косарев, — пишет в «Огоньке» А. Головков, — искренне верил вождю, каждому его слову, и казалось, Сталин платил взаимностью. Генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ мог в любое время по «вертушке» набрать сталинский телефон и бывал без промедления принят...» Многие ли из окружения обладали таким правом? И о чем это говорит? Об авторитете комсомола в глазах Сталина? Или о его личных симпатиях к Косареву? Наконец, был ли последний просто винтиком в той системе, которую возвел Сталин, исполнителем чужой воли или одним из ее активных двигателей? Скорее — второе, если мы хотим признать за ним роль политического деятеля. Трагизм А. Косарева заключается в том, что, долгие годы исповедуя преданность сталинизму и лично «вождю», он сам пал его жертвой. И трудно представить, что, находясь десять лет на посту генсека комсомола, называя себя «прилежным учеником великого Сталина», этот человек мог оставаться «кристально чистым».

Вспоминая то время, И. Борсоев пишет: «X съезд ВЛКСМ стал триумфом возглавляемого Косаревым комсомольского ЦК». Невольно напрашивается вопрос: триумфом какого ЦК? Который был послушной игрушкой, «инструментом» в руках Сталина? Если автор имеет в виду триумф сталинской модели союза молодежи, характера его взаимоотношений с партией, то он, безусловно, прав. Ведь впервые за всю историю союза в его основополагающих документах (Программе и Уставе), принятых съездом, полностью отсутствовали такие понятия, как самодеятельность, организационная самостоятельность комсомола.

Сопоставляя эти документы с действовавшими в 20-е годы, можно утверждать, что на X съезде получила свое завершение и была документально закреплена начавшаяся задолго до этого линия на отход от ленинской концепции союзов молодежи и партийного руководства ими. Нет секрета, что свою руку к этому приложил Сталин, лично редактировавший Программу и Устав ВЛКСМ.

О каком же триумфе идет речь? Если о торжестве бюрократического аппарата в комсомоле, то И. Борсоеву опять нечего возразить. Ведь X съезд был съездом аппаратных работников. Подавляющее большинство его делегатов — 64,5 процента — являлись освобожденными комсомольскими работниками, а количество рабочих от станка и крестьян составляло 27,3 процента, что почти в два раза меньше, чем на IX съезде ВЛКСМ. А если посмотреть на состав делегатов по возрасту, то окажется, что более 60 процентов находились за пределами собственно комсомольского возраста. Именно в те годы начинается старение комсомольских кадров.

Но и это еще не все. В Уставе, принятом на X съезде союза, впервые было включено требование к комсомольским организациям «очищать свои ряды от враждебных элементов», а в обязанность комсомольцев вменялось «всеми силами вести непримиримую борьбу с классовым врагом». И это тогда, когда было громогласно заявлено о построении социализма в СССР, о ликвидации эксплуататорских классов. Даже в первом Уставе комсомола, принятом в годы гражданской войны, в самый разгар классовых битв, не было такого требования.

Как же можно так односторонне, не сообразуясь с исторической правдой, оценивать результаты работы десятого съезда ВЛКСМ и Центрального Комитета, возглавляемого А. Косаревым?

Будучи генеральным секретарем ЦК ВЛКСМ, пользуясь авторитетом у комсомольцев и молодежи, А. Косарев вольно или невольно оказывался проводником линии на борьбу с мнимыми «врагами народа», призывал активизировать ее во всех комсомольских организациях. Благодаря этой линии союз молодежи оказался и надежной опорой культа личности в ходе репрессий и его ближайшей жертвой. Авторы статьи «Совесть моя чиста» пишут, что «Александр, как мог, спасал своих товарищей, особенно тех, кого давно и хорошо знал, за которых мог поручиться». Не хочу этого отрицать, хотя он, например, безоговорочно поверил в то, что родной брат его жены — враг, и даже был в ярости от проявления ею нормальных родственных чувств. (См. «Огонек», 1988, № 7). Сам А. Косарев неоднократно призывал усилить борьбу с классовыми врагами в комсомоле, нагнетал обстановку подозрительности и недоверия к товарищам по союзу. «Мы еще не умеем как следует, как этого требует от нас партия, обнаруживать врагов, выискивать и разоблачать, — говорил он. — А некоторые наши товарищи ищут троцкистов — врагов народа в любых организациях, но только не у себя в комсомоле, и в силу этого недостаточно оперативно очищают ряды комсомольского актива от троцкистских и иных контрреволюционных элементов».

Хорошо ли знал А. Косарев Лазаря Шацкина — не менее яркую фигуру в комсомоле и в международном юношеском коммунистическом движении, одного из организаторов союза молодежи и его теоретика? Конечно. Ведь будучи еще мальчишками, они вместе начинали свою комсомольскую биографию в московском союзе рабочей молодежи «III Интернационал». И об этом Н. Трущенко довольно подробно пишет в своей книге. А вот о том, как дальше складывались их взаимоотношения, автор рассказывает очень скупо, выступая скорее в защиту А. Косарева и осуждая Л. Шацкина. Напомним читателю, что дважды, на V и VIII съездах комсомола, избирался Л. Шацкин почетным комсомольцем, а товарищ по союзу А. Косарев произносил хвалебные речи в его адрес. Однако это не помешало ему уже на IX съезде ВЛКСМ в 1931 году назвать Шацкина «предателем партии», объявить его вне организации молодежи. И за что же? За то, что тот, верный ленинским принципам, призывал комсомол отстаивать свою самостоятельность, иметь «право на сомнение». В статье, опубликованной в «Комсомольской правде» летом 1929 года, Лазарь Шацкин осуждал позицию «партийного обывателя», готового проголосовать, не задумываясь, за любую директиву, спущенную сверху, выступающего в качестве «голосующей машинки». Это было расценено как «откровенная пропаганда недоверия к генеральной большевистской линии», противопоставление партии комсомолу. Бюро ЦК ВЛКСМ приняло постановление, осуждающее «грубые политические ошибки тов. Шацкина». Умолчал Н. Трущенко и о том, что вскоре после прихода А. Косарева на должность генерального секретаря ЦК ВЛКСМ была разгромлена редакция «Комсомольской правды» за публикацию статей Л. Шацкина и Я. Стэна. В августе 1929 года Бюро ЦК ВЛКСМ приняло решение: «Для обеспечения выдержанности партийной линии пересмотреть существующий состав редакции «Комсомольской правды». IX съезд ВЛКСМ завершил разгром этой так называемой «оппозиции» в комсомоле. В выступлении на съезде делегата от Ленинграда говорилось, что «в комсомольской работе надо не полагаться на свой опыт и знания, а делать то, что говорит партия, что она советует».

И. Борсоев вспоминает, как делегаты X съезда ВЛКСМ по-доброму относились к своему секретарю Азово-Черноморского крайкома комсомола Константину Ерофицкому. Это было в апреле 1936 года. А всего несколько месяцев спустя А. Косарев назовет его «подлым троцкистским провокатором», «фашистским наймитом». Вскоре он так же выскажется и о других, тех, с кем работал в комсомоле еще в 20-е годы — Василии Чемоданове, Владимире Бубекине. Верил ли Косарев в то, что говорил? Мучительный вопрос, остающийся для автора этих строк пока без ответа. Не нашел я на него ответ и в книге Н. Трущенко, который всячески подчеркивает неверие генсека комсомола в виновность В. Бубекина, его неравнодушие к судьбе друга. Тогда как объяснить слова А. Косарева в докладе на пленуме ЦК ВЛКСМ в августе 1937 года с повесткой дня «О работе врагов народа внутри комсомола»: «Давно нужно было разогнать всю эту шпану: Ковалев, Августайтис, Андреев, Бубекин, тем более, что мы сомневались в их бытовом облике, в их деловой квалификации». Почему после ареста В. Бубекина вновь подверглась разгрому редакция «Комсомолки», были сняты с работы 42 ее сотрудника? Н. Трущенко утверждает, что после этого пленума Косарев прозрел, что массовые исключения из комсомола, захлестнувшая союз молодежи волна борьбы с «врагами народа» встревожили его. Тогда что же заставило его, прозревшего, в феврале 1938 года (кстати, сразу после январского Пленума ЦК ВКП(б), осудившего, по словам Н. В. Трущенко, извращения и ошибки, допущенные местными партийными организациями, факты произвола над честными коммунистами, огульное исключение их из партии) опубликовать статью, в которой говорилось: «ЦК ВКП(б) своевременно мобилизовал комсомол на борьбу с врагами народа и их пособниками. В отдельных организациях ВЛКСМ существует неправильное понимание задач борьбы с врагами народа. Борьбу с врагами народа в этих организациях понимают как кампанию и не учитывают того, что эта борьба должна быть каждодневной, святой обязанностью не только каждого коммуниста и комсомольца, но и каждого честного советского гражданина. **Это не кампания, а священная задача — повседневная наша работа** (выделено в тексте самой статьи). Если раньше ошибочно считали, что врагов в комсомоле нет, то сейчас некоторые руководители организаций ошибочно считают, что врагов уже не осталось. Эти политически вредные настроения способны только дезорганизовать нашу дальнейшую борьбу с врагами народа».

Предвижу возражение: многое тогда было перевернуто с ног на голову, и не мог генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ, член Оргбюро ЦК ВКП(б) поступать иначе. Мол, легко нам осуждать его с позиций сегодняшнего дня. Что ж, согласен. А. Косарев действительно был неотъемлемой частью «системы», той самой, которую мы, прозрев, справедливо отвергаем. И в этом скорее его беда, чем вина. Но так было! Можно принимать или не принимать А. Косарева таким, но нельзя делать из него чуть ли не борца против сталинских репрессий или ставить в один ряд с Юрием Гагариным, как это делает Н. Трущенко.

Хочу, чтобы меня правильно поняли. Историки должны рассказать молодежи всю правду о легендарных людях, а решать вопрос — делать жизнь с кого? — она будет сама.

В МИРЕ КНИГ

НЕ БЫТЬ БЕЗЛИКОЙ ТОЛПОЙ

Новая книга лауреата Государственной премии РСФСР имени А. М. Горького известного критика и литературоведа Юрия Прокушева «И неподкупный голос мой...» посвящена творчеству русских поэтов от пушкинского времени до наших дней. Три ее части «Их имена — бессмертны», «Опаленные войной», «Правдой испытанные» включают в себя двадцать две главы — двадцать два очерка о творчестве Пушкина, Некрасова, Никитина, Блока, Маяковского, Есенина, Твардовского, Вас. Федорова, А. Прокофьева, С. Васильева, Я. Смелякова, Д. Ковалева, В. Бокова, Е. Исаева, Н. Рубцова, Вал. Сорокина...

Из почти сорока книг, выпущенных Ю. Прокушевым, полтора десятка посвящены жизни и творчеству Сергея Есенина. Ю. Прокушев был одним из первых, кто начал борьбу за то, чтобы имя и творчество великого русского поэта было возвращено народу. Автор книги, в течение многих лет изучая и пропагандируя творчество Есенина, пришел к главному выводу, к утверждению, что «народ, и только народ, сохранил и пронес в сердце через все преграды озаренное любовью к Родине песенное слово Есенина».

В связи с этим особое внимание привлекает заключительная глава книги «Только правду!». Ю. Прокушев, вероятно, первый открыто сказал о неблаговидной роли Н. И. Бухарина в посмертной судьбе Есенина. Мнение о Есенине и о так называемой «есенинщине» Н. И. Бухарина — одного из руководящих деятелей партии и Советского государства, члена Политбюро и главного редактора «Правды», выраженное в «Злых заметках», опубликованных в 1927 году, было воспринято как руководство к действию. «Злые заметки», пишет Ю. Прокушев, сделали свое непоправимое дело. С «легкой руки» их автора под «флагом» «борьбы» с «есенинщиной» стихи Есенина фактически были отторгнуты от народа на несколько десятилетий». «Думается, пишет далее автор книги, автору «Злых заметок» не хватило подлинно научного марксистского видения сложных, противоречивых явлений как самой революционной действительности, так и отражения ее в литературе и конкретно в творчестве Есенина — поэта, который, так же, как Маяковский и Блок в годы Октября, был всецело на стороне восставшего народа, разделяя с ним радость побед, равно как горечь поражений и утрат. Как бы порой ни было трудно первопроходцам поэзии Октября, они не представляли себе жизни без родины, в заграничных далях...»

И здесь важен не только смысл бухаринских «Злых заметок». Сам дух их, язык, стиль — безапелляционный, «простовато-грубоватый», безоговорочно-указующий, иезуитски-издевательский и агрессивно-угрожающий был широко подхвачен идеологами и практиками тоталитаризма. Им пронизаны статьи, доклады и речи Сталина (даже его реплики на съездах, в беседах) и других руководителей партии и государства того времени, печально известное постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» (и другие, к нему примыкающие), более поздние постановления ЦК партии по вопросам культуры (и не только культуры), выступления, доклады, речи большинства последующих наших лидеров. Как близок по духу, стилю и языку этот «разговор с народом» «Злым заметкам»! «Когда мы будем, наконец, уважать самих себя!» — спрашивает Ю. Прокушев. И далее восклицает: «Недопустимо забывать о чувстве собственного достоинства! Любой народ, забывающий об этом, рискует стать безликой толпой».

Думается, что превратить народ в безликую толпу (что уже почти было совершено в ходе предшествующей истории нашей страны) теперь уже не удастся. И можно быть уверенным, что книга Ю. Прокушева тоже послужит этому.

Ю. Ч.

Ю. Прокушев. И неподкупный голос мой... Поэты России. М., Современник, 1989.

ЕВДОКИЯ РОСТОПЧИНА

НА ДОРОГУ!

Михаилу Юрьевичу Лермонтову

Tu lascerai ogni cosa diletta
Piú caramente.
Dante. «Divina Commedia»

Есть длинный, скучный, трудный путь...
К горам ведет он, в край далекий;
Там сердцу в скорби одинокой
Нет где пристать, где отдохнуть!

Там к жизни дикой, к жизни странной
Поэт наш должен привыкать
И песнь и думу забывать
Под шум войны, в тревоге бранной!

Там блеск штыков и звук мечей
Ему заменят вдохновенье,
Любви и света обольщенья
И мирный круг его друзей.

Ему — поклоннику живому
И богомольцу красоты —
Там нет кумира для мечты,
В отраде сердцу молодому!

Ни женский взор, ни женский ум
Его лелеять там не станут;
Без счастья дни его увянут...
Он будет мрачен и угрюм!

Но есть заступница родная
С заслугою преклонных лет, —
Она ему конец всех бед
У неба вымолит, рыдая.

Но заняты радушно им
Сердец приязненных желанья, —
И минет срок его изгнанья,
И он вернется невредим!
27 марта 1841
Петербург

СТЕПАН ШЕВЫРЕВ

НА СМЕРТЬ ЛЕРМОНТОВА

Не призывай небесных вдохновений
На высь чела, венчанного звездой;
Не заводи высоких песнопений,
О юноша, пред суетной толпой.
Коль грудь твою огонь небес объемлет
И гением чело твое светло, —
Ты берегись: безумный рок не дремлет
И шлет свинец на светлое чело.

О, горький век! Мы, видно, заслужили,
И по грехам нам, видно, суждено,
Чтоб мы теперь так рано хоронили
Все, что для дум прекрасных рождено.
Наш хладный век прекрасного не любит,
Ненужного корыстному уму,
Бессмысленно и самохвально губит
Его сосуд — и все равно ему:

Что чудный день померкнул на рассвете,
Что смят грозой роскошный мотылек,
Увяла роза в пламенном расцвете,
Застыл в горах зачавшийся поток;
Иль что орла стрелой пронзили люди,
Когда младой к светилу дня летел;
Иль что поэт, зажавши рану груди,
Бледнея пал — и песни не допел.
1841

ВЛАДИМИР БЕНЕДИКТОВ

«ПО СИНИМ ВОЛНАМ ОКЕАНА»

Из гроба нам стих твой гремит,
Поэт, опочивший так рано.
Воздушный корабль твой летит
«По синим волнам океана».

Всегда твоя песня жива,
И сладки, как звуки органа,
Твои золотые слова:
«По синим волнам океана».

И музыку *кто-то* творит
Для песни певца-великана,
И музыка та говорит:
«По синим волнам океана».

И вызвав обдуманных нот
Аккорды из струн фортепьяно,
Садится *она* и поет:
«По синим волнам океана».

И глаз ее светлых эмаль,
Мне кажется, дымку тумана
Пронзая, кидается вдаль —
«По синим волнам океана».

И, думами, думами полн,
Дрожу я, как в миг урагана
Бросаемый бурею челн
«По синим волнам океана».

И вместе с певицей тогда
Я рад бы без цели и плана
Умчаться бог знает куда
«По синим волнам океана».

⟨1857⟩

КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ

ЛЕРМОНТОВ

1

Опальный ангел, с небом разлученный,
Узывный демон, разлюбивший ад,
Ветров и бурь бездомных странный брат,
Душой внимавший песне звезд всезвонной,

На празднике — как призрак похоронный,
В затишье дней — тревожащий набат,
Нет, не случайно он среди громад
Кавказских — миг узнал смертельно-сонный.

Где мог он так красиво умереть,
Как не в горах, где небо в час заката —
Расплавленное золото и медь,

Где ключ, пробившись, должен звонко петь,
Но также должен в плаче пасть со ската,
Чтоб гневно в узкой пропасти греметь.

2

Внимательны ли мы к великим славам,
В которых из миров нездешних свет?
Кольцов, Некрасов, Тютчев, звонкий Фет
За Пушкиным явились величавым.

Но раньше их, в сиянии кровавом,
В горенье зорь, в сверканье лучших лет,
Людьми был загнан пламенный поэт,
Не захотевший медлить в мире ржавом.

Внимательны ли мы хотя теперь,
Когда с тех пор прошло почти столетье,
И радость или горе должен петь я?

А если мы открыли к свету дверь,
Да будет дух наш солнечен и целен,
Чтоб не был мертвый вновь и вновь застрелен.

3

Он был один, когда душой алкал,
Как пенный конь в разбеге диких гонок.
Он был один, когда, полуребенок,
Он в Байроне своей тоски искал.

В разливе нив и в перстне серых скал,
В игре ручья, чей плеск блестящ и звонок,
В мечте цветочных ласковых коронок
Он видел мед, который отвергал.

Он был один, как смутная комета,
Что головней с пожарища летит,
Вне правила расчисленных орбит.

Нездешнего звала к себе примета
Нездешняя. И сжег свое он лето.
Однажды ли он в смерти был убит?

4

Мы убиваем гения стократно,
Когда, рукой его убивши раз,
Вновь затеваем скучный наш рассказ,
Что нам мечта чужда и непонятна.

Есть в мире розы. Дышат ароматно.
Цветут везде. Желают светлых глаз.
Но заняты собой мы каждый час, —
Миг встречи душ уходит безвозвратно.

За то, что он, кто был и горд и смел,
Блуждая сам над сумрачною бездной,
Нам в детстве а душу ангела напел, —

Свершим сейчас же сто прекрасных дел:
Он нам блеснет улыбкой многозвездной,
Не покидая вышний свой предел.

МИХАИЛ КУЗМИН

ЛЕРМОНТОВУ

С одной мечтой в упрямом взоре,
На Божьем свете не жилец,
Ты сам — и Демон, и Печорин,
И беглый, горестный чернец.

Ты с малых лет стоял у двери,
Твердя: «нет, нет, я ухожу».
Стремясь и к первобытной вере,
И к романтичному ножу.

К земле и людям равнодушен,
Привязан к выбранной судьбе,
Одной тоске своей послушен,
Ты миру чужд, и мир — тебе.

Ты страсть мечтал необычайной,
Но ах, как прост о ней рассказ!
Пленился ты Кавказа тайной, —
Могилой стал тебе Кавказ.

И Божьи радости мелькнули,
Как сон, как снежная мятель...
Ты выбираешь — что? две пули
Да пошловатую дуэль.

Поклонник демонского жара,
Ты детский вызов слал Творцу.
Россия, милая Тамара,
Не верь печальному певцу.

В лазури бледной он узнает,
Что был лишь начат долгий путь.
Ведь часто и дитя кусает
Кормящую его же грудь.

1916

ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН

ЛЕРМОНТОВ

Над Грузией витает скорбный дух —
Невозмутимых гор мятежный Демон,
Чей лик прекрасен, чья душа — поэма,
Чье имя очаровывает слух.

В крылатости он, как ущелье, глух
К людским скорбям, на них взирая немо.
Прикрыв глаза крылом, как из-под шлема,
Он в девушках прочувствует старух.

Он в свадьбе видит похороны. В свете
Находит тьму. Резвящиеся дети
Убийцами мерещатся ему.

Постигший ужас предопределенья,
Цветущее он проклинает тленье,
Не разрешив безумствовать уму.

1926

ОЛЕГ ИГНАТЬЕВ

Тревожащий и малопостижимый,
Незримый луч высвечивает мне
Каморку, полутемную от дыма,
И профиль человека в полутьме.

Похоже, он грустит... Накинув китель
И голову рукою подперев,
Перебирает в мыслях ряд событий.
Неуправляемых, как царский гнев.

Кто честен, смел, — глупцам не угождает.
Ужели и его стихи для всех
Не более, чем шалость молодая,
Сплошной скандал и вечный неуспех?

Не может быть! не может... Ведь опала —
Вот лучшее признание в стране,
Где гением родиться слишком мало,
Чтоб жить и выжить. В ссылке ль, на войне...

В каморке душно этим знойным летом,
И сыплется известка с потолка.
Кто он такой, не спящий до рассвета?
Поди узнай, когда б не эполеты
Поручика пехотного полка.
1986

ЛАД

Сейчас уже трудно понять, почему эта глава «Праздники» не вошла в первое издание «Лада» в серии «Отечество» издательства «Молодая гвардия» в 1982 году. Как трудно понять многое из идеологических табу тех застойных лет, когда само обращение к прошлому, к исторической памяти, к культуре народа объявлялось патриархальщиной, идеализацией. Не всякое издательство и не всякий журнал могли взять на себя смелость издать тот же «Лад» Василия Белова — это сделали «Наш современник» и издательство «Молодая гвардия». Как не всякий автор мог решиться написать такую книгу о своем народе, заранее зная, кто и в чем его будет обвинять, какие ярлыки навешивать. Это сделал Василий Белов, создавший книгу о ладе, а не о разладе народной жизни, книгу о красоте «крестьянской вселенной», и не о «предрассудках и обычаях звериного прошлого». «Вне памяти, — убеждал писатель, — вне традиций истории и культуры нет личности. Память формирует духовную крепость человека».

Мы долгое время считали, что нельзя повернуть «колесо истории» вспять, что история движется семимильными шагами только вперед. Мы забывали, что всегда, во все времена и у всех народов назревала необходимость возврата к прошлому — забытому, утраченному, разрушенному или отринутому. «Колесо истории» всегда поворачивалось вспять. Без таких постоянных возрождений прошлого в настоящем немыслимо само будущее. «Настоящее, — отмечал святой Августин, — это двери, через которые прошлое переходит в будущее». Но именно эти двери, этот переход в будущее через прошлое, долгое время для нас оставались закрытыми, заколоченными наглухо. Василий Белов в «Ладе», как и Владимир Чивилихин в «Памяти», академик Б. А. Рыбаков — в «Язычестве древних славян», Юрий Лощиц — в «Земле-имениннице», попытались открыть эти двери настежь. Ради настоящего и ради будущего.

В этом году «Лад» Василия Белова выходит в «Молодой гвардии» в полном объеме, без какой бы то ни было редакторской, или конъюнктурной правки. Издание дополнено новыми фотографиями Анатолия Заболоцкого, без которых сам «Лад» тоже трудно представить. Это не просто — иллюстративный материал, а зримый образ лада крестьянской России.

В. КАЛУГИН

ВАСИЛИЙ БЕЛОВ

ПРАЗДНИК

Ежегодно в каждой отдельной деревне, иногда в целой волости, отмечались всерьез два традиционных пивных праздника. Так, в Тимонихе летом праздновалось Успение Богоматери, зимою — Николин день.

В глубокую старину по решению прихожан изредка варили пиво из церковных запасов ржи. Такое пиво называлось почему-то *мольба*, его развозили по домам в насадках. Нередко часть сусла, сваренного на праздник, носили, наоборот, в церковь, святили и угощали им первых встречных. Угощаемые пили сусло и говорили при этом: «Празднику канун, варцу доброго здоровья». Остаток такого *канунного* сусла причитался попу или сторожу.

Праздник весьма сходен с ритуальным драматизированным обрядом, наподобие свадьбы. Начинался он задолго до самого праздничного дня *замачиванием* зерна на солод. Весь пивной цикл — проращивание зерна, соложение, сушка и размол солода, наконец, варка сусла и пускание в ход с хмелем — сам по себе был ритуальным. Следовательно, праздничное действо состояло из пивного цикла, праздничного кануна, собственно праздника и двух послепраздничных дней.

Праздничные заботы волновали и радовали не меньше, чем сам праздник. Накануне ходили в церковь, дома мыли полы и потолки, пекли пироги и разливали студень, летом навешивали полога. Большое значение имели праздничные обновы, особенно для детей и женщин.

День праздника ознаменовывался трогательной встречей родных и близких.

Гостьба — одно из древнейших и примечательных явлений русского быта.

Первыми шли в гости дети и старики. Издалека ездили и на конях. К вечеру приходили мужчины и женщины. Холостяков уводили с уличного гулянья. Всех гостей встречали поклонами. Здоровались, а с близкими целовались. Прежде всего хозяин каждому давал попробовать сусла. Под вечер, не дожидаясь запоздавших, садились за стол, мужчинам наливали по рюмке водки, женщинам и холостякам по стакану пива. Смысл застолья состоял для хозяина в том, чтобы как можно обильнее накормить гостя, а для гостя этот смысл сводился к тому, чтобы не показаться обжорой или пьяницей, не опозориться в чужой деревне. Ритуальная часть гостьбы состояла, с одной стороны, из *потчевания*, с другой — из благодарных отказов. Талант потчевать сталкивался со скромностью и сдержанностью. Чем больше отказывался гость, тем больше хозяин настаивал. Соревнование — элемент доброго соперничества, следовательно, присутствует даже тут. Но кто бы ни победил в этом соперничестве — гость или хозяин, — в любом случае выигрывали добродетель и честь, оставляя людям самоуважение.

Пиво — главный напиток на празднике. Вино, как называли водку, считали роскошью, оно было не каждому и доступно. Но дело не только в этом.

Анфиса Ивановна рассказывает, что иные мужики ходили в гости со своей рюмкой, не доверяя объему хозяйской посуды. Больше всего боялись выпить лишнее и опозориться. Хозяин вовсе не обижался на такую предусмотрительность. Народное отношение к пьянству не допускает двух толкований. В старинной песне, сопровождающей жениха на свадебный пир, поется:

Поедешь, Иванушка,
На чужу сторону
По красну девицу.
Встретят тебя
На высоком двору,
На широком мосту,
Со плата, со плата,
Со шириночки
Платок возьми,
Ниже кланяйся.
Поведут тебя
За дубовы столы.
За сахарны яства
Да за ситный хлеб.
Подадут тебе
Перву чару вина.
Не пей, Иванушка,
Перву чару вина,
Вылей, Иванушка,
Коню в копыто.

Вторую чару предлагается тоже не пить, а вылить «коню во гриву».

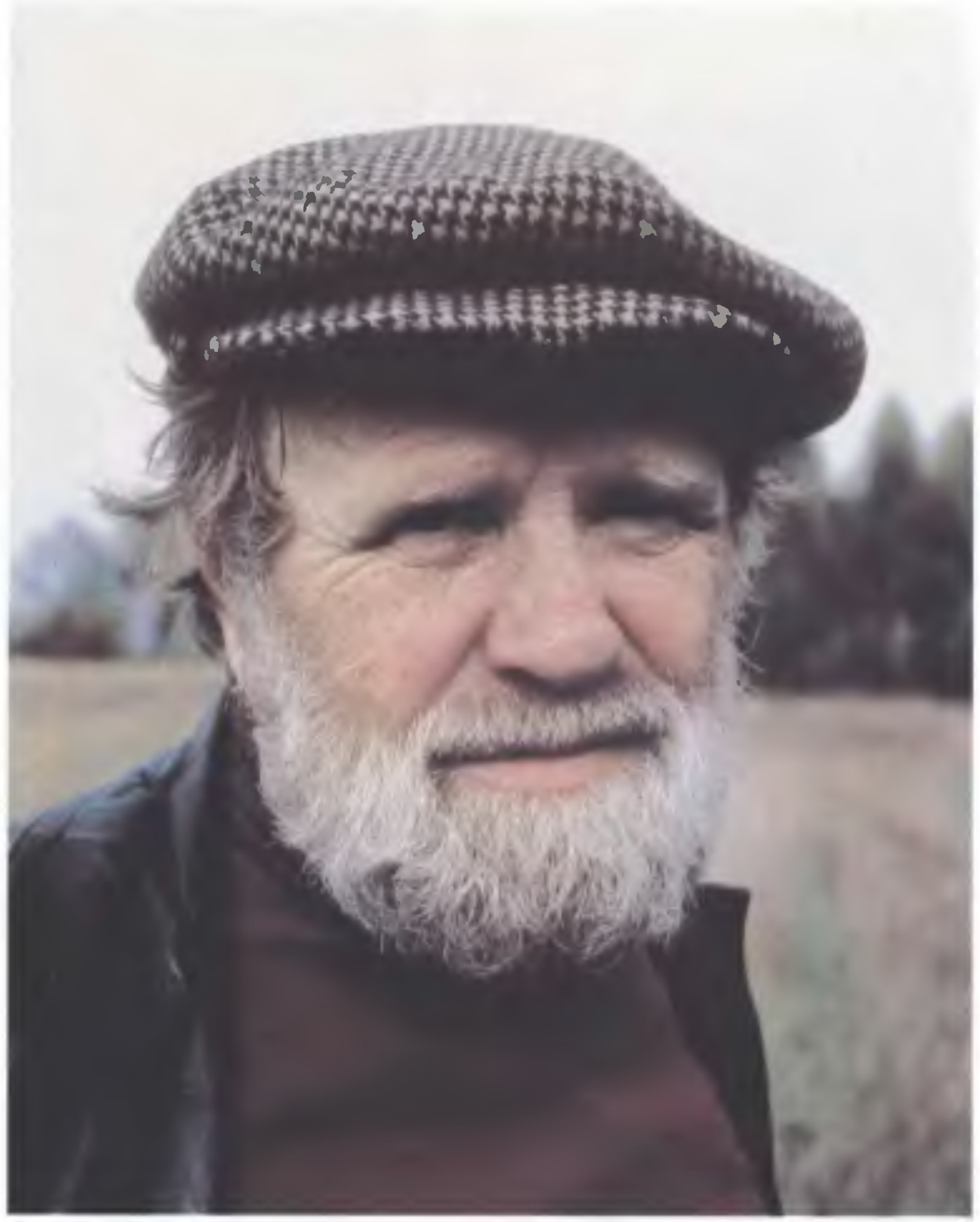
Подадут тебе
Третью чару вина,
Не пей, Иванушка,
Третью чару вина,
Подай, Иванушка,
Своей госпоже,
Марье-душе...

После двух-трех отказов гость *пригублял*, но далее все повторялось, и хозяин тратил немало сил, чтобы раскачать гостя.

Потчевание, как и воздержание, возводилось в степень искусства, хорошие потчеватели были известны во всей округе, и, если пиво на столе кисло, а пироги черствели, это было позором семье и хозяину.

Выработалось множество приемов угощения, существовали традиционные приговорки, взывающие к логике и здравому смыслу: «выпей на вторую ногу», «Бог троицу любит», «изба о трех углах не бывает» и т. д.

У гостя был свой запас доводов. Отказываясь, он говорил, например: «Как хозяин, так и гости». Однако пить хозяину было нельзя, во-первых, по тем же причинам, что и гостю, во-вторых, по другим, касающимся уже хозяйского статуса. Таким образом, рюмка с зельем попадала как бы в заколдованный круг, разрывать который стеснялись все, кроме пьяниц. Допрашивание или провоцирование хозяина на внеочередное угощение тем более выглядело позорно.



Потчевание было постоянной обязанностью хозяина дома. Время между *рядовыми* или *обношением* занималось разговорами и песнями. Наконец более смелые выходили из-за стола на *круг*. Пляска перемежала долгие песни, звучавшие весь вечер. Выходили и на улицу, посмотреть, как гуляет молодежь.

Частенько в праздничный дом без всякого приглашения приходили *смотреть*, это разрешалось кому угодно, знакомым и незнакомым, богатым и нищим. Знакомых сажали за стол, остальных угощали — «обносили» — пивом или суслом, смотря по возрасту, по очереди черпая из ендовы*. Слово «обносить» имеет еще и второй, прямо противоположный смысл, если применить его для единственного числа. *Обнесли* — значит, не поднесли именно тебе, что было величайшим оскорблением. Хозяин строго следил, чтобы по ошибке никого не обнесли.

Главное праздничное действо завершалось глубокой ночью обильным ужином, который начинался бараньим студнем в крепком квасу, а заканчивался овсяным киселем в сусле.

На второй день гости ходили к другим родственникам, некоторые сразу отправлялись домой. Дети же, старики и убогие могли гостить по неделе и больше.

Отгащивание приобретало свойства цепной реакции, остановить гостьбу между домами было уже невозможно, она длилась бесконечно. Уступая первые места новым, наиболее близким родственникам, которые появлялись после свадеб, дома и фамилии продолжали гоститься многие десятилетия.

Такая множественность в гостьбе, такая многочисленность родни, близкой и дальней, прочно связывала между собой деревни, волости и даже уезды.

---

* *Ендова* — широкий сосуд с носком (*Ред.*)

150 ЛЕТ ФОТОГРАФИИ

Заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола Анатолий Дмитриевич Заболоцкий о себе рассказывает:

— Я родился в 1935 году на дне нынешнего Красноярского моря, толщина воды над моей деревней Сыда Краснотуранского района 29 метров. Теперь зимой над Сыдой уйма любителей подледного лова. Уловистое место оказалось над погостом всех моих предков...

В 1960 году закончил операторский факультет ВГИКа. Работал девять лет на «Беларусьфильме», где снял картины «Через кладбище», «Альпийская баллада» и другие. После на «Таллиннфильме» снял фильм «Безумие». В 1968 году Василий Макарович Шукшин пригласил меня в Москву для работы над «Степаном Разиным», но фильм был закрыт. Мы приступили к съемкам фильма «Печки-лавочки», затем сняли «Калину красную» и вновь вернулись к «Степану Разину». 1 октября 1974 года эта работа была прервана смертью Шукшина. С тех пор мое операторство пошло на убыль. Работал, чтобы жить, все больше уходя в книжную фотоиллюстрацию. Такого содружества с режиссерами, как с Шукшиным, у меня уже не случалось. А диктат современного режиссера-продюсера и киноадминистраторов меня не устраивал. Спас меня от этого кризиса Василий Иванович Белов. Он предложил создать пластический образ ушедшего уклада деревенской культуры. Два года я добывал этот фотоматериал в пластических иллюстрациях для «Лада».

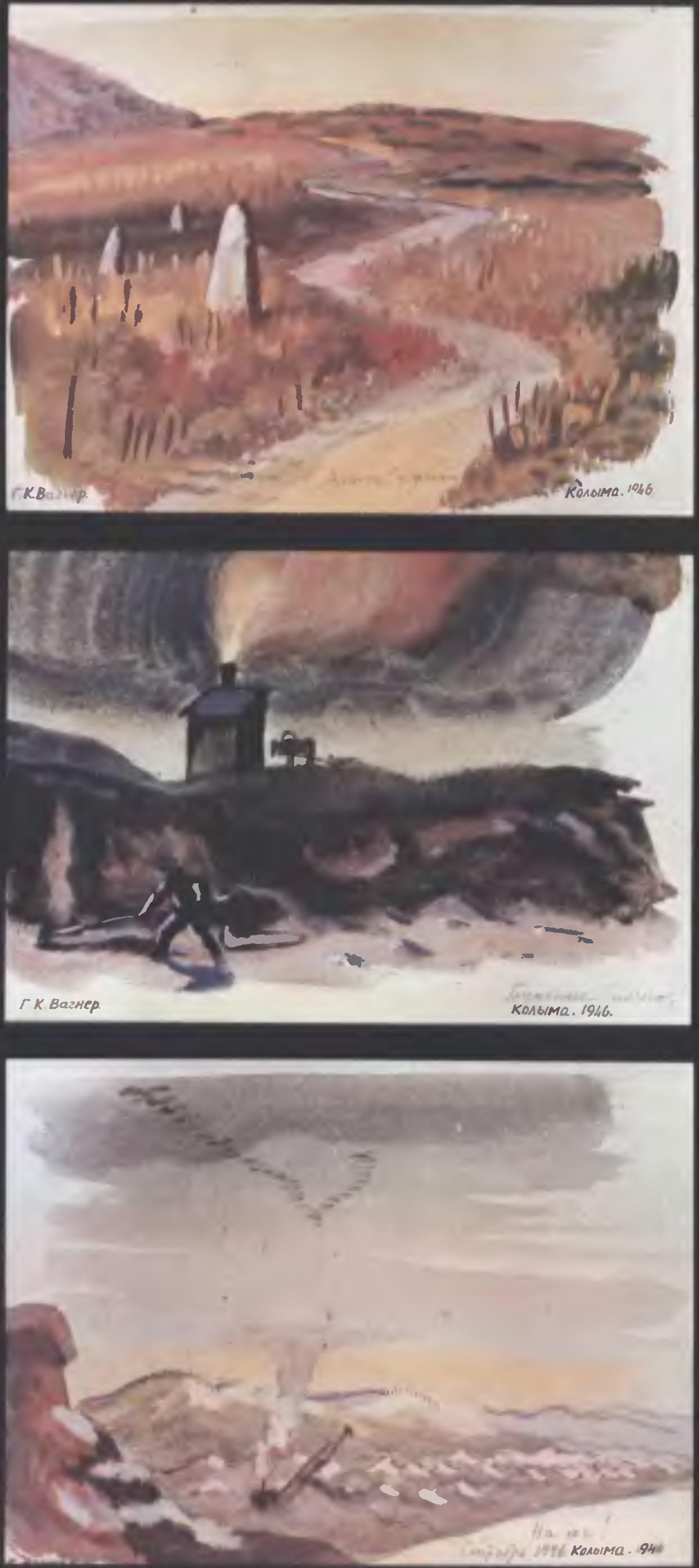
Не скажу, что все шло гладко, особенно в отношениях с издательским многоопытным художественым редактором Саидой Юсуфовной Сахаровой. Многие из иллюстраций, публикуемые во втором издании, были отвергнуты по ее воле в первом. Она не так представляла себе крестьянскую Россию, слишком угрюмыми казались ей люди. Баньку, снятую мной в сорокаградусный мороз, она отвергла, поскольку баня эта могла кому-то показаться жильем. А многие слайды были попросту забракованы как не соотвествующие ГОСТу (во второе издание они тоже вошли). С подобной редакторской вкусовщиной приходится сталкиваться и поныне, когда кажжый раз надо доказывать право на свое пластическое видение. Так же пробивалось через ГОСТы юбилейное издание «Слова о полку Игореве» в «Советском писателе», где я попытался отыскать и снять первозданную природу, какой ее могли видеть современники «Слова». В последние годы работаю с Владимиром Алексеевичем Солоухиным над книгой «Письма из Русского музея», которая выйдет в «Молодой гвардии», а с Виктором Петровичем Астафьевым готовлю «Затеси». Снимаю фотокнигу об Алтае и местах, где бывал вместе с Шукшиным. Пробую впервые написать о нем, написать о том, что помню. В последние три года в содружестве с художником-фотографом Анатолием Горяевым снимали фотокнигу «Лик православия», она издается «Планетой» совместно с Товариществом русских художников.

Но кино, увы, обладает наркотическим воздействием, от него сразу не излечишься. И потому приступаем соборно, коллективом авторов — Евг. Игнатьев, М. Шелехов, Н. Бурляев — к съемкам нового фильма «Все впереди».

ДЕСЯТЬ ЛЕТ КОЛЫМЫ ЗА СУХАРЕВУ БАШНЮ

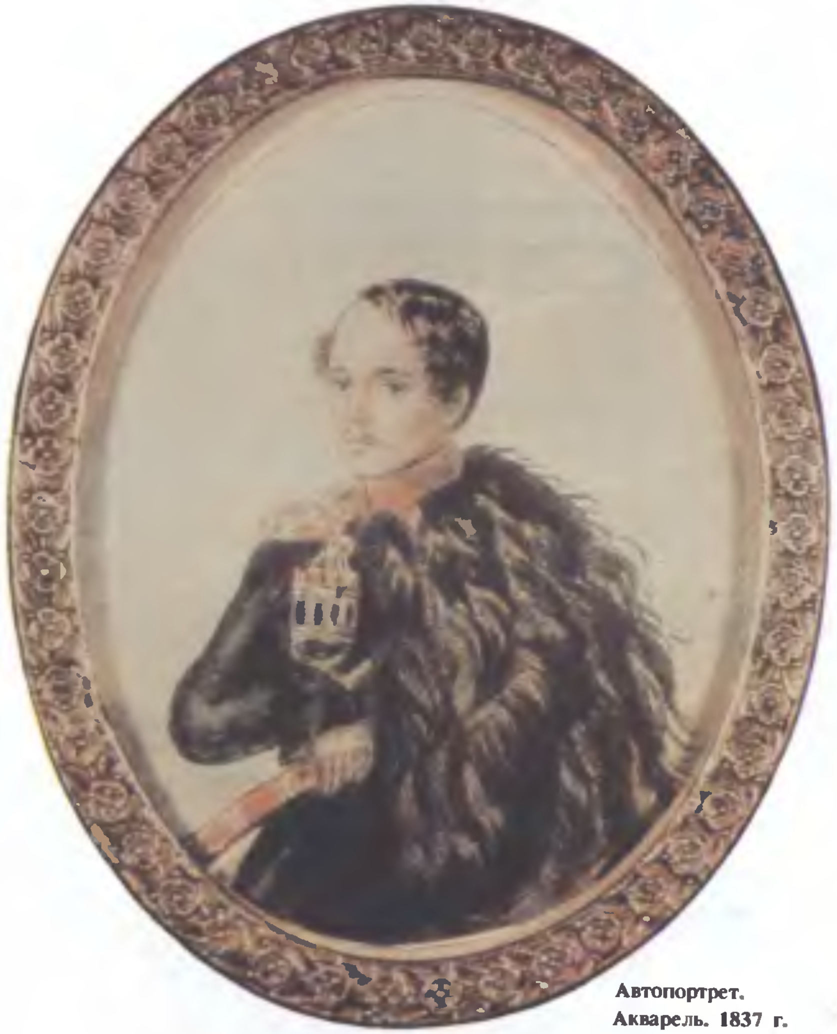
Воспоминания Г. К. Вагнера читайте на стр. 74.

Сначала я не хотел печатно делиться своими колымскими воспоминаниями, считая, что, на мой взгляд, в них нет ничего оригинального. Они (опять же с колымской точки зрения) довольно будничны. Но опубликованный Георгием Жженовым колымский эпизод «Саночки» показал, что и в будничном событии тех лет может содержаться драматизм. Со мной был почти такой же случай, произошедший в те же 30-е годы и в тех же местах. Воспоминание о нем повлекло за собой и то, что было до него, и то, что было после. Так родились эти мои заметки, не претендующие ни в коем случае на литературу. Поэтому прошу не судить меня за конспективный стиль, он, вероятно, плох. Но излагаемые здесь факты предельно точны.



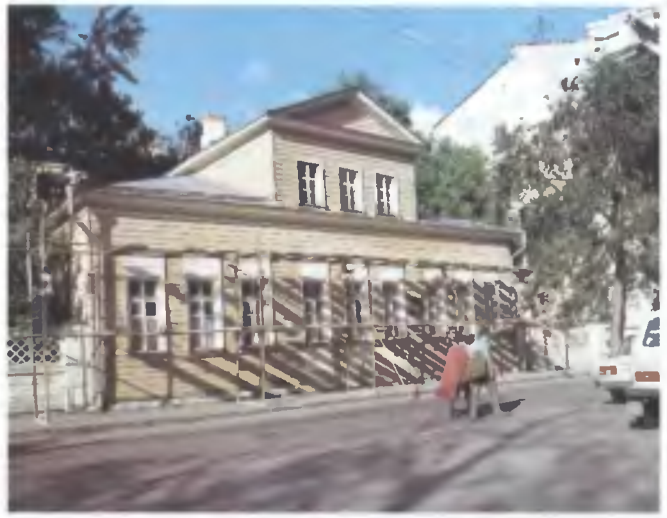
Колымские пейзажи. 1946 г.

3 (15) октября этого года исполняется 175 лет со дня рождения великого русского поэта Михаила Юрьевича ЛЕРМОНТОВА. Предлагаем вниманию читателей поэтический венок, фоторепортаж из московского Дома-музея поэта, а также эссе-исследование В. Бушина, посвященное истории публикации стихотворения «Прощай, немытая Россия», которое вот уже более века приписывается перу Лермонтова и стало «хрестоматийным».



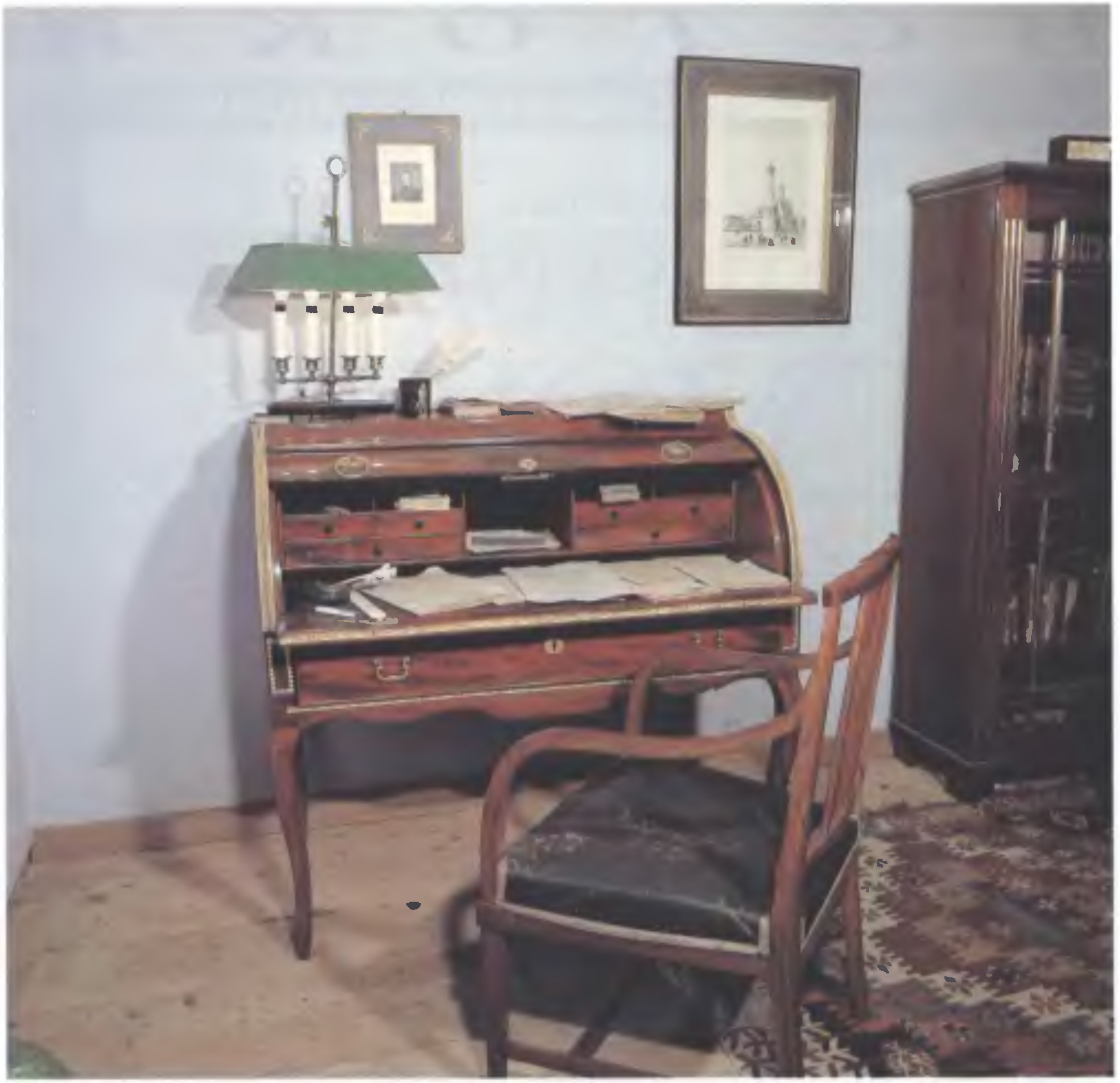
Автопортрет. Акварель. 1837 г.

175



Дом-музей М. Ю. Лермонтова на Малой Молчановке в Москве.

Рабочий стол М. Ю. Лермонтова.

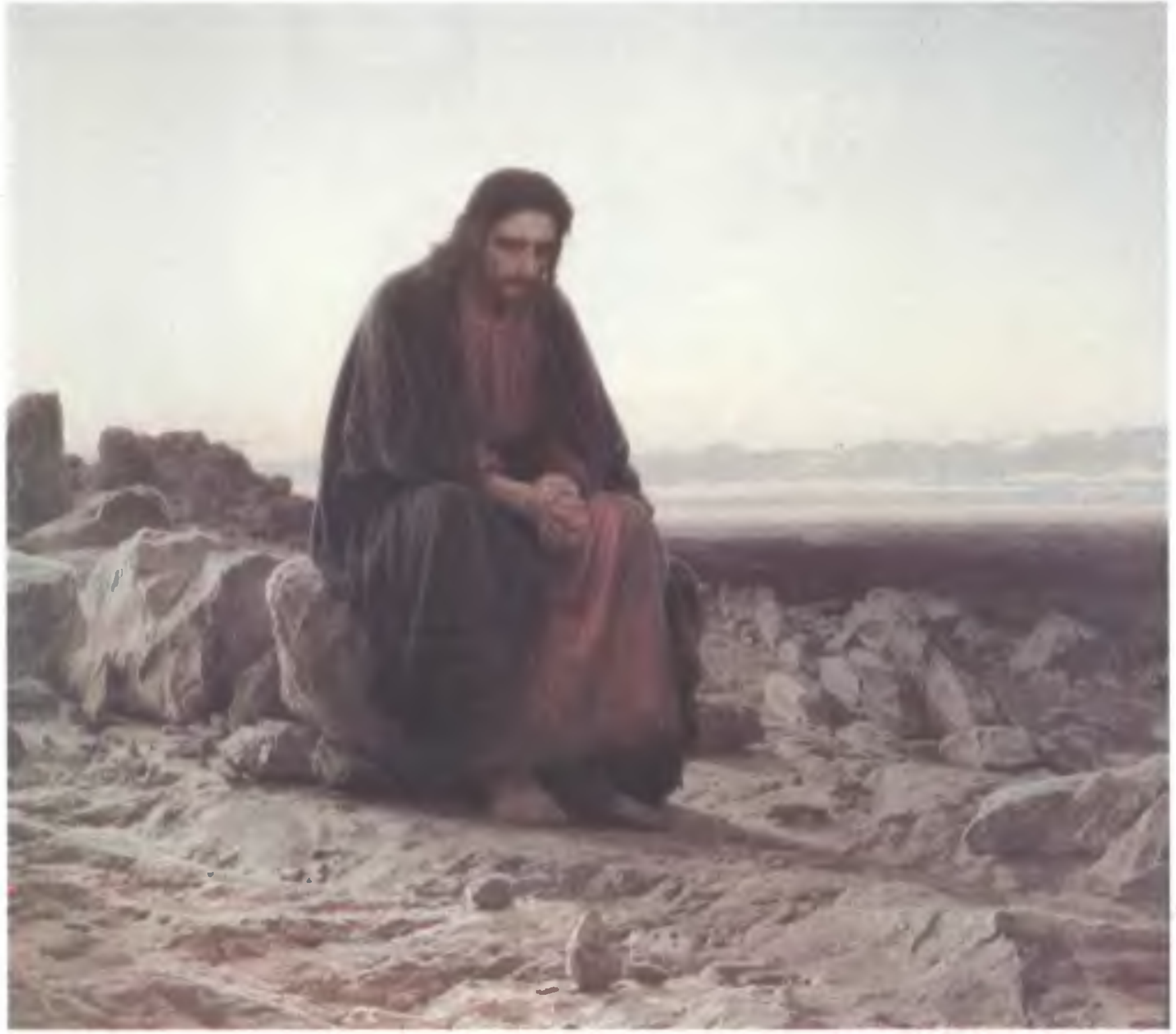


Кабинет М. Ю. Лермонтова.

Большая гостиная.

ИСТОКИ

ЛЕГЕНДЫ. ИССЛЕДОВАНИЯ. НАХОДКИ.



И. Н. Крамской. Христос в пустыне.

**МИФЫ
НАРОДОВ МИРА**

ЭРНЕСТ РЕНАН

ЖИЗНЬ ИИСУСА*

В самом деле, беспрерывные возмущения, возбуждаемые ревнителями моисейства, не переставали в течение всего этого времени волновать Иерусалим. Смерть бунтовщикам была верная, но когда дело шло о целости Закона, то смерти домогались с жадностью. Опрокинуть орлов, разрушить художественные произведения, воздвигнутые Иродами, в которых не всегда уважались постановления Моисея, восстать против щитов, поставленных по обету прокураторами, было вечным искушением для фанатиков, дошедших до той степени экзальтации, которая отнимает всякую заботу о жизни. Так, Иуда, сын Сарифея, и Тамфей, сын Маргалота, два очень известных книжника, образовали партию для смелого нападения на установленный порядок. Эта партия существовала и после их казни. Самаряне волновались движениями такого же характера. Кажется, что Закон никогда не насчитывал более страстных последователей, как в то время, когда уже жил тот, кто совершенным авторитетом своего гения и своей великой души должен был отменить его. Стали появляться «зилоты», или «сикарии», благочестивые убийцы, поставившие себе задачей убивать всякого, кто нарушал пред ними Закон. Представители совершенно другого духа — тауматурги, рассматривавшиеся как носители чего-то божественного, встречали веру к себе благодаря той крайней потребности в сверхъестественном и божественном, которую ощущал век.

Движение, имевшее гораздо более влияния на Иисуса, было движение Иуды Голонита, или Галилеянина. Из всех повинностей, наложенных на недавно завоеванные Римом страны, самой нелюбимой была перепись. Эта мера, которая всегда удивляет народы, не привыкшие к налогам больших центральных управлений, была особенно ненавистна иудеям. Уже во времена Давида мы видим, что перепись вызывает сильные жалобы и угрозы пророков. В самом деле, перепись была основанием подати; а подать по воззрениям чистой теократии была почти нечестием. Деньги публичных касс считались за награбленные. Перепись, произведенная по распоряжению Квириния (в 6-м году христианской эры), могущественно пробудила эти идеи и создала большое брожение. Некий Иуда из города Гамалы, на восточном берегу Тивериадского озера, и один фарисей, по имени Садок, отрицая законность податей, собрали вокруг себя многочисленную школу, вскоре ставшую на сторону открытого мятежа. Основные положения школы заключались в том, что никого не надо называть «учитель», — этим титулом, принадлежащим одному Богу, — и что свобода стоит дороже жизни. Иуда, очевидно, был вождем галилейской секты, особенно занятой мессианизмом и примкнувшей к политическому движению. Прокуратор Копоний подавил восстание Голонита; но школа осталась и сохранила своих вождей. Под руководством Менахема, сына основателя и некоего Елеазара, его родственника, школу снова находят энергично действующей в последних борьбах иудеев с римлянами. Иисус, может быть, видел этого Иуду, который понимал иудейскую революцию совсем иначе, чем он. Иисус во всяком случае знал его школу, и вероятно в качестве противодействия ее заблуждению он произнес свою аксиому о динарии Кесаря. Мудрый Иисус, далекий от всякого восстания, воспользовался ошибкою своего предшественника и стал мечтать о другом царстве и о другом освобождении.

Галилея была как бы обширной печью, где бурно кипели самые разнообразные элементы. Чрезвычайное презрение к жизни, или, лучше сказать, род влечения к смерти, было результатом этих волнений. Опыт ничего не значит в великих фанатических движениях. Алжирия в первое время занятия ее французами видела, что каждую весну поднимались «вдохновленные», объявлявшие себя неуязвимыми и посланными Богом, чтобы прогнать неверных; на следующий год смерть их забывалась и их преемник снова встречал полную веру. Римское владычество, правда, жестокое, но зато не придирчивое, допускало еще бóльшую свободу. Эти громадные жестокие империи, ужасные при укрощении, не были подозрительны, подобно державам, имеющим правилом надзор за гражданами. Они позволяли делать все до тех пор, пока не считали нужным строго наказать. Незаметно, чтобы Иисус при своем бродячем образе жизни был хоть раз стеснен полицией. Такая свобода и, сверх того, все счастье, которым пользовалась Галилея, гораздо менее связанная узами фарисейского педантизма, давали этой стране истинное превосходство над Иерусалимом. Революция, или, в других выражениях, ожидание Мессии, заставляли там работать все головы. Считали себя накануне великого обновления; священное писание, искажаемое в различных смыслах, служило пищей для самых колоссальных надежд. В каждой строчке простых писаний Ветхого завета видели удостоверение и в некотором роде программу будущего царства, которое должно было принести мир верным и запечатлеть навсегда дело божие.

** Перевод с 69-го французского издания М. Синявского (Москва, 1906 г.).*

Продолжение. Начало в №№ 8—9. Произведение публикуется полностью.

Во всякое время это разделение на две противоположные партии — корысти и духа, было источником творчества в нравственном мире. Всякий народ, призванный к высокому назначению, должен быть полным миниатюрным мирком, заключающим в себе противоположные полюсы. Греция давала в нескольких лье расстояния Спарту и Афины — двух антиподов для поверхностного наблюдателя, а на самом деле соперничавших сестер, необходимых одна для другой. То же самое было и в Иудее. Развитие севера, хотя и менее блестящее в известном смысле, чем развитие Иерусалима, в общем было также плодотворно. Все самые живые создания иудейского народа везде шли оттуда. Полное отсутствие чувства природы, граничащее с некоторою сухостью, узостью и дикостью, клало на все чисто иерусалимские творения печать характера грандиозного, но печального, сухого и отталкивающего. Своими важными книжниками, безвкусными канонистами, своими лицемерными и угрюмыми ханжами Иерусалим не завоевал человечества. Север дал миру наивную Суламиту, смиренную хананеянку, страстную Магдалину, доброго благодетеля Иосифа и деву Марию. Один север создал христианство; Иерусалим же, напротив, является истинною колыбелью упрямого иудейства, которое, будучи основано фарисеями и укреплено Талмудом, перешло через средние века и дошло до нас.

Очаровательная природа содействовала образованию этого мягкого и не строго монотеистического духа — если я смею так выразиться, — который придавал всем грезам Галилеи идиллический и чарующий характер. Окрестности Иерусалима — быть может, самая печальная страна в мире. Напротив, Галилея была вся в зелени, очень тенистая и очень веселая — истинная страна Песни Песней и Песней Возлюбленного. В течение 2-х месяцев, марта и апреля, деревня представляет ковер цветов несравненной яркости красок. Животные там невелики, но чрезвычайно кротки. Горлицы — резвы и легки, синие дрозды так легки, что садятся на траву, не сгибая ее; хохлатые жаворонки взвиваются чуть не из-под самых ног путешественника; в ручьях маленькие черепахи с яркой и приятной окраской; аисты с целомудренным и важным видом, без всякой пугливости, позволяют человеку очень близко приближаться к себе и как бы зовут его. Ни в одной стране в мире горы не развертываются с большей гармонией и не внушают таких возвышенных мыслей. Кажется, что Иисус особенно любил их. Наиболее важные акты его божественной жизни происходят на горах; там он лучше всего вдохновлялся, там он имел тайные беседы с древними пророками и являлся глазам своих учеников уже преображенным.

Эта красивая страна, ставшая теперь вследствие того страшного оскудения, которое внес в жизнь людей исламизм, такой угрюмой и раздирающей сердце (но где все то, что человек не мог уничтожить, дышит еще ясностью, приятностью и нежностью), во времена Иисуса изобиловала благосостоянием и веселостью. Галилеяне слыли за энергичных, храбрых и трудолюбивых людей. Если исключить Тивериаду, выстроенную Антипою в честь Тиверия (к 15-му году) в римском стиле, то в Галилее не было больших городов. Однако страна была густо населена, покрыта небольшими городами, крупными деревнями и искусно возделана во всех своих частях. В развалинах, оставшихся от ее древнего великолепия, виден земледельческий народ, совершенно не способный к искусству, мало заботящийся о роскоши, равнодушный к красотам формы и исключительно идеалистический. Деревня изобиловала свежей водой и плодами; богатые фермы скрывались под тенью виноградников и фиговых деревьев; сады были полны яблонь, орешника и гранатовых деревьев. Вино было великолепно, если о нем судить по тому вину, какое иудеи выделывают еще в Сафеде, и его пили много. Эта жизнь, довольная и легко удовлетворяемая, не приводила к грубому материализму нашего крестьянина, к грубому довольству изобильной Нормандии или тяжеловесной веселости фламандцев. Она одухотворялась в эфирных грезах, в некоторого рода поэтическом мистицизме, сливающем небо и землю. Предоставьте Иоанну Крестителю в его иудейской пустыне проповедовать покаяние, греметь без конца и питаться саранчою в обществе шакалов. Зачем сыны чертога брачного станут поститься, когда жених с ними? Радость будет уделом Царства Божия. Не дочь ли она кротких сердцем и добрых людей?

Вся история нарождавшегося христианства сделалась чем-то вроде восхитительной пасторали. Мессия на свадебных пиршествах, куртизанка и добрый Закхей, призванные на его пиршества, основатели небесного царства в виде кортежа дружек: вот на что отважилась Галилея, вот что она заставила принять. Греция описала человеческую жизнь скульптурой, поэзией, удивительными картинами, но без глубоких оснований и без далеких горизонтов.

Здесь же нет мрамора, великолепных работ, изящного и утонченного языка. Но Галилея создала в области народного воображения высочайший идеал, так как за ее идиллией волнуется судьба человечества, и свет, озаряющий ее картину, есть солнце царства божия.

Иисус жил и рос в этой упоительной среде. Начиная с детства, он почти ежегодно путешествовал в Иерусалим на праздники. Путешествие к святым местам было для провинциальных иудеев полным сладости торжеством. Целый ряд псалмов был посвящен воспеванию счастья путешествовать туда с семейством в продолжение нескольких дней, весною, чрез холмы и долины. Все эти псалмы имели в перспективе блеск Иерусалима, ужасы священных сеней и братскую радость совместного пребывания. Дорога, по которой обыкновенно ходил Иисус в этих путешествиях, была та же, по какой ходят и теперь — чрез Гинею (Ginaea) и Сихем. От Сихема до Иерусалима она очень трудна. Но соседство старых святилищ Сило и Бетеля (de Bethel), мимо которых приходится идти, делает человека бодрее. *Аин-эль-Харамие* — последний этап, представляет меланхолическое и очаровательное место. И немногие впечатления можно сравнить с испытываемыми там, когда располагаются на вечернюю стоянку. Долина узка и темна; черная вода течет из скал, пробуравленных гробницами, которые образуют стены. Это, я думаю, «долина слез» или «текущих вод», воспетая как одна из станций дороги в восхитительном LXXXIV-м псалме и ставшая для мягкого и печального мистицизма средних веков эмблемою жизни. На другой день рано уже приходят в Иерусалим; такое ожидание еще сегодня поддерживает караван и делает вечер коротким и сон легким.

Эти путешествия, в которых соединенная нация обменивалась идеями и которые почти всегда были очагами большого волнения, сталкивали Иисуса с народным духом и, без сомнения, уже внушили ему живую антипатию к недостаткам официальных представителей иудейства. Хотят[1], чтобы пустыня рано стала ему другой школой и чтобы он долго пребывал в ней. Но Бог, которого он находил там, не был его Богом. Это был скорее всего Бог Иова, суровый и ужасный, никому не оказывающий правосудия. Иногда это был сатана, приходивший искушать его. Он возвращался тогда в свою дорогую Галилею и снова находил своего Небесного Отца среди зеленых холмов и ясных фонтанов, между группами детей и женщин, которые с радостной душой и ангельскою песней в сердце ожидали спасения Израиля.

---

[1] Ренан разумеет здесь биографов Иисуса — евангелистов, подчеркивавших этот эпизод, как один из признаков Мессии. — Перев.

ГЛАВА IV

Первые афоризмы Иисуса.
Его идеи о Боге Отце и о чистой религии.
Первые ученики

Иосиф умер раньше, чем сын его достиг какого-нибудь общественного положения. Таким образом, Мария осталась главою семейства, и это объясняет, почему Иисуса, когда его хотели отличить от его многочисленных тезок, чаще всего называли: «сын Марии». Кажется, что она, став после смерти своего мужа чужестранкой в Назарете, возвратилась в Кану, которой она могла быть уроженкою. Кана была небольшой город, находившийся на расстоянии 2-х или $2^1/_2$ часа пути от Назарета, у подошвы гор, окаймляющих с севера Азохисскую равнину. Над всею равниною простираются окрестности, менее величественные, чем в Назарете, и окаймляются самым живописным образом Назаретскими горами и холмами Сефориса. Надо думать, что Иисус жил некоторое время в этом месте. Там, вероятно, он провел часть своей юности и там началась его первая слава.

Иисус занимался ремеслом своего отца, который был плотником[1]. Там это не считалось унизительным или неприятным трудом. Иудейский обычай требовал, чтобы человек, посвятивший себя умственным занятиям, научился какому-нибудь ремеслу. Самые известные книжники занимались ремеслами. Иисус не был женат. Всю свою силу любви он перенес на то, что он считал своим призванием свыше. Необыкновенно нежное чувство к женщинам, которое было заметно у него, не отделялось от исключительной преданности, питаемой Иисусом к своей идее. Он обходился, подобно Франциску Ассизскому и Франциску Сальскому, как с сестрами, с теми женщинами, которые увлекались его делом. У него были своя святая Клара и своя Франциска де-Шанталь. Только, по всей вероятности, эти последние более любили его, чем дело; он, без сомнения, был более любим, чем любил. И, как это случается часто у весьма высоких натур, сердечная нежность у него превратилась в бесконечную кротость, в беспредельную поэзию, во всеобъемлющую очаровательность.

Каков был ход мысли Иисуса в течение этого темного периода его жизни? Какими размышлениями начал он свою пророческую жизнь? Это неизвестно, так как история его жизни дошла до нас отрывками и не в точном хронологическом порядке. Но развитие живущих существ везде одинаково, и нет сомнения, что рост даже такой могучей личности, какую представлял из себя Иисус, подчинился слишком строгим законам. Высокое понятие о Божестве, которым он не был обязан иудейству, и которое, по-видимому, целиком являлось созданием его великой души, было в некотором роде причиной его силы. Это — идея о Боге-Отце, чей голос слышится в тишине совести и в молчании сердца. Иисус не имел видений; Бог не говорит ему, как отдельному существу; Бог в нем; он чувствует себя с Богом, и то, что он говорит от имени своего Отца, он извлекает из своего сердца. Он живет в Боге, сообщаясь с ним каждое мгновение. Он не видит Бога, но слышит его, не нуждаясь в громе и в пылающем кусте, как Моисей — в грозе-провозвестнице, как Иов — в оракуле, как старые греческие мудрецы — в гении-хранителе, как Сократ, и ангел-Гавриил, как Магомет. Фантазия и галлюцинации святой Терезы, например, здесь совсем неприложимы. Экзальтация суфи[2], провозглашающего себя тождественным с Богом, тоже совсем другое. Иисус никогда не высказывает святотатственной мысли, будто он Бог. Он считает себя в прямом общении с Богом, он считает себя Его сыном. Самое высокое сознание Бога, существовавшее только в уме человечества, было сознание Иисуса.

С другой стороны, понятно, что Иисус, исходя из такого душевного настроения, ни в каком случае не будет спекулятивным философом. Он не резонерствовал перед своими учениками. Он не требовал от них никаких усилий внимания. Нет ничего более далекого от схоластического богословия, чем евангелие. Умозрения греческих отцов относительно божественной сущности исходят совсем из другого духа. Бог, понимаемый непосредственно, как Отец, — вот вся теология Иисуса.

Несомненно, что Иисус не сразу пришел к этому высокому утверждению относительно самого себя. Но вероятно, что с первых своих шагов он рассматривал себя и Бога в отношении сына к своему отцу. В этом заключается великий акт его оригинальности; здесь он уже никак не является сыном своей расы. Ни иудей, ни мусульманин не понимали этой восхитительной теологии любви. Бог Иисуса — не фатальный владыка, который убивает нас по своей прихоти, осуждает и спасает нас, когда ему захочется. Бог Иисуса есть Отец наш. Его чувствуют, прислушиваясь к легкому шепоту, звучащему в нас: «Отец».

Бог Иисуса — не пристрастный деспот, избравший Израиль своим народом и покровительствующий ему в ущерб всем. Это — Бог человечества. Иисус не будет патриотом, как Маккавеи, или теократом, как Иуда Голонит. Смело возвысившись над предрассудками своей нации, он создает всемирное отечество Бога. Голонит утверждал, что лучше умереть, чем дать кому-либо, кроме Бога, имя «учитель». Иисус оставляет это имя всякому, кто желает его принять и сохраняет для Бога более нежное имя. Жалуя земных владык — представителей силы для него — полным иронии почтением, он создает высшее утешение, прибежище в Отце, которого каждый имеет на небе, и истинное царство божие, которое каждый носит в своем сердце.

Это название «царство божие» или «царство небесное» было любимым термином Иисуса, служившим ему для выражения той революции, которую он принес в этот мир. Как все термины, относящиеся к Мессии, он исходил из книги Даниила. По автору этой необыкновенной книги, 4-м языческим империям, предназначенным к разрушению, наследует 5-я, которая будет царством «святых» и будет продолжаться вечно[3]. Это царство божие на земле, естественно, подавало повод к самым разнообразным толкованиям. В последнее время своей жизни Иисус считал, что это царство реализуется материально путем неожиданного обновления мира.

---

[1] Матф., XIII, 55; Марк, VI, 8; Иустин, «Диалог с Трифоном», 88. — Перев.

[2] Древние еретики у персов, говорившие только об откровении и духовном общении с Богом. — Перев.

[3] Даниил, II, 44; VII, 13, 14, 22, 27.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Предлагаемая читателям книга Ренана — «Жизнь Иисуса» обработана самим автором для народа. Ввиду того, что полное издание, как по цене (7 фр. 50 сант.), так и по содержанию, недоступно для широких масс, Ренан подверг научно-критическое издание своей книги некоторым изменениям и сокращениям. Так, отброшено введение, представляющее историко-критический обзор книг, которыми пользовался Ренан для «Жизни Иисуса», затем анализ евангелия от Иоанна, и, наконец, примечания, имеющие интерес лишь для специалиста... Что касается последних, то мы сочли необходимым включить в некоторых случаях указания на источники, преимущественно те, которые всегда находятся под рукой: Евангелие, книги Ветхого Завета и Деяния Апостолов.

Несмотря на то, что предлагаемое издание обработано Ренаном для народа, оно написано языком, предполагающим читателя среднего уровня в России, так как во Франции общий уровень развития значительно выше нашего.

Считаем необходимым сказать несколько слов относительно особенностей ренановских литературных приемов и стиля.

Ренан стремится облечь сухое изложение исторических фактов в образную, легко воспринимаемую форму. Вследствие этого его книга местами носит характер художественного произведения, чему немало способствуют многочисленные лирические отступления, в которых Ренан-ученый всецело поглощается Ренаном-художником.

Несмотря на это, труд Ренана нельзя не рассматривать, как труд строго научный, труд, в котором использованы все материалы, имеющие то или иное отношение к трактуемому предмету... Надо заметить, что во всех случаях Ренан пользуется только первоисточниками, подвергнутыми тщательно критической проверке... Кроме книг священного писания Ренан использовал сочинения Тертуллиана, Оригена, Евсевия, Папия, Светония, Тацита, Клементина, Иустина, Иринея и других ученых первых веков христианства; кроме этих произведений, Ренан постоянно пользуется еврейским историком Иосифом, вавилонским и иерусалимскими Талмудами, Мишной и другими священными книгами. Не забыты и философы александрийской и нео-платоновской школ... Вторым достоинством Ренана является его чрезвычайная осторожность, характеризующая его научную добросовестность. Ренан избегает резких, не допускающих никаких иных толкований, выводов... Везде, где нет ясных и бесспорных данных, он непременно вставляет: «по-видимому», «надо думать», «как кажется» и т. п. Надо заметить, что многие места жизни основателя христианства являются или очень темными, неизвестными или непонятными. Иногда биографы Иисуса, чуждые всяких критических приемов, приводят невероятные объяснения... В таком случае исследователю остается восполнять пробелы психологическим путем, делая более или менее вероятные выводы на основании характера своего объекта, исторических, национальных, географических и др. условий... В этой сфере Ренан является положительным мастером и обнаруживает массу ума и аналитического таланта.

Некоторые места данной книги, быть может, покажутся несколько сентиментальными; но надо помнить, что «Жизнь Иисуса» писал человек, обожающий и преклоняющийся пред титанической личностью Христа. Лишь наши изуверы по казенному ведомству православного вероисповедания могли называть Ренана «безбожником» и «хулителем» христианства. Настоящая книга дает возможность читателям познакомиться с ним прямо, а не из гнусного извращения доморощенных клерикалов. Да, Ренан разрушает иезуитское и властолюбивое христианство католических патеров и казенное консисторско-поповское христианство византийских иереев, но он утверждает христианство евангелия. Неужели человек, заявляющий, что «никакие народные и освободительные движения, не связанные с духом Христа, не будут уметь успеха», неужели такой человек может быть «кощунственным хулителем», как любят выражаться про Ренана консисторские спасители «душ христианских»?

История и потомство уже оправдали этого «хулителя»: на его родине, в Бретани, оплоте католицизма и клерикализма, Ренану всенародно воздвигнут памятник. Мы советуем не в меру ретивым фарисеям вспомнить, что и сам Христос, которого они лицемерно защищают, был осужден не кем иным, как фарисеями и первосвященниками, как «совратитель и хулитель Закона Моисея».

М. СИНЯВСКИЙ

В МИРЕ КНИГ

БЕЗ ПРЕДВЗЯТОСТИ

В книге «Русское православие: вехи истории», созданной коллективом видных советских историков и философов, рассмотрены важнейшие этапы развития русской православной церкви, начиная с принятия христианства на Руси до 1917 года. Отдельная глава посвящена основным этапам эволюции православия в советском обществе. Если иметь в виду реалии послеоктябрьского периода, то можно понять наших историков. Ведь огромный пласт отечественной истории, философии, культуры, духовности до сих пор практически не входил в область их научных интересов. Кроме известного труда Н. М. Никольского «История русской церкви», вышедшего в 1930 году и дважды переизданного в последние годы (который, естественно, уже во многом устарел), в нашей стране не было издано ни одного монографического исследования по данной проблеме. Книга «Русское православие...» — прямое следствие изменившейся в наше время политики в отношении религии и церкви. Марксистским историкам, как пишет в предисловии к книге А. И. Клибанов, предстояло поставить историю церкви «в контекст гражданской истории, рассмотреть ее в общей системе социально-экономической, политической и культурной истории, определить ее место в этой системе и на такой основе изучить деятельность, социальную роль и идеологические функции русской православной церкви». Авторы книги, как значится в предисловии, «стремились очистить историческую действительность от искажений, поверхностных суждений и нарочито «обличительной» тональности». И действительно, в книге в большой степени преодолено укоренившееся с начала 20-х годов и питавшееся идеями «Союза воинствующих безбожников» глубоко враждебное отношение к религии и церкви, которое зачастую не было подкреплено знанием предмета, с которым велась «борьба».

К сожалению, в книге, написанной на высоком научном уровне, насыщенной огромным фактическим материалом, который до настоящего времени был практически недоступен широкому читателю, все же недостаточно полно раскрыта главная роль, главное назначение русского православия (как любой иной религиозной формы общественного сознания) — его назначение и роль в истории духовного строительства, духовной жизни общества (но, возможно, авторы книги такой цели в достаточно полной мере перед собой пока не ставили).

Вместе с тем, без сомнения, рассмотрение религии «в общей системе социально-экономической, политической и культурной истории» представляет собой важнейшую задачу, с которой авторы книги успешно справились.

Книга «Русское православие...» будет полезна всем, кто интересуется историей религии и церкви.

Ю. Б.

Русское православие: вехи истории / Науч. ред. А. И. Клибанов. — М.: Политиздат, 1989.

НОВИНКИ:

Бурсов Б. СУДЬБА ПУШКИНА: Роман-исслед. — Л.: Сов. писатель, 1989. — 567 с. — (Б-ка произведений, удостоенных Гос. премии СССР). — 2 р. 10 к. 100 000 экз.

ТРОИЦА АНДРЕЯ РУБЛЕВА. АНТОЛОГИЯ / Сост. Г. И. Вздорнов. — 2-е изд., испр., доп. — М.: Искусство, 1989. — 143 с., ил. — 3 р. 90 к. 30 000 экз.

Калугин В. СТРУНЫ РОКОТАХУ...: Очерки о русском фольклоре. — М.: Современник, 1989. — 632 с.; ил. — 2 р. 60 к. 20 000 экз.

ЛИТЕРАТУРА

СТИХИ. РАССКАЗ. ПОРТРЕТ.

ВЛАДИМИР БУШИН

КУРЬЕЗ С ШЕДЕВРОМ

Это было очень давно. Я бегал еще в первый класс. Однажды учительница сказала нам: «К следующей пятидневке вы должны выучить по своему выбору стихотворение — какое угодно, пусть даже оно будет невелико». Мне задание понравилось: я уже знал наизусть два стихотворения, одно большое — «Песнь о вещем Олеге» и одно маленькое — «Прощай, немытая Россия». Первое много раз читал мне дед, второе застряло в памяти от старших сестер, учивших его по школьному заданию. Хотелось, конечно, прочитать «Песнь», но я был болезненно застенчивым, краснел до слез по всякому пустяку даже среди домашних и потому знал, что не смогу прочитать до конца такое длинное стихотворение. Оттого-то, когда пришел мой черед, я встал и, заливаясь краской, пробубнил восемь строчек:

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный им народ.
Быть может, за хребтом Кавказа
Укроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

Странно, учительнице мое чтение понравилось, и она предложила мне выступить с этой же декламацией на предстоящем общешкольном вечере. Покраснев до корней волос, едва не плача, я промямлил и на вечере:

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ...

И опять успех! Мне дали премию — сборник басен Демьяна Бедного.

С тех пор я встречал это стихотворение великое множество раз: и на школьных уроках, и на студенческих лекциях, и в книгах самого Лермонтова, и в книгах о нем, и в передачах радио, и в передачах телевидения, и в газетных статьях о патриотизме русской литературы, — словом, оно сопутствовало мне всю жизнь, и при этом о нем всегда говорилось как о «замечательном восьмистишии», «одном из важнейших произведений великого поэта», «одном из самых сильных и смелых политических произведений» его, «одном из шедевров русской политической лирики» и т. п. Однако от столь частых встреч стихотворение стерлось в моем сознании до безликости затасканного клише, ничуть не волновало и утратило для меня всякий интерес. Но в каком-то литературном разговоре меня поразила однажды фраза: «Как мог Лермонтов с его пронзительной любовью к родине назвать Россию «страной рабов»?!» Эти случайно услышанные слова вдруг в неожиданном свете представили мне все стихотворение. Действительно...

Я стал читать и перечитывать знаменитое восьмистишие, обдумывая каждое слово, обратился к работам исследователей, заинтересовался историей его публикации. Исследователи спорят о том, когда оно написано, какую его редакцию следует считать истинной, характерны ли для Лермонтова тот или иной эпитет, та или иная рифма и т. д. Меня же под влиянием многих открывшихся фактов и долгих раздумий заинтересовало нечто более существенное, я пришел к глубокому сомнению: да точно ли, что Лермонтов автор этих широко известных строк?

До сих пор решительно и определенно авторство Лермонтова не ставил под вопрос, кажется, никто. Но некий отблеск сомнения порой все же блуждал на некоторых лицах, тревожил иные умы, но тут же, впрочем, решительно гасился, как дьявольское наваждение. Любопытнейший образец этого мы встречаем у литературоведа-текстолога Е. Прохорова. Ему нравятся слова академика Павлова «факты — воздух ученого», он считает полезным напомнить их в своей статье о стихотворении «Прощай...» Но вот другой литературовед, М. Ашукина, привлекает наше внимание к тому факту, что публикатор этого стихотворения П. И. Бартенев плохо знал почерк Лермонтова и, следовательно, мог ошибочно принять один из попавших ему в руки текстов за авторскую рукопись. Как же поступает, столкнувшись с этим фактом и вполне резонным допущением, на нем основанным, последователь Павлова? Довольно неожиданно. Он заявляет: «Такой вывод необоснован, так как (!), делая подобные «допущения», можно дойти и до утверждения, что это стихотворение вовсе не Лермонтова». Ничего себе «так как»! Это очень похоже на то, как если бы на врачебном консилиуме один его участник высказал основанное на фактах исследования предположение, что больной неизлечим, а другой участник именно по причине неизлечимости и неотвратимой смерти больного решительно и убежденно отверг бы предположение коллеги. Как видим, наш текстолог просто испугался вывода, к которому могла привести логика фактов и умозаключений, он просто отмахнулся от него. Оказывается, воздухом-то он считает не все факты, относящиеся к предмету исследования, а лишь те, которые не противоречат желательному для него выводу. Вот вам и Павлов...

СУДЬБА СТИХОТВОРЕНИЯ

Наблюдая сегодня случаи подобной интеллектуальной робости, как не вспомнить образцы великой смелости ума и духа, оставленные нам титанами прошлого! Маркс вопрошал: «Разве не первая обязанность исследователя истины прямо стремиться к ней, не оглядываясь ни вправо, ни влево?» А мы в иных обстоятельствах так часто вертим головой и вправо, и влево, и назад, даже задираем вверх, что в конце концов сбиваемся с правильной дороги, не доходим до цели и не обретаем ничего, кроме головокружения.

Лев Толстой, человек совсем иных философско-исторических параметров, но такого же нравственно-интеллектуального бесстрашия, признавался в связи с одним духовным исследованием, предпринятым им: «Я никак не ожидал, что ход моих мыслей приведет меня к тому, к чему он привел меня. Я ужасался своим выводам, хотел не верить им, но не верить нельзя было. И как ни противоречат эти выводы всему строю нашей жизни, как ни противоречат тому, что я прежде думал и высказывал даже, я должен был признать их». Не ожидал, но согласился. Не хотел верить — но поверил. Ужаснулся — но признал. А мы в наших поисках — всякий ли раз соглашаемся с тем, чего не ожидали? Всегда ли верим выводам, которые вполне логичны, но неприятны для нас? Признаем ли факты, которые неопровержимы, но ужасают?

Факты, обстоятельства, соображения, побуждающие сомневаться в принадлежности восьмистишия «Прощай, немытая Россия» перу Лермонтова, составляют как бы несколько восходящих витков спирали.

Первый виток — все, что связано с авторской рукописью, источниками текста стихотворения и первыми публикациями его.

Как известно, авторской рукописи восьмистишия нет. Почти за полтора века она так и не обнаружена.

Наличие авторской рукописи произведения есть прямое и самое убедительное доказательство авторства. Но отсутствие ее, разумеется, не может быть доказательством, что произведение создано не тем лицом, которому приписывается. Такое отсутствие — лишь изъятие из системы аргументов, утверждающих данное авторство, однако в иных обстоятельствах это весьма и весьма существенное изъятие. Думается, в нашем случае дело обстоит именно так.

Нет автографов многих знаменитых произведений. Так, не сохранился автограф стихотворения Пушкина «Во глубине сибирских руд». Но есть убедительная система косвенных доказательств пушкинского авторства. Например, имеется двадцать источников текста — рукописных копий, в большинстве своем относящихся к пушкинской поре. Кроме того, существуют воспоминания современников (в частности, декабриста И. Д. Якушкина) об обстоятельствах создания стихов, о том, когда и как они были переправлены декабристам в Сибирь и т. д. Наконец, всем известен ответ декабриста А. И. Одоевского на это поэтическое послание, и он адресован не кому-нибудь, а именно Пушкину. Можно еще добавить, что стихотворение как пушкинское опубликовано впервые спустя менее чем двадцать лет после смерти поэта, и притом человеком, заслуживающим полного доверия — Герценом. Какие могут быть колебания при таких данных?

Или взять последние шестнадцать строк стихотворения самого Лермонтова «Смерть Поэта». Автограф тоже не сохранился. Но опять-таки есть большое количество списков — двадцать три, причем семь из них относятся к 1837 году, а два даже датированы февралем и мартом этого года, то есть временем, предельно близким тому, когда стихотворение могло быть написано. И так же, как в первом случае, сохранились свидетельства современников о том, когда, при каких обстоятельствах оно создавалось. Известны, в частности, конкретные показания об этом друга Лермонтова, губернского секретаря С. А. Раевского, привлеченного к ответственности за распространение стихотворения, есть письмо А. М. Меринского к библиографу П. А. Ефремову от 3 февраля 1862 года, в котором тот сообщает, что посетил поэта в день, когда были написаны эти шестнадцать строк и тогда же списал их с автографа и т. д. Наконец, мы знаем, что именно этими строками вызвано дело «О непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии гусарского полка Лермантовым, и о распространении оных губернским секретарем Раевским», в результате чего поэт был сослан. Ну, и остается присовокупить, что впервые стихотворение было опубликовано все целиком, вместе с пламенной концовкой тоже сравнительно скоро после смерти поэта, спустя лишь пятнадцать лет, и тем же самым Герценом. Как видим, и в данном случае были бы странны всякие сомнения относительно авторства.

Как же со всем этим обстоит дело в случае со стихотворением «Прощай, немытая Россия»? О, тут картина совершенно иная! Прежде всего, известно лишь два его рукописных текста, выполненных к тому же одним и тем же человеком — П. И. Бартеневым. Первый текст — заметим, что это вообще первое письменное упоминание о стихотворении — относится к 1873 году, второй года на три-четыре моложе — к тому времени со дня гибели поэта прошло примерно тридцать пять лет, а со дня предполагаемого создания, может быть, и все сорок, так как одни исследователи говорят, что восьмистишие написано в 1841 году, другие — в 40-м, а третьи — что в 37-м, — полной уверенности ни у кого нет. А при каких обстоятельствах оно могло быть написано? Если в 37-м, то при одних, если в 40-м, то, естественно, совсем при других, если в 41-м, то опять при иных, и во всех случаях обстоятельства известны нам лишь в самых общих чертах: никаких показаний современников о создании стихотворения нет, как нет и достоверных свидетельств о его распространении в 37-м, 40-м или 41-м годах. Первую публикацию восьмистишия предпринял П. А. Висковатов в 1887 году, а затем в 1889-м, — через сорок шесть — сорок восемь лет после смерти поэта!

Уже то отмечавшееся обстоятельство, что письменное упоминание о восьмистишии «Прощай...» и его текст мы впервые встречаем лишь в документе, относящемся к 1873 году, то есть спустя тридцать лет после смерти поэта, а до этого ни в дневниках, ни в письмах оно не было обнаружено, и что известен еще только один-единственный более поздний текст, сделанный тем же Бартеневым, сильно настораживает. Такая запоздалость и скудость следов произведения никак не соответствует уверениям некоторых современных наших авторов, будто оно широко ходило по рукам после смерти Лермонтова. Вот уж если «Во глубине сибирских руд» или «Смерть Поэта» ходили действительно широко, так это и подтверждается обилием и свежестью упомянутых «следов».

Но еще более, чем первое столь позднее письменное упоминание, настораживает первая публикация стихотворения. Она состоялась, как мы уже говорили, в 1887 году, то есть спустя почти полвека после смерти поэта. Такой срок невольно наводит на новые раздумья, рождает особенно много сомнений.

Действительно, ведь были же гораздо раньше достаточно благоприятные времена и обстоятельства для обнародования. Разве не странно, например, что восьмистишие, которое широко ходило по рукам, не попало на страницы «Полярной звезды» или «Колокола» еще в 50—60-е годы? Почему? Ведь Герцен и Огарев настойчиво, жадно искали тогда для своих зарубежных изданий произведения подобного рода, и им удавалось всеми правдами и неправдами — помогали доброхотные корреспонденты — получать из России и предавать гласности многие запрещенные или еще ненапечатанные сочинения Рылеева, Пушкина, Белинского, Некрасова, Михайлова, Вейнберга и других писателей. Так, уже в 1856 году в «Полярной звезде» публикуется упоминавшееся нами послание Пушкина декабристам «Во глубине сибирских руд». В 1860 году в «Колоколе» появились всего два года тому назад написанные «Размышления у парадного подъезда» Некрасова. В 1861 году в огаревском сборнике «Русская потаенная литература 19-го столетия», вышедшем в Лондоне, печатается знаменитая эпиграмма Пушкина на Аракчеева — «Всей России притеснитель» и т. д. Там, за границей, у Герцена и Огарева впервые являются на свет стихи и самого Лермонтова: в 1858 году в «Полярной звезде на 1856 г.» — «Смерть Поэта», позже в «Колоколе» — «Увы! Как скучен этот город...»

Среди корреспондентов Герцена были такие литературно осведомленные писатели, критики, публицисты, как Добролюбов, Тургенев, Бакунин, Анненков и другие. Почему же никто из них не отправил в Лондон, а потом в Женеву пропагандистски столь эффектное произведение великого поэта, будто бы ходившее по рукам так широко? Почему не сделал этого сам Бартенев, обладатель копии, сделанной якобы с подлинника? Может быть, между Бертеневым и Герценом не существовало никаких отношений или они сложились неприязненно? Ничего подобного! Еще в 1858 году Бартенев передал Герцену «Записки Екатерины Второй», которые и были незамедлительно опубликованы в Лондоне на следующий же год. Вот бы при этом и восьмистишие-то передать! Ан нет...

Но не только в бесцензурной заграничной печати, — судя по многим фактам, стихотворение «Прощай, немытая Россия», могло проникнуть на страницы некоторых изданий и на родине — за несколько десятилетий до того, как это случилось. В самом деле, подходящая общественно-политическая ситуация складывалась в стране в конце 50-х — начале 60-х годов, в пору, непосредственно предшествовавшую отмене крепостного права, и сразу после — в годы известной либерализации и многочисленных реформ, а также — в начале 70-х. Многие крамольные произведения появились в печати именно тогда благодаря помянутой ситуации.

Так, например, на родине было напечатано стихотворение Лермонтова «Смерть Поэта» («Библиографические записки», т. 1, № 20, 1858), — правда, без заключительных шестнадцати строк, написанных, как известно, отдельно. Да ведь там и без этих заключительных пороха предостаточно!

Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? веселитесь...

Недаром же, по свидетельству современника, и в этой первоначальной редакции стихотворение мгновенно разошлось по стране.

Проходит весьма короткое время, и в 1860 году в собрании сочинений Лермонтова под редакцией С. С. Дудышкина стихотворение печатается полностью.

...Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — все молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный судия: он ждет;
Он недоступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегните к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Здесь та же вера в торжество справедливости, та же могучая устремленность в будущее, та же угроза грядущего возмездия, что и в послании Пушкина декабристам, только все это выражено еще более широко и гневно. Не удивительно, что царь Николай сразу же получил копию стихотворения с надписью «Воззвание к революции».

Так вот, если в русской прессе благодаря соответствующей ситуации тогда проходили даже такие «воззвания», то что же, спрашивается, могло помешать появлению несоизмеримого с ними по силе стихотворения «Прощай...» — злого, желчного, но пассивного, замкнутого на констатации нынешнего дня, проклятия, никому ничем не грозившего? Трудно поверить, чтобы этому «шедевру» была действительная необходимость ждать еще почти тридцать лет. Но факт налицо: ждал до 1887 года!

Так в чем же дело?

Весьма правдоподобным представляется такое объяснение.

Почти за полвека, прошедшие после смерти Лермонтова, под его именем появилось в печати немало чужих стихов. Даже в наши дни при всех несомненных успехах литературоведения в приложениях к собраниям сочинений поэта обычно печатается десятка два с половиной стихотворений, приписываемых ему. Так не является ли и «Прощай, немытая Россия» одним из таких стихотворений, появившихся, скорей всего, в начале 70-х годов, когда оно впервые встречается нам в письме Бартенева к Ефремову? И не этим ли именно обстоятельством да неуверенностью публикаторов в подлинности объясняется столь великий разрыв между смертью Лермонтова и появлением восьмистишия в печати?

В первых публикациях стихотворения «Прощай...» загадочно и странно не только то, что они оказались такими поздними, но и многое другое. И наши исследователи вполне ясных отгадок тут не дают, эти стрвнности с твердой уверенностью не раскрывают. Одни лишь предположения, гипотезы, домыслы. Это во многом объясняется уже отмечавшимся недостатком фактического материала. Так будет же позволено и нам высказать некоторые предположения.

Впервые восьмистишие было напечатано, как мы знаем, в 1887 году в журнале «Русская старина» П. А. Висковатовым. При этом он не указал, откудв получен текст, что не только противоречит обыкновению, выглядит странно, но и наводит на большие сомнения. Невольно возникает мысль, что источник текста не внушал доверия самому публикатору (а, следовательно, представлялось сомнительным и авторство Лермонтова), что он не мог решиться назвать источник просто из опасения опровержений, и потому предпочел объяснению горделивую позу безапелляционности. Если бы имелся подлинник — какой смысл утаивать его, предмет гордости любого публикатора?

В 1889 году Висковатов помещает стихотворение в собрании сочинений Лермонтова, и опять — никаких упоминаний об источнике! А между тем, в новой публикации есть весьма существенное разночтение с прежней. Там было

И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ,

здесь же — «И ты, послушный им народ». Преданный и послушный — вещи совершенно разные.

Это усиливает наше сомнение. Более того, теперь можно почти с полной уверенностью сказать, что Висковатов располагал не подлинником, а вариантами стихотворения, и притом они до такой степени не были для него авторитетными, что он не смел указать их происхождение.

Еще удивительнее дела пошли дальше. В 1890 году в своем журнале «Русский архив» восьмистишие печатает П. И. Бартенев, да к тому же сопровождает текст указанием: «Неизданное». Как же так? Ведь оно уже дважды опубликовано! Может, Бартенев действовал по неведению? Немыслимая вещь! Журнал «Русская старина», где выступил Висковатов, по своему, как мы теперь сказали бы, профилю был единственным конкурентом бартеневского «Архива», и уж, надо думать, расторопный Петр Иванович зорко приглядывался к собрату-сопернику. Тогда — в чем же дело? А может — шпилька конкуренту? Намеренное игнорирование уже сделанного другим? Желание посмеяться над соперником?

Такое предположение будет не столь уж неправдоподобным, если принять во внимание, что у бартеневской публикации три разночтения с первой висковатовской (журнальной) и даже четыре — со второй (книжной). Напутал, дескать, дружок! Доверился какой-то липе! Восклицания в таком духе кажутся тем более вероятными в устах Бартенева, что Висковатов-то не смог указать источники своих текстов, а он, Бартенев, решительно сделал это: «Записано со слов поэта современником».

Но тут всплывает новая и, может быть, самая большая во всей этой истории загадка. Дело в том, что еще в 1873 году Бартенев послал иной вариант стихотворения «Прощай...» известному библиографу П. А. Ефремову, а немного позже — Н. В. Путяте, и в обоих случаях уведомлял своих адресатов, что это — «списано с подлинника». С подлинника! Почему же теперь отдано предпочтение другому тексту? М. Г. Ашукина выдвигает такое предположение: «Очевидно, он (Бартенев) к этому времени усомнился в достоверности того «подлинника», с которого послал копии Ефремову и Путяте...» Почему усомнился? А вот, мол, как раз под влиянием нового текста, полученного от «современника»: «Первая публикация стихотворения в «Русской старине» скорее всего и побудила современника, хранившего текст, сообщить его Бартеневу для опубликования в исправление ошибочного, висковатовского». Нельзя не заметить, что в этой гипотетической картине несколько странно выглядит «современник, обладатель столь достоверного текств». Он, как видно, крайне ревностно озабочен публикацией произведений Лермонтова, но вместо того, чтобы самому предпринять какие-то конкретные шаги в этом направлении, молча сидит в своем углу — ждет, чтобы кто-нибудь напечатал неверный текст, дабы тотчас его исправить. И ждать ему пришлось даже не тридцать лет и три года, а сорок шесть лет! Ну, а если бы Висковатов не выступил — так и унес бы почитатель Лермонтова свой достоверный текст в могилу?

Да кто он в конце концов? М. Г. Ашукина отвечает: «Мы этого современника не знаем, но Бартенев знал его». Какие доказательства, что знал? Никаких. Если допустить, что все-таки знал, то почему, как пишет Ашукина «скрыл» его имя?

Неизвестно. А когда сделана запись «со слов поэта»? При каких обстоятельствах? Под диктовку, что ли, или через двадцать — тридцать лет по памяти? Опять неизвестно. Ну, а крепка ли память-то у «современника»? Можно ли на нее положиться — ведь ему к 1890 году, самое малое, было под семьдесят, а могло быть и семьдесят пять — восемьдесят? Ничего неизвестно! Все в тумане... Единственное, о чем можно сказать с известной долей уверенности, это то, что таинственный «современник», если он, как полагает М. Ашукина, еще благополучно здравствовал, был уже в весьма преклонных летах, но оставался страстным любителем литературы и дотошным читателем «Русской старины» и «Русского архива».

И вот такой-то источник, где все столь сомнительно, зыбко, неопределенно, предпочесть тексту, который «списан с подлинника»? Я думаю, разгадка здесь вот в чем.

Ни в 70-е годы, ни в 1890 году у Бартенева, как и у Висковатова, не было не только лермонтовского подлинника или достоверного, надежного списка с него, но и вообще никаких косвенных доказательств авторства великого поэта. Он, как и Висковатов, располагал лишь расхожими вариантами стихотворения. Это подтверждается тем обстоятельством, что все три его текста, как и два висковатовских, разнятся между собой. При плохом знании почерка Лермонтова Бартенев действительно мог предположить в 70-е годы, что он снял копию с подлинника, подобные вещи случались с более искушенными специалистами и позже. Однако твердой уверенности у него не было, и это долгие годы (самое малое — почти двадцать лет!) удерживало его от публикации. Но вдруг он видит, что его конкурент не колеблясь дважды печатает стихотворение безо всякого указания на источник. И вот тогда, досадуя на свою медлительность, нерешительность и на бесцеремонный обгон соперником, Бартенев тоже ударился во все тяжкие: на следующий же год предал стишок тиснению! При этом по понятным престижным соображениям он избрал новый попавший ему в руки вариант, который больше, чем прежние тексты, отличался от висковатовских.

Но при этом допущении, естественно, возникает вопрос: а можно ли было ожидать от Висковатова и Бартенева таких чувств и поступков — обнародования недостоверных текстов, следования соображениям престижа, желания во что бы то ни стало обойти конкурента и т. п.? Увы... И тут приходится сказать несколько слов о них как о публикаторах. У обоих немалые заслуги в деле сбора и печатания литературных и исторических документов. Тому и другому мы обязаны сохранением весьма ценных рукописей, без коих картина нашей культуры была бы сейчас неполной. Но — надо признать со всей определенностью — и тот и другой принадлежали к числу не самых безгрешных детей своего бурного века.

П. А. Висковатов не раз был замечен, как выражаются специалисты-текстологи, «в приверженности к контаминированным текстам», то есть к соединению текстов разных редакций произведения, в результате чего появляется новый, ранее не существовавший текст. Контаминация, разъясняют те же специалисты, одна из грубейших текстологических ошибок. Но были на совести Павла Александровича грешки и потяжелей. Так, под произведениями, которые он публиковал, порой стояли имена, не имевшие к ним никакого отношения. В частности, немало чужих стихов Висковатов приписал как раз Лермонтову. Где гарантия, что он не поступил именно так и в том случае, когда ему в руки попало восьмистишие «Прощай, немытая Россия»? Никто не доказал, что дело обстояло иначе.

Что касается его собрата-конкурента, то даже бесстрастная Литературная энциклопедия вполне деликатно, однако достаточно твердо констатирует: «Многочисленные публикации Бартенева в археографическом и текстологическом отношении стояли на недостаточно высоком уровне». Имея в виду именно обстоятельства занимающего нас дела, В. В. Виноградов иронически писал о наивности тех, кто «придает значение вполне достоверного документа или объективно-исторического факта противоречивым заявлениям Бартенева относительно сообщаемых им текстов стихотворения «Прощай, немытая Россия»: «списанный с подлинника», «с подлинника руки Лермонтова» или «записанный со слов поэта современником». Даже исследователи, находящиеся по иным весьма важным вопросам лермонтоведения на противоположных позициях, единодушны в критической оценке публикаторской деятельности Бартенева. Так, один говорит о «крайнем дилетантизме его публикаторских приемов», более того — о «полной несостоятельности Бартенева-публикатора»; другой, назвав его «из рук вон плохим публикатором», заявляет: «Он не задумывался над тем, что публикует, его не интересовало, вызывает ли доверие публикуемый им текст. Важно было только опубликовать оригинальную, а еще лучше — сенсационную новинку». Тут же приводятся непустячные примеры подобных «новинок». Так, в 1885 году под видом некрасовского Бартенев обнародовал стихотворение «Заздравный кубок подымая», посвященное Муравьеву-вешателю, печально знаменитому графу-мракобесу. Разумеется, ничего подобного Н. А. Некрасов не писал и не мог написать. В 1889 году Бартенев поместил в своем журнале стихотворение «Великих зрелищ, мировых судеб», объявив, что это неизданный Тютчев. На самом деле стихотворение принадлежало Некрасову и дважды было им напечатано.

По поводу последнего эпизода исследователь восклицал: «Как напоминает этот пример публикацию Бартеневым «неизданного» стихотворения Лермонтова в 1890 году!» То есть он усматривает здесь сходство лишь в том, что в обоих случаях под видом новинки преподносились вещи уже дважды напечатанные. А между тем, думается, тут возможно гораздо более глубокое сходство: как в первом случае под видом неизданного Тютчева, так и во втором под видом неизданного Лермонтова публиковались стихи чужие, названным поэтам не принадлежавшие. В самом деле, если имена Тютчева и Некрасова публикатор мог использовать для фабрикации «сенсационных новинок», то почему бы он остановился перед Лермонтовым? Тем паче, что если со времени смерти Тютчева прошло двадцать два года, Некрасова — лишь восемь, то со дня гибели Лермонтова — аж сорок девять! При такой удаленности последней даты фабрикация сенсационной «новинки», естественно, представлялась делом гораздо более соблазнительным как по своей эффектности, так и по шансам на безнаказанность.

Здесь однако нельзя не заметить, что нынешние критики Висковатова и Бартенева, давая крайне неодобрительные аттестации им как публикаторам, не всегда принимают во внимание тогдашний общий уровень и археографии, и библиографии, и публикаторского дела, не берут в расчет известную простоту нравов, царившую в этой сфере деятельности. А этот уровень, эта простота в сочетании с действительно имевшим место беззаботностью и склонностью наших публикаторов к сенсационности должны бы особенно насторожить исследователей в вопросе определения авторства такого стихотворения, как «Прощай, немытая Россия». Но этот вопрос никогда и не вставал, — ни сто лет назад, ни позже. Как появилось оно в «Русской старине», подписанное именем Лермонтова, так мы и поверили сразу и навсегда: Лермонтов! А современные исследователи вспоминают о публикаторской беззаботности Висковатова и Бартенева лишь в тех случаях, когда это подходит в качестве аргумента против того или иного слова в восьмистишии «Прощай...», против того или иного варианта его текста, не укладывающегося в их концепцию, но никогда никто из них не взглянул на дело шире: а можно ли в данном случае этим публикаторам доверять вообще?

Легкость, с какой исследователи и издатели пренебрегли всеми сомнительными обстоятельствами, связанными с автографом, с источниками текстов, с самим появлением в печати восьмистишия «Прощай...», поразительна.

Для сравнения вспомним хотя бы стихи «В игре как лев силен» и «Милый Глебов». В последнем академическом собрании сочинений Лермонтова (Л., 1979) читаем о них в примечаниях: «По словам В. И. Чиляева, в доме которого Лермонтов жил в Пятигорске, эти экспромты произнесены в один из июньских вечеров 1841 года во время игры в карты. Первый из них относится к Льву Сергеевичу Пушкину, брату Александра Сергеевича. Второй экспромт адресован Михаилу Павловичу Глебову, корнету лейб-гвардии конного полка, впоследствии секунданту на дуэли Лермонтова».

Как много доказательств! И время, и место создания стихов, и обстоятельства, и к кому стихи «относятся»... Но, несмотря на все обилие сведений, стихи эти никто не решается назвать принадлежащими Лермонтову, и они до сих пор печатаются в приложениях как приписываемые ему. А со стихотворением «Прощай, немытая Россия» все наоборот: данные сомнительны, противоречивы, зыбки, но оно с самого начала решительно числится лермонтовским.

НЕСЛОМЛЕННЫЙ

Фото НИКОЛАЯ КУЛЕБЯКИНА

Леонид Бородин.

Я рад возможности наконец-то представить нашему читателю талантливого русского писателя Леонида Бородина, лауреата нескольких международных премий, автора многих книг прозы, вышедших в годы застоя, увы, за рубежом и в последние годы переведенного на английский, французский, итальянский, немецкий, шведский, греческий языки, но так мучительно пробивающегося к отечественному читателю. Лишь в будущем году в издательстве «Московский рабочий» выйдет первая книга Леонида Бородина...

Как ответить на вопрос, почему даже сегодня, когда в наших популярных журналах вовсю печатается проза Василия Аксенова, Владимира Войновича, Георгия Владимова, поэзия Иосифа Бродского, Наума Коржавина и других, добровольно уехавших в эмиграцию писателей, книги Леонида Бородина по-прежнему замалчиваются?

Может быть, причину искать надо в том ответе, который он дал сам, выйдя из лагеря. Компетентные товарищи откровенно сказали ему, что вряд ли он уживется с властями. Они, мол, готовы ему помочь сделать вызов за границу, охотно выпустят, и во имя его же благополучия просят не тянуть с решением. Л. Бородин предпочел остаться на родине, писать для своего читателя, быть вместе со своим народом. Поиски писателем общей правды для всех, озабоченность судьбой народа, вероятно, оказались страшнее для чиновников, нежели поиск личной правды или какого-либо авангардного способа выражения своей изощренной сути.

Леонид Иванович Бородин родился 14 апреля 1938 года в Иркутске, в семье потомственных учителей. Жил во многих сибирских деревнях, где его отец директорствовал в сельских школах и преподавал математику, а мать — историю. Закончил школу в Нижнеудинске в 1955 году. В 1956 году поступил в Иркутский университет на исторический факультет. Учился в одни годы с Валентином Распутиным. На втором курсе его исключили из университета и из комсомола за организацию кружка «Свободное слово». Работал на Братской ГЭС, на норильском руднике, заочно поступил учиться в педагогический институт в Улан-Удэ. Преподавал историю на железнодорожной станции на Байкале. После окончания пединститута работал директором школы в Бурятии на станции Гусиное озеро. И уже по политическим соображениям, после организации ряда христианских кружков, переехал работать директором школы под Ленинградом, одновременно активно участвовал в формировании Всероссийского социал-христианского союза освобождения народов (ВСХСОН). По делу этого союза он и был арестован в 1967 году и до 1973 года пробыл в мордовских и владимирских лагерях. Некоторое время сидел вместе с Андреем Синявским, послужившим прототипом одного из главных героев повести «Правила игры».

После освобождения уехал на Байкал, работал на самых разных должностях (не выше составителя поездов на станции Очаково), но активно писал прозу, уже в «самиздате» широко ходили его рукописи.

Первая книга — «Повесть странного времени» — вышла в 1978 году в издательстве «Посев». В 1980 году там же вышла повесть «Третья правда», принесшая автору международную известность, может быть, наиболее художественно значимое его произведение. Через год — еще одна сибирская повесть — «Год чуда и печали», удивительно светлая и чистая, полная сказочной романтики, книга для детей. В зарубежных журналах появились повести «Правила игры», «Расставание», «Полюс верности»...

В 1982 году, уже как писателя, за публикацию книг за рубежом Л. Бородина арестовывают второй раз. Раз не подчинился «правилам игры», не уехал добровольно за рубеж, не захотел «продаваться за доллары», как любила писать наша пресса, поддерживал радикальные христианские круги — «раскрутили» Бородина «на полную катушку»: десять лет лагерей и пять лет ссылки — итого пятнадцать лет. Чем не сталинские сроки?

Дождался перестройки и в 1987 году вышел из пермского лагеря.

Начинается новая жизнь писателя и человека Леонида Бородина. Можно ожесточиться, обидеться, обвинив Родину во всех бедах, как это сделали иные соседи по лагерям, тот же А. Синявский, требующий от «России-суки» ответа за все с ним случившееся. Можно, уже выгодно используя свою биографию, рваться в «прорабы перестройки», поучать весь белый свет, требовать покаяния от окружающих. Леонид Бородин и сейчас исследует жизнь, ищет причины, при каких человек перестает быть человеком, надеется на победу человеческого духа. Думаю, если бы «Третья правда» вышла у нас сразу после написания, ее бы уже давно называли одним из наиболее значительных произведений русской прозы. Может быть, понятие «третья правда» (как термин) даже распространилось бы на всю нашу прозу. Собственно, чем, как не поисками «третьей правды» — народной правды, занимаются наши лучшие прозаики? Что сегодня звучит в выступлениях В. Белова, В. Распутина, депутатов-аграриев на Съезде народных депутатов? Все та же «третья правда». Не чиновников, не либералов, а самого народа, далекого и от тех и от других. Эту третью правду десятилетиями стараются подмять под себя представители всех элитарных течений, вечно выступающих от имени народа. Эту третью правду нес в себе Иван Африканович, хранила как святыню Матрена, в ней уверенность в себе распутинских старух. В ряд любимых народных героев становятся сегодня и герои «Третьей правды» Леонида Бородина — Селиванов и Рябинин, две ипостаси русского характера. Бородин обладает даром соединения древней России народных легенд и современной, изувеченной многолетними надругательствами над ней, но все еще живой России. Его Селиванов и Рябинин идут от древнерусских былин, они — «легендарны». В то же время оба представляют собой современные народные типы. Каждый по-своему отвечает на вопрос: как выжить, несмотря ни на что, народу в целом, как сохранить коренные свойства русского человека, не оскотиниться, не стать «гомо советикус» в его «неолюмпенском выражении», каким стал, к примеру, сын Рябинина, двадцатипятилетний алкоголик, современный «архаровец».

Искренне жалею, что не иркутяне «открывают» сегодня своего земляка, певца Байкала, исследователя сибирского народного быта. Но — сама жизнь возвращает все «на круги своя». Взглянем на судьбы трех земляков — Валентина Распутина, Александра Вампилова, Леонида Бородина. Как по-разному они сложились! Один — Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий, секретарь правления Союза писателей СССР, широко издающийся и на родине, и за рубежом. Другой — рано погиб, накануне своей славы, не дождавшись московской премьеры. Третьего мы только сегодня впервые печатаем на родной земле. Казалось бы, что общего? Общее — верность народной правде. Через какие бы испытания ни проводила судьба этих прекрасных русских писателей — славой, мытарствами и даже смертью, — через все прошли они незамутненными. Скинь эту земную шелуху, поменяй местами судьбы Валентина Распутина и Леонида Бородина, и окажется, что ничего не произойдет, так же будут выполнять они свой высокий художнический долг перед своим народом. Окажется, что вся эта мишура земная для настоящих художников ничего не стоит, и читатель будет держать рядом книги «Прощание с Матерой» В. Распутина, «Третью правду» Л. Бородина, «Старшего сына» А. Вампилова, чувствуя человеческую, нравственную и художническую близость этих трех талантливых русских мастеров слова. Они — наши стержневые писатели

А пока я по-хорошему завидую тем читателям, которым еще предстоит насладиться чтением «Третьей правды» Л. Бородина, познакомиться с судьбами его героев. Леонид Бородин — это самобытный голос в современной отечественной литературе.

Владимир БОНДАРЕНКО

ЛЕОНИД
БОРОДИН

ТРЕТЬЯ ПРАВДА

ГЛАВА ИЗ ПОВЕСТИ

По зимней засугробленной тайге бежали два человека. Один догонял другого. Убегающий был невысокого роста, щуплый, пронырливый и в этой погоне вполне походил на добычу, уходящую от рук настоящего охотника, каковым был догоняющий,— высокий, широкоплечий, кряжистый, силы и выносливости неисчерпаемой.

Со стороны бы взглянуть, погоня на погоню едва ли походила, потому что в походке убегающего во всех его движениях, даже в ритмическом хлопанье камусов по снегу сквозила озорная уверенность в том, что он уйдет; догоняющий так же был уверен, что догонит, потому что был таежником в том возрасте, когда еще не имел случая узнать предела своих сил, и они ему казались беспредельными. «Беги, беги! — бормотал догоняющий. — Далеко не убежишь, сучок трухлявый!» — «Давай, давай! — хихикал убегавший, озорно оглядываясь. — Ловил рогатый косого, да окосел от натуги!»

Однако при всем том одному из них во что бы то ни стало нужно было уйти, а другой, хоть сто верст бежать, решил догнать, потому что второй такой случай не скоро представится.

Два сезона подряд делал набеги Андриан Селиванов на участок егеря Ивана Рябинина и вот наткнулся-таки на хозяина. Два сезона выслеживал егерь ловкого браконьера и хулигана и подловил, наконец, с поличным. Это «поличное» лежало в вещмешке, что мелькал теперь перед глазами егеря то в пятидесяти, то в ста шагах, а один раз — так и рукой схватиться... да переломил Селиванов ветку и кинул на лыжню.

Селиванов бежал по целине, егерь — по его следу, но преимущества в том не было: рыхлый снег заваливал лыжню с краев и не давал скольжения.

Селиванов к тому же путь выбирал по мелкому березняку, где сам шел вполунаклон, как мышь проскальзывая под ветвями.

Рябинин прикладом и стволом карабина расчищал путь, не всегда, однако, успевая увернуться лицом от хлесткой пружинистой ветки, а если и боль при том не ощущал, то все же терял в скорости, наверстывая упущенное на чистом склоне и на твердом насте.

Селиванов надеялся оторваться от егеря в березняке на последнем спуске и уйти в деревню, где по неписаным законам кончалась власть егеря и его права на человека тайги.

Рябинин же, догадываясь о намерениях браконьера, доставившего ему столько хлопот за два сезона, уверен был, что нагонит его в поле перед деревней, и обязан был это сделать, потому что хотя и был его закон главнее закона деревни, и мог бы он запросто взять Селиванова с поличным в его собственном доме, и никто не посмел бы помешать ему, и даже на вражду, что возникла бы следствием этого со стороны мала и велика, наплевать бы мог, — да не в том было дело. Взять Селиванова до деревни и привести его туда за шиворот и, может быть, даже отпустить, ткнув раз-другой мордой в снег — он должен смочь, иначе какой ему почет в его деле? Была еще одна причина особой злости егеря. Селиванов пакостил не везде на участках, а именно в его личных, егерских, владениях. На своих солонцах обнаруживал Рябинин следы Селиванова, в его, егерской, избушке-зимовье внаглую разделал Селиванов запрещенного к отстрелу изюбря и даже следы не замел и не прибрал за собой — точно фигу под нос сунул. Мощные рябининские кулаки давно чесались на Селиванова.

Друг от друга на сотню шагов преодолели они последний небольшой подъем, после чего через километра полтора должен был начаться спуск по березняку, и Селиванов пошел на отрыв. Отмахиваясь прикладом еще отцовского «зауэра» от веток, пригнувшись в пояс, выбирая самые густые заросли березняка, не оглядываясь, весь собранный для рывка, он, как казалось ему самому, головой шел впереди своих камусов. Спуск начался круто. И он пошел вниз петлями, зигзагами, круто заворачивая повороты и пригибая за собой при случае ветки, чтобы егерь на скольжении вылетал из лыжни. Когда же спуск на время прервался небольшой лощинкой, он, оглянувшись, довольно крякнул: егерь отстал.

Но тут, в этой лощине с метровыми сугробами и в два обхвата поднебесными соснами, судьба сыграла с ним худую шутку. Именно так, потому что сам он никакой ошибки не допустил, сугробовые ловушки обходил верно и завал этот проклятый обогнул в двух метрах, не менее. Но кто мог знать, что какая-то палая ветка свалилась с сосны по слабому зимнему ветру и, присыпанная снегом, залегла бичевой-ловушкой внутри наста. Одна нога зацепилась, другая по инерции прошла верхом, и Селиванов, словно в петлю попав, завалился носом в сугроб. Пока поднимался — время, пока отряхивался — время! А попробуй протащить камус назад против шерсти! И егерь уже рядом, хотя и не виден в березняке, только треск веток да шорох по снегу.

В конце концов мог Селиванов успеть: снять вещмешок и закинуть проклятую шкуру в снег или затоптать и отбежать от этого места метров на сто — двести, пока настиг бы его егерь. Но Селиванов сызмальства боялся побоев. В тайге не боялся ни медведя, ни рыси, ни ночи, ни непогоды. Но отцовские побои, но кулаки парней-односельчан и даже случайная зуботычина по пьянке переносились им как болезнь и тела и души. Даже на чужую драку не мог он смотреть без страха и трепета. Может, оттого сторонился людей, может, оттого стала ему тайга милым домом, где пропадал он и лето и зиму.

А сейчас, представив себя один на один с этим кабаном-егерем, который еще мальчишкой один вытащил из болота корову за рога, Селиванов задергался, заметался и, высвободив, наконец, ногу из плена, кинулся к толстущей сосне.

— Не подходи! — закричал он визгливо, когда Рябинин вывернулся в лощину с последнего поворота. — Не подходи! Шлепну!

— Я тебе! — попридержав дыханне, с угрожающим спокойствием, но громко ответил егерь, и от такого его голоса у Селиванова подогнулись ноги.

— Шлепну!! — крикнул он надсадно и нажал спуск «зауэра», не целясь и не успев даже прижать приклад к плечу. Отдача кинула его за сосну, и он чуть было не потерял равновесия, а когда выглянул, увидел егеря, барахтающегося в снегу.

— Таки шлепнул! — изумленно прошептал он, готовый шагнуть вперед, но из-за сугроба темным зрачком глянуло на него дуло егеревского карабина. Отшатнувшись за сосну снова, он не столько вздрогнул от выстрела, сколько от того, как взрогнула громадина-сосна, получив пулю в свой промерзший ствол. Он выглянул с другой стороны, и на этот раз пуля, зацепив по краю щепу, осколками хлестнула его по лицу. Он лихорадочно соображал: стрелял в егеря из левого ствола, стало быть, картечью... не целился, значит, если зацепил, то не более одной или двумя картечинами, а может быть, не зацепил вовсе, и тот просто залег, хотя и не похоже на него.

— Эй! — крикнул он, не высовываясь.

Ответом снова был выстрел, но на этот раз сосна не дрогнула.

— Да погоди ты пулять-то! — крикнул он громче, пригнулся к самому снегу, снял шапку и выглянул одним глазом.

Рябинин пытался подняться, одной рукой держа винтовку наготове, но вскрикнул и снова упал в снег, провалившись так глубоко в сугроб, что ствол винтовки уперся в небо.

— Зацепил! — прошептал Селиванов, еще никак не относясь к этому факту и лишь собираясь обдумать его. Барахтающийся в сугробе егерь походил на медведя, вылезающего из берлоги, и Селиванову снова стало страшно: он вскинул ружье на руки, но тут же шмыгнул за сосну — дуло выравнивалось, и над сугробом появилась голова Рябинина; даже его лицо, перекошенное то ли от злобы, то ли от боли, успел рассмотреть Селиванов.

— Эй, слышь, поговорим! — крикнул он просяще.

— Я те поговорю, гад! — прорычал в ответ Рябинин и выстрелил.

— Чего без толку патроны переводишь? Куды я тебе зацепил-то?

Рябинин молчал, левой рукой пытаясь дотянуться до бедра, в котором где-то застряла (или прошила насквозь) селивановская картечина. Будто спица проткнула ногу и торчала из нее, не позволяя подняться на камусы, ушедшие в снег на всю глубину сугроба.

— Слышь, давай поговорим! — крикнул снова Селиванов. — Куды зацепил-то? Ну чо молчишь! Не убиец же я! С испугу шлепнул!

— Высунешься, и я тебя шлепну! — глухо ответил егерь.

— Встать-то не можешь, что ли? — спросил Селиванов, стараясь придать голосу сочувствие, но поскольку говорить приходилось громко, вопрос прозвучал издевкой.

— И ты не уйдешь! — зло ответил Рябинин, дотянувшись, наконец, рукой до раны и ощутив кровь.

— Мне-то чего не уйти! — кричал Селиванов. — Так и уйду за сосной!

Сообразив, что, прикрываясь сосной, Селиванов действительно может уйти, егерь от отчаяния выстрелил два раза подряд и заворочался, доставая из подсумка другую обойму. Но Селиванов считал его выстрелы, и не успели щепки упасть на снег, как он выскочил из-за сосны и бросился к Рябинину. Уже держал егерь обойму в руке, уже опростать успел патронник, но Селиванов опередил. Когда винтовка вырвана была из рук, Рябинин, дернувшись всем телом, вскрикнул и перекосился.

— Гад! — прошептал он, глядя на сидящего в двух шагах от него Селиванова.

— Ежели ты помирать хочешь, твое дело, — спокойно, чувствуя себя, наконец, хозяином положения, — говорил Селиванов. — Если не хочешь, давай уговор делать! И не ерепенься попусту! Не хотел я тебя убивать! Да ведь если бы ты догнал меня, все зубы по снегу раскидал! Не так, что ли?

— Чего хочешь? — зло спросил Рябинин.

— Ногу зацепил?

— Чего хочешь? — повторил егерь.

— Чего? Перевязываю тебе ногу, тащу до дома, лечу — как на собаке заживет! А ты мне зла не делаешь.

— Ты меня — картечью, а я тебе зла не делать.

— Оба жить будем, — пожал плечами Селиванов и добавил неуверенно. — Ну, если скажешь еще чего сделать... деньжата у меня найдутся... или чего другого...

Взглянул исподлобья на Рябинина.

— Хошь, служить тебе буду, чем хошь...

— Режь гачу!

Селиванов вскинулся, сбросил с ног камусы, проваливаясь выше колен, подошел к егерю, снял у него со спины вещмешок, растоптал вокруг снег, перевернул его на спину и осторожно ощупал ноги.

— Тут?

Рябинин поморщился.

— Ляжку прошило? А встать-то почему не можешь? Должон встать! — рассуждал Селиванов, деловито и осторожно вспарывая штанину ножом и косясь на красное пятно на снегу. Картечина прошила ляжку наискось и вышла сбоку рваной раной. Рябинин хотел было приподняться и взглянуть на рану, но Селиванов не позволил, легким толчком откинув его на спину.

— У, гад! — еле сдерживая злобу, прошептал егерь, отворачиваясь от Селиванова.

— Ладно, ругайся! — пробубнил тот, разрывая какую-то тряпку повдоль и подкладывая ее снизу на выходную рану. — Оно, конечно, ничего доброго — шлепать своего мужика, да говорю ж, с испугу! Эвон, сравни-ка свой кулак с моим! Тузить бы начал, так печенку отбил бы, кровью, чай, харкал бы! А я тебе сейчас смоляну приложу и дырки после не сыщешь... Через неделю козлом прыгать будешь! Терпи, затягивать буду!

Ни на слова его, ни на действия егерь и ухом не повел.

— Рукавицы дай! — буркнул он. — Руки замерзли! Селиванов хотел было подать рукавицы, что валялись на снегу, но, выщупав их сырость, подал свои. Тот попытался натянуть их.

— Мне твои наперстки знаешь на что натягивать! — и откинул их в сторону, дыша на пальцы.

Селиванов достал из своего вещмешка соболиную шкурку, распрямляя, сломал ее в нескольких местах; делал это с подчеркнутой небрежностью: дескать, плевать он хотел на шкурку. Выгнул ее на обе руки егеря, потом снял с него шапку, стряс снег, надел снова, плотнее прикрыв уши.

— Хоть ты и здоров как кабан, а слабак! — говорил он при этом. — Дырка-то у тебя пустяковая, я б с такой дыркой со следа не сошел! А ты вот валяешься, как колода...

Договорить не успел. Егерь схватил его за полу шубы, одной рукой подтянул, другой перехватил за шиворот, молча дважды ткнул лицом в снег по самый затылок и отшвырнул от себя. Отряхиваясь и отплевываясь, притворно кашляя и чихая, Селиванов отполз подальше и только тогда жалобно и обидчиво заохал:

— А уговор-то как? Тут мордой об снег, а домой притащу — мордой об забор, да?!

Рябинин пытался встать, но что-то в ноге было основательно нарушено, она не слушалась. Зло выругавшись, он снова упал на спину.

— Ну так чего? Будешь драться али нет? — сердито спросил Селиванов.

— Хватит с тебя! Костер пали, замерз я!

— Вот так-то лучше! — закивал довольно Селиванов.

Вытоптав еще полянку в метре от Рябинина, начал набрасывать ветки и щепу, и скоро на этом месте заработал небольшой костер. Егерь потянулся к нему.

— Жилу ты мне попортил какую-то, гад! Не дай Бог, хромать буду!

— Не будешь, — махнул рукой Селиванов. — Сейчас свяжу волокушу и поедем до дому. Корнем тебя поить буду. У тебя-то поди, такого корешка нету. А ведь ты супротив меня как охотник — хе! Смех! Вот бы мне егерем быть, уж я б мужичкам закон показал! Я сызмальства в тайге, я такое про тайгу знаю, чего ты и не слыхивал и не нюхал.

— Трепло! — уже без злобы ответил Рябинин.

— Ишь ты! — обиделся Селиванов. — А кто два сезона соболя у тебя из-под носа таскал?

— Куда шкурки деваешь? Почему не сдаешь, как положено? — хмуро спросил егерь.

— А кем же положено, Ваня? — прикинулся незнающим Селиванов.

— Властью, кем!

— Как твой отец, не знаю, а мой — так он своего отца помнил и деда, и все они тайгой жили, а власти никакой на тайгу не было! Жили и все! А потом — на тебе, власть появилась и говорит: «Мое!» А почему это ее, когда прежде всегда наше было? А на эту власть другой власти нету, чтобы право наше рассудить!

— Власти не признаешь? — покосился Рябинин.

— Я сам по себе, власть сама по себе! — прищуриваясь, ответил Селиванов.

— Ну и что, разбогатеть хочешь?

Селиванов ответил вопросом на вопрос:

— А вот ты чего не женишься? Слышал, в Рябиновке девки на тебя никак хомута не сыщут...

— Не твое дело!

— Во! Значит, не каждому про все знать положено!

— Перетрухал, когда в меня пальнул-то? Человека стрелять — не изюбря, а?

Селиванов хитро и плутовато сощурился.

— Мне, Ваня, людишку шлепнуть — это как палец обо... ть. А вот человека, оно, конечно, убивать страшно! Только я ж не в тебя пальнул, а так, со страху. Картечь вразброс пошла, вот тебя и зацепила. Кулаков твоих я шибко испугался. Знаю ведь, какая лютость у тебя на меня имеется! За того козла, что в твоем зимовье распотрошил, за одно это ты бы мне глаз на сучок надел.

— Точно! — уверенно подтвердил егерь.— Для чего пакостил? Или не знал, что за такие дела полагается?

— Сам не знаю, чего охульничал, — не очень искренне ответил Селиванов. — Ну, я пойду волокушу вязать. Да и время уже позднее. Тебя тащить — не мед будет. Торопиться надо!

Нарубив достаточно двухметровых веток, он выложил их ровно на снегу, посередине и по краям перемотал тонкими березовыми прутьями и обрывками веревки, по бокам пристроил рябининские камусы, приспособил веревку-лямку, использовав для того даже ружейный ремень. Закидал костер снегом и, наконец, подошел к егерю.

— Тронем, Вань! Надень рукавицы, подсохли, поди!

Он опустился на корточки перед Рябининым, и тот, обхватив его за плечи, вместе с ним поднялся на здоровую ногу. Селиванов закряхтел.

— От, и тяжел же ты, не меньше шести пудов! Я вот больше четырех никогда не вытягивал, даже с обжорству...

До волокуши было нормальных два шага, но преодолели они их еле-еле, и, когда Рябинин неуклюже, боком, свалился на волокушу, Селиванов, выпучив глаза, вздохнул облегченно.

Положив рядом с егерем оба ружья и закрепив их, он пристроил под голову Ивану оба вещмешка и, звонко высморкавшись, накинул лямку на грудь. Напрягся, рывком сдвинул волокушу с места, остановился и, довольный, повернулся к егерю.

— Осилю, значит! А будь бы дело летом али на подъем...

Он покачал головой и, согнувшись чуть ли не пополам, двинулся с места. Волокушу тащил вдоль ложбины, в обход березняка, на который вывел егеря в надежде оторваться от него. Теперь березняк был препятствием, по нему не пройти с поклажей, но Селиванов места знал до каждого пня, и вскоре от ложбины вниз открылась не то просека, не то дорога летняя, а теперь — под снегом и без следов. На нее и свернул свой путь Селиванов. Когда же спуск стал крут, скинул лямку с плеча и лишь чуть-чуть подтягивал волокушу, с трудом удерживаясь от скольжения. Волокушу заносило боком, зарывало в снег, несколько раз Рябинин свалился с нее, и тогда Селиванов бесцеремонно, не обращая внимания на ругань егеря, заваливал его катом на прутья и тащил дальше.

Когда спуск кончился и открылось поле, и деревня завиднелась вдали, взмокший Селиванов остановился, скинул шапку, расстегнулся и сел на снег, охая и постанывая. Егерь тоже облегченно посматривал кругом, морщась от боли, стряхивая с лица снег, таявший холодным потом.

— Это что! — хвастливо залепетал Селиванов. — Вот когда я в двадцатом с Чехардака папаню своего волок с простреленными грудями! Вот тогда была работа, я тебе скажу. Две гривы тащил живого, а две — уже мертвого. Нет чтобы взглянуть в глаза — пер как дурак. Ведь слышал же, что он стонать перестал, а все тащил. Молодой был совсем, глупый... Уж как обозлился, что покойника тащу!

— Кто это его? — без особого интереса спросил Рябинин.

— Кого?

— Отца, кого еще!

— Его-то...

Селиванов пошмыгал носом, покосился на егеря.

— Да было такое дело...

— Не хошь, не говори! Тащи давай, а то замерзну.

Деревня Лучиха, где жил (или считалось, что жил) Селиванов, была в десяти километрах — ниже по речке Ледянке — от Рябиновки, стоящей немного в стороне, но не на той же дороге. Дорога же шла в Кедровую и далее — на Байкал и Иркутск. Уходя от егеря, Селиванов, понятное дело, шел на Лучиху, хотя до Рябиновки было ближе. Но не в егерской же деревне было ему искать спасения — там местные мужики, как бы ни были злы на своего егеря, за чужого не заступились бы. И теперь, значит, Селиванов тащил егеря в «свой» дом, купленный Селивановым несколько лет назад. Необжитый, неподновленный, как положено, он лишь числился за Селивановым, зиму и лето живущим в своих потаенных зимовьях.

В кооперативе, где приписан был Селиванов, давно махнули на него рукой, в основном рукой председательской, не отсохшей от щедрости рук селивановских. Подслеповатый, хромой, боящийся тайги, как черт ладана, председатель кооператива был дюже силен в бухгалтерии и особенно по части меха. Он не только понимал мех, но и питал к нему созерцательную любовь, которую Селиванов презирал, но изрядно поощрял по мере возможности и надобности. Надобность же была простая: чтоб жить не мешали, на участок его не совались, чтоб никому не было до него дела. Потому что вся радость жизни Селиванова состояла в том, чтобы жить по своему желанию и прихоти, ходить в тайге лишь по своим следам или, по крайней мере, чтоб никто по его следам не шатался...

Селиванов любил власть и хотел ее, но не над людьми, чьи души путанее самых запутанных троп. Люди непостоянны и ненадежны, с ними нельзя быть спокойным и уверенным, среди них — будь настороже, а то враз обрушится на тебя, что ненужно и хлопотно.

Другое дело — твйга! После лета всегда осень, а зимой — снег, и никак по-другому. Здесь, ежели по тропе идешь, можешь о ней не думать: не подведет, не свернется кольцом, не вывернется петлей, а если уйдет в ручей на одном берегу, на другом непременно появится, да там, где положено. А язык?! Его среди людей держи в зубах, потому что одни и те же слова по-разному поняты могут быть, и вдруг прищурятся глаза, губы сожмутся, и вот — уже опасность. Напрягайтся, чтоб избежать ее: хитри, ловчи, притворяйся, уступай-не уступай, беги или оставайся, а зачем все это?

В тайге же человек всегда только вдвоем: он и тайга; и если язык тайги понятен, он с ней в разговоре — бесконечном и добром.

В тайге Селиванов пьянел от власти, потому что там не было ничего ему не подвластного, и власть эту не нужно было утверждать каждый раз заново, когда возвращаешься: просто приходи и вступай во владение. На зверя у тебя — стволы, на дерево — топор, на шорохи — уши, на даль — глаза, на красоту — радость, а на опасность — умение.

Когда дорога от людей где-то превращалась в тропу, а тропа, сужаясь, становилась тропой одного человека, ее создателя и хозяина, когда лес за человеческим жильем становился тайгой (а переход этот незаметен и необъясним), Селиванов, обычно до того всегда шедший молча, глубоко и радостно вздыхал и произносил: «Дождя б не было!» или «Ничего погодка нонче!» Говорил он это просто так, не вникая в смысл сказанного, но громко и облегченно, словно получал, наконец, право вольного голоса и свободы.

Давно миновало то время, когда огорчали его неудачи на охоте, когда он даже ружье мог кинуть на землю и браниться вслед ускользнувшей добыче. Теперь о том вспоминать было смешно. Теперь если, к примеру, белка прыгнула раньше выстрела и ушла по деревьям, уводя за собой собаку, Селиванов улыбался ей вслед и думал о ней с уважением, даже собаку мог вернуть свистом громким и резким и приказать: «Пусть живет, ищи другую! Мало ли глупых-то!» И если даже ценный и нужный зверь уходил от него, все равно не было в том неудачи, потому что это ведь удача — встретить зверя хитрее себя. И в этом — интерес.

Уважая тайгу, признаваясь себе в этом (он просто не знал слова «любовь»), Селиванов не уважал людей. А суету их, что развели они за пределами тайги, в тесном и шумном мире, презирал даже, полагая, что ему лично повезло родиться тем, кто он есть, и там, где он есть, хоть не повезло ему в теле и в росте. Но и то выходило к лучшему, потому что будь он эвон таким битюгом, как Рябинин, разве удержался бы от соблазна вступать с людьми в спор, не соблазнился бы мощью своих кулаков да голосом зычным? Ведь честолюбие — грешок этакой — разве не знал его за собой?!

Все так! Но вот Рябинин. Когда Селиванов увидел его впервые, сумрачного и крепкого, как кедр-дубняк, он, этот егерь, заинтересовал его сразу. В интересе была странная ревность, близкая к зависти, и это незнакомое и неприятное чувство начало все чаще и чаще гонять Селиванова на участок егеря; оно же заставляло делать маленькие пакости поначалу, а потом толкнуло уже на открытый вызов и соперничество, которое завершилось теперь селивановской картечиной.

Может, будь Селиванов откровеннее с собой, признался бы, что давно жаждет иметь товарища, которому можно многое рассказать и которого интересно послушать. Но к такому товарищу заранее предъявлял множество требований: должен был он обладать такими качествами, которые в одном человеке редки, а может, и вовсе не бывает таких сочетаний: чтоб человек был силен и добр, верен и надежен, умен и не болтлив, чтобы умел быть близким и не надоедал, чтоб нуждаться в нем, но не зависеть, чтобы не опасен был человек для твоего спокойствия — вот что главное.

С отцом, когда тот был жив и они вдвоем шастали по тайге, было стеснительно. Отец был человек жестокий и суровый, душевности между ними не было, власть его тяготила и сковывала жаждущего самостоятельности и свободы, рано осознавшего себя взрослым Андриана, единственного сына своих родителей. Что-то брезгливое и презрительное было в отношении отца к хилому и худосочному сыну; может, потому не слишком переживал Селиванов смерть его (мать умерла еще раньше) и не только не испугался своего одиночества, но напротив, обрадовался ему как обретению свободы и великих прав на тайгу и на жизнь, и на все, что давала жизнь в тайге.

Было двадцать четыре года ему, когда публично осмеяла его рябая девка Настасья, и с тех пор больше никогда не приходила в голову мысль о женитьбе. Как-то так получалось, что каждый раз, если испытывал он мужское томление, бежал в тайгу, и тайга подсовывала ему (точно знала!) такую охотничью загадку, которая выматывала его до полной утраты всех сил, в том числе и мужских; и когда после, уставший и размягченный, засыпал он на нарах в зимовье, баба могла присниться с четырьмя ногами и с рогами изюбра на голове; и он уже никаких иных желаний не имел, как шлепнуть ее из обоих стволов вразнос крупной картечью.

Мудрое и великодушное властвование, которого жаждала его душа, Селиванов осуществлял по отношению к собакам. Их всегда было у него две: кобель и сука. Обученные всем таежным премудростям, приученные ко всякому домашнему пониманию, всегда в меру кормленные и ухоженные,— они были гордостью его и источником побочного заработка. Щенки их ценились в деревнях на несколько шкурок соболей, а заявки на них Селиванов получал на две вязки вперед. Сколько бы щенков ни принесла сука, он оставлял жить не больше пяти, для сбережения славы отбирая самых крепких и здоровых. Время собачьей любви было для него праздником. Когда подходил день вязки, он забирался с собаками в самое дальнее зимовье, по делам не ходил, кормил, кобеля особенно, до отвала заранее заготовленным мясом, а утром того дня, когда все должно было свершиться, ласков к собакам был по-матерински; и все происходило на его глазах, с его одобрения и при его поощрении; когда же уставшие и довольные собаки, тяжело дыша, расстилались у его ног, он гладил их, и хвалил, и ласкал, и приговаривал что-то такое, что только очень любящие люди говорят друг другу, и то редко. Ну, а во время родов собачьих все человечество могло встать вокруг тайги, во сколько рядов получится, и уговаривать его в один голос прийти и царствовать на земле, — он бы и ухом не повел! Так, по крайней мере, он сам говорил себе вслух, сидя на корточках около рожающей суки.

И хотя человечество не вставало вокруг и ни к чему Селиванова не призывало, тем не менее, оно покушалось на таежную тишину, врывалось в нее агонией своей суеты и пустоделицы.

Убили отца. Потом замахнулись на него самого, Андриана Никанорыча Селиванова, но споткнулись. Он постоял за себя. Он выжил, чем не может похвастаться кое-кто другой. И пусть пришлось хитрить, и следы заметать, и прикидываться ихним, и грех свершать тяжкий, а волю себе он все-таки выхитрил и остался как он есть — сам по себе.

Только что говорить: с годами стала нет-нет да заползать в душу тоска. Она-то и свела однажды тропы Селиванова и Рябинина в перехлест и переплет.

Упираясь камусами в снег, тащил он нынче раненого егеря в свой холодный и нежилой дом, и было у него такое чувство, что как плохо ни получилось, все оно к лучшему, и что тащит он к дому не беду, а удачу, почти добычу, о коей мечтал втайне и домечтался. Рану рябининскую Селиванов всерьез не принимал. Что ему, бугаю такому, какая-то дырка в ноге! Но зато повязаны они будут друг с другом словом и тайной.

— Замерз али нет? — крикнул он егерю, обернувшись, но не останавливаясь.

— Тащи!

— Тащу! — радостно взвизгнул Селиванов.

До дома добраться он рассчитывал потемну, так и получилось. На всякий случай сделал крюк за огородами, чтоб не нарваться на людей. Оставив егеря на волокуше, открыл избу, зашел, зажег лампу, а затем уже вернулся за Рябининым и ахнул, увидев того на ногах.

— Отошло никак, — сказал Рябинин, делая пару шагов к крыльцу. Селиванов подскочил на всякий случай поближе, вытянув руки вперед, готовый подхватить.

— А я чего говорил? Пустяковая дырка! С ей плясать можно. Судорога у тебя была! На крыльце-то осторожней, доска сгнила...

Все-таки изрядно припадая на ногу, Рябинин поднялся на крыльцо, прошел сени ощупью. Перешагивая через высокий порог, егерь покачнулся и заскрипел зубами. Сняв с него заснеженную шубу, Селиванов провел его к кровати, усадил, осторожно стянул с раненой ноги валенок. При этом заглядывал ему в глаза и морщился, будто и сам боль испытывал. На руках его осталась кровь.

— Опять пошла. Сейчас мы ее придавим насовсем. Только теперь уж лежи и не вставай!

Раскрыл громадный, в обручах, сундук, что стоял у печки, достал тряпки, разрезал на бинты. Потом разбинтовал ногу, присыпал рану смоляной пылью, забинтовал и завязал распоротую штанину.

В доме было холодно, как на улице. От дыхания пар стелился по избе и белым туманом тянулся к лампе, которая нещадно коптила сквозь нечищенное, надтреснувшее стекло. Набросав на егеря всяких одежд, что нашлись в доме, сам, не раздеваясь даже, принялся за печь, что никак не хотела разгораться, дымила и шипела, но сдалась упорству хозяина и защелкала полусырой березой. Самовар разжегся гораздо быстрее и охотнее, хотя дыму напустил еще больше.

Изба казалась нежилой, да такой и была. Состояла всего из одной большой комнаты, с русской печью посередине, а все прочее — громадная кровать с никелированными спинками и фигурными шишечками на них (не иначе как привезенная из самого Иркутска), стол на граненых ногах, сундук, лавка, две табуретки, комод самодельной и грубой работы и даже самовар — все это осталось от прежних хозяев. Ничего за эти годы не привнес в дом Селиванов, а напротив, отсутствием своим лишил его души, и дом стал вроде не домом, а лишь стенами с потолком и полом да окнами, ставнями закрытыми.

— Как бродяга живешь,— угрюмо сказал Рябинин, осмотревшись вокруг.

— А я и не живу вовсе, — ничуть не обидевшись, ответил Селиванов. — Положено для порядку дом иметь — вот и имею! Говоришь, власть не признаю? Власть не признавать — это что сс...ть против ветру! Хочет она, чтоб я приписан был, так чего ж, это я могу!

— Тайга тайгой, — с сомнением ответил Рябинин, — а дом домом. Дома не эта власть придумала! В тайге насовсем только зверь жить может.

— А я и есть зверь! — захихикал Селиванов, подбрасывая в печку дрова, щурясь от пламени и греясь в нем. — Ты видел когда-нибудь, чтоб медведь медведя насмерть драл? И я не видел. А вот в Рябиновке болтают, что твой батя против своих сыновей воевал. Может, друг друга и положили в землю... Так чего ж про зверя говорить. У него закон есть, и против этого закону зверь — и захоти — пойти не может, потому как само его нутро по этому закону сотворено, а против нутра не попрешь! А у человека что? Он — сам по себе, закон — сам по себе, каждый норовит свой закон установить. По мне, так пусть бы лучше меня промеж зверя прописали.

Рябинин усмехнулся.

— Ты б тогда царем зверей был!

— И то! — охотно согласился Селиванов.

Ухватившись за ржавое кольцо, он рывком открыл подполье, некоторое время всматривался в его темноту, потом, пружиня локтями, спустился и долго шебаршил там и кряхтел. Над полом появилась его рука с бутылью, потом она же — с банкой, по горлу тряпкой перевязанной, потом возник ломоть сала, не менее восьми фунтов весом, и лишь напоследок обозначилось довольно ухмыляющееся лицо Селиванова.

— Жить не живу, но заначку всегда имею!

Когда в доме стало теплей и уютнее, на расставленных у кровати табуретах они трапезничали, согревшиеся и даже разогревшиеся от перестойного самогона; и никто, взглянув на них в эти минуты, не поверил бы, что всего лишь несколько часов назад были они лютыми врагами, палили друг в друга из ружей и кровь одного из них пролилась на белый таежный снег. Правда, Рябинин был хмур, в голосе держался холод, и в глазах, при свете коптившей лампы, нет-нет да вспыхивали гневные огни. Но Селиванов каждый раз беззащитно и простодушно вглядывался в них, и они притухали, уходя вглубь, и холод таял усмешкой. И хоть усмешке и хотелось быть обидной для собеседника, да не получалось таковой, потому что собеседник охотно принимал ее как должное и даже радовался ей, понимая ее как свою победу, как удачу, ибо разве это не удача, не чудо — получить друга через кровь его! Никакой самый тонкий замысел о дружбе с Иваном Рябининым не мог бы получить такой оборот. А теперь у Селиванова была радостная убежденность, что все свершилось: егерь никуда от него не денется, весь принадлежит ему, потому что он хитрее этого молчуна-бугая и не выпустит его, не утолив свой тоски по другу.

От этой уверенности переполнялся Селиванов желанием не просто услужить Рябинину чем-либо, но быть ему рабом и лакеем, стирать исподнее или загонять зверя под его стволы вместо собаки; он просто горел страстью выложиться до последнего вздоха в какой-нибудь баламутной прихоти егеря. Скажи тот ему сбегать на участок и принести снегу с крыши зимовья, чтобы лишь раз языком лизнуть, — побежал бы радостно, помчался, это ему по силам, баловство такое! Но знал Селиванов, что всегда будет иметь верх над егерем. Словно сильного и благородного зверя к дружбе приручал, а сам обручился с силой его и благородством. Сознавая корысть свою, совестью не терзался, потому что готов был оплатить ее всем, что выдал ему Бог по рождению и что выпало ему по удаче.

— Шибко полезным я могу тебе быть, Иван! — говорил он с откровенной хвастливостью.

— Нужна мне твоя польза, как косому грабли! — отвечал Рябинин тем тоном, который потом уж навсегда установился в его голосе по отношению к Селиванову и который тот принимал и даже поощрял, чтоб сохранить в егере уверенность в независимости и превосходстве.

— Э-э-э! Не торопься! Мужики, к примеру, тебя вокруг носу водят. А как я тебе все их подлости покажу, они козлами завоют!

— Ишь ты! — презрительно ухмыльнулся Иван. — Мужиков не любишь! Чем они тебе помешали, что давить их хочешь?

— Мне, Ваня, никто помешать не может! Только презираю я их. Ни смелости в их нету, ни хитрости — покорство одно да ловчение заячье! Им хомут покажи, а они уж и шеи вытягивают, и морды у них сразу лошадиные становятся! А власть нынешняя — как раз по им. Она, власть-то, знает, какой ей можно быть и при каком мужике, где руки в ладошки, а где и пальцы врастопырь!

— Ты кончай про власть! Не твоего ума дело. А что про мужиков, так ты-то чем лучше? Чего бахвалишься?

Они пили чай смородинный и прикусывали сахар, наколотый селивановским ножом. Селиванов еще косился на недопитый самогон, но егерь интересу более не проявлял, и пришлось себя сдерживать. А способен был Селиванов в тот вечер не у одной бутылки донышко засветить и умом не замешкаться. Накопилось у него в жизни много чего, чем похвалиться можно, да опасная та похвальба была бы, а нетерпение шибче, и вот еще б самогончику для пущего разгону.

— Ты, Ваня, карту смотрел, которая всю нынешнюю власть показывает? Нет? А я видел в сельсовете! Таких, как наша тайга, тыщу раз в ряд уложится! Во сколько завоевали! Какие армии вдрызь разбились об эту власть, сам знаешь! — Хитро прищурился Селиванов, словно к прыжку отчаянному готовился. — Н-да... А вот Чехардак, Ваня, всего промеж трех грив размещается, его-то не смогли завоевать..

Он держал кружку с чаем у губ, но не пил, а хитро и многозначительно смотрел на Рябинина.

— Чего?

— Не смогли, говорю, отступились! А ведь, кажись, базу хотели ставить, мужиков понагнали, с пилами и топорами! И что?

— Это ты про банду?

Селиванов просто трясся от нетерпения.

— Не было там банды, Ваня! Банда что есть? Дюжина глупых мужиков-хомутников! Для власти — это орешки! Для власти, Вань, это хлеб с маслом, когда мужики в кучу собираются; кучей-то они еще глупее, власть на кучах собаку съела! Будь она умней, так указ бы издала, чтоб мужики не иначе как по дюжине вместе спали и ели. А вот ежели один да умишком не худ... Это как мелкая рыбешка: в крупный невод как ни заводи — все пусто!

Рябинин в изумлении поднялся на локтях, вся хмурость с лица спала, ногой раненой шевельнул и боли не почувствовал.

— Неужто ты?!

Селиванов сиял.

— Один?!

— Угу, — отвечал Селиванов.

— Ежели не врешь, знаешь, куда тебя надо за такое дело!

В голосе Рябинина было больше изумления и сомнения, чем угрозы, но Селиванов затрепетал, а остановиться уже не мог.

— Ясное дело, куда — к стенке! Только загвоздочка имеется: у власти тоже своя гордость есть. Думаешь, легко ей будет поверить, что такой мужичишка, как я, ей поперек тропы стал? Доказательства захочет! А где они? Сколько там, в канцеляриях, поди, бумаг про то исписали: дескать, банда такая-сякая, да вдруг ты меня за воротник притащишь? А ежели примут твой наговор, так одна власть другую не то что на смех подымет, а и к ответу призовет!

— Врешь ты все, Селиванов! Трепло ты, не может того быть, чтоб один...

Иван рассматривал Селиванова в упор, словно примерял к тем делам, что сотворились на таежном участке — Чехардаке — несколько лет назад и столько разного пересуду вызвали в народе.

А Селиванов закатился мелким смешком.

— Ага, вот и ты верить не хочешь. Завидно тебе! Ведь тремя пальцами из кулака покалечить меня можешь, да вдруг такое! А власти-то, ей, думаешь, легче поверить? Вот если ты еще, кроме меня, полдеревни назовешь да самого себя туда же, вот тогда она всех в землю положит и совестью спокойная будет!

— Неужто ты? — растерянно пробормотал Рябинин.

— Знаешь, если как перед Богом, то, конечно, если ты донос сделаешь, то хоть и не поверят, а изведут меня как бы впрозапас. Только не сделаешь ты доноса, не такой ты человек, а расскажу я тебе все, как на духу, и может, по-другому на это дело посмотришь. Только давай еще хлебанем по маленькой, а?

— После чаю только свинья хлебает! — угрюмо ответил Рябинин.

Селиванов схватил с табурета отгрызенный кусок сала, поднял его перед глазами.

— А чего свинья? Свинья — это сало, по-хохляцки — шпик значит. Так я того, похрюкаю... Хрю... Хрю... Ха... Ха... да хлебану, да свиньей же и закушу!

Пока он хрюкал, наливал, пил, закусывал, кривляясь и гримасничая, Иван глядел на него исподлобья и мучался от того, что никак не мог свои мысли к порядку призвать, к тому же нога затекла...

— Я тебе чайку еще сделаю, — предложил Селиванов, дожевывая сало.

Иван не возражал.

— Если по совести опять же, не решился б я на такое дело, если б не оказия... В папаню моего все это дело клином упирается. — Почесал в затылке. — Ты пей, Ваня, чаи тебе сейчас как лекарство! Это, значит, как было. Стояли мы с батей тогда, в двадцатом, в этой, в Широкой пади. Под осень уже дело было... Батя-то мой и от красных и от белых отмахивался и меня уберег. Пущай, говорил, они бьются промеж собой, а наша правда — третья. Так вот и говорил — третья! Ничего был мужик, ага. В тот день, помню, солонцы мы с ним новые мастерили; только к зимовью вернулись, вдруг собаки — в лай. Чихнуть не успели, а нам в рожи со всех сторон винты! Белые, стало быть! «Кто такие?! — орут. — Партизаны? Красные?» Я — в сопли, батя тоже ростом присел. Требуют, значит, дорогу на Иркутск, к монголам уходить... С Широкой, сам знаешь, любой ручей туда выводит... Чужие, значит, тайги не знают... Батя, когда языком справился, говорит им: «Любой тропой идите — на Иркут придете!» Подходит вдруг такой высокий, с усами, самый главный из них, смотрит на моего отца, как подраненная лосиха, и говорит: «Нам надо за большой порог кратчайшим путем и до темноты. Выведешь... — тут он оглянулся, подозвал мальчишку-офицера, приказал чего-то. — Выведешь, — говорит, — вот это будет твое! Не выведешь — расстреляю!» — Селиванов поднялся, подошел к стене, снял ружье. — Вот это самое ружье и показал бате. У того так глаза и забегали. Через час, — говорит, — за порогом будете, ваше благородие! Главный в меня пальцем ткнул: «Сын? От мобилизации прятал?» Батя ему то да се. Он махнул рукой. «Сын с тобой пойдет! Обманешь — обоих расстреляю». Вывели мы их на порог Березовой падью. Я от страху чуть не помер. Шлепнут, думал, чего им, дело привычное! Ан нет! Пришли. Главный ружье бате в лапы. «Пошел, — говорит, — назад!» Назад шли — пулю в спину ждали... Обошлось! К зимовью пришли потемну. Батя полночи с ружьем этим обнимался. — Селиванов погладил ложе, провел ладонью по стволам. — Барское ружье! Ишь чего, серебро раскидали, баловство! А батя того и обнимался с ним, что знал будто, что попользоваться не придется... Утром только проснулись, за окнами — собаки... И снова нам винты в рожи. Красные, значит. За теми, белыми... Опять же главный батю за грудки, пистолет в зубы. «Где белые?» Батя трясется. «Не знаю», — говорит по глупости мужицкой. А следов-то вокруг! Папироски офицерские... Выволокли нас на свет Божий... Звездачей вдвое больше, чем белых. Главный в кожанке, глаза опухшие, губы синие — как упырь. Батю трясет, ругается... А мне бугай (вроде тебя) руку вывернул наизнанку и тоже чего-то требует. И повели мы их, значит, за белыми той же самой тропой. А белые за порогом заночевать собирались. Я при случае шепнул бате, дескать, постреляют нас первыми, что те, что другие. Батя молчит, а потом шепнул мне тоже кое-что... — Селиванов отнес ружье на место и, уже не спрашивая Ивана, плеснул в кружку самогон. Глаза его блестели, руки тряслись. — На Березовой, знаешь, когда к последнему повороту выходишь, обрыв по леву руку... черемушник там...

Иван кивнул.

— С этого места весь порог просматривается. Они-то ничего не увидели, красные, а мы с батей видим, там они еще. Батя тут меня под локоть, и мы с ним с обрыва и сиганули. Ей-Богу, Ваня, сегодня, когда мой камус за ветку зацепился и я мордой в снег ткнулся, а ты по следу.. Два раза в жизни я такой страх имел... До самого низу батя молча бежал, а когда уже ушли, почитай, батя вдруг как заорет: «Попали, ой, попали!» Я к нему. А он стоит на коленях и орет, и ружье дареное обнимает. Потом упал. Промеж лопаток ему пуля вошла. Вот и пер я тогда его по гривам в обход Березовой пади. Мертвого пер. Нет чтоб остановиться да дых послушать... Дурной был. Аж до Листвяной пади пер, чуешь, сколько! Там у нас с им тоже зимовьюха хреновенькая стояла. Там и похоронил... — Селиванов приумолк, грустноватыми глазами покосился на лампу. — Ни хрена не светит! Все стекло закоптилось. Ну вот. Продал я дом батин... Ну, это не к делу и тебе без интересу. Потом кооператив стали сгонять. А потом решили, значит, базу делать. И нашелся же такой сукин сын, что Чехардак посоветовал! Я бы...

— Сам ты сукин сын! — огрызнулся Рябинин. — Я это дело подсказал. Самое удобное место для базы...

Селиванов выпучил глаза.

— Ты!

— Ну, я! Если дело делать, то Чехардак самое место! И не жалею, что сказал!

— Ты, — снова ахнул Селиванов. — Дело? Да какое, Ваня, дело? Тайгу поганить — это дело?

— Чего обязательно поганить! Нужен в тайге продовольственный запас, чтоб не бегать по сезону за жратвой.

— Эх, Ваня! — покачал головой Селиванов. — На три года ты всего меня моложе, а мозгой — на десять лет...

— Ты зато больно умный!

— А ты глядел, как эта база строилась?

— Не мое дело — глядеть. Ну, был я поначалу, когда место искали...

— Ты вот, Ваня, в Бога-то, поди, не веришь? А я хоть тоже не шибко, но иногда думаю: впрямь Он есть. Если б тогда я знал, что это ты... И перекреститься не грех! — Закатив глаза, Селиванов перекрестился и покачал удрученно головой. — Понагнали мужиков-хомутников. Какие безобразия они учинять принялись — я тебе все рассказывать не буду, чтоб совесть твою не тормошить, потому что я ее, эту совесть, своим грехом погасил с избытком...

— Ты мою совесть не трожь, лучше свою поковыряй, там, поди, черноты, что на головешке!

Рябинин захотел переменить позу, заворочался, Селиванов подскочил к нему, начал пособлять осторожно и толково.

— Затекла нога?

— Есть малость.

Селиванов взбил повыше и положил подушку, стянул с гвоздя свой полушубок, ощупал, не мокрый ли, и тоже сунул Ивану под голову. Тот откинулся на спинку и жестом остановил все еще суетившегося Селиванова. Тот лег на скамью, под голову руки подложил.

— Так вот. Где ты им место указал, там поблизости были у меня самые лучшие козьи загоны... А в версте от того места — зимовье, да такое, что справнее иной избы! Ну, пришли мужики! Был там среди них один губастый с зубами стальными, от ж... до шеи всякой дрянью расписанный... А я, значит, от кооператива будто на ту базу сторожем определился. Я ж на Чехардак с другого конца заходил, со своей деревни Атаманихи. А как дом продал, вообще без дома жил, зимой и летом в тайге. К одной бабке забегал два-три раза в сезон. А когда в Лучихе кооператив согнали и тайгу за ним закрепили, я туда подался, будто вообще человек новый, на Чехардак будто случайно напросился. А на базу, значит, сторожем. Так вот этот, который расписанный и с железом во рту, он меня им жратву варить заставил... Чуть чего — сапогом под зад. Да не в том дело! Вечером костер разжигали, галдели песнями похабными, а потом всех вокруг костра расставлял и велел сс...ть в костер, чтоб погасить, значит! Вань, ты такое безобразие вытерпел бы?! А потом еще чего... Находил дерево, чтоб под ним муравейник был, то дерево велел свалить, залазил на пень и гадил в муравейник и ржал, как муравьи от его дерьма подыхали! А потом решил он, Ваня, учинить надо мной такое, о чем я тебе и рассказывать не могу! Если б это случилось, утром повесился бы! Сбегал я вечером в Березовую падь, поймал там гадюку (они только там и водятся) и подкинул ему, когда он на мху дрых. Она ему в руку, выше локтя, стукнула. К утру подох. Мужики перепугались и вон из тайги. Я было обрадовался, да через два дня все они вернулись, а с ними новый их начальник... И кто, ты думаешь? А вот тот самый, что за главного у красных был, когда мы с батей им тропу показывали. Я, конечно, тогда совсем мальчишкой был, да глаз у того острый. Стал он на меня коситься... И понял я, что уходить надо. А куда ж уходить из своих мест?

После к нему приехали еще какие-то, не мужики уже, а из новой власти, как я понял. С ружьями. Пальба началась вокруг. Били, что на глаз попадает, и все в сторону зимовья моего шастали. Вот тогда, Ваня, и объявил я им войну не на жизнь, а на смерть. — Последнюю фразу Селиванов произнес торжественно, но тут же ехидно ухмыльнулся. — На ихнюю смерть, потому что до моей смерти у них была кишка тонка! И вот теперь, Ваня, я открою тебе свой великий секрет. — Тут Селиванов поднялся со скамьи, подсел ближе к Рябинину, наклонился к нему и заговорил почти полушепотом. — Если стать спиной к тому бараку, что строить начали, то что впереди глаз будет, помнишь?

— Гора вроде...

— Во! А если пойти по траве от той базы на выход, тропа куда сворачивает? Это помнишь?

— Направо, кажись..

Селиванов довольно хихикнул. Рябинина это рассердило, но он не подал виду, интересен был рассказ.

— А если, Ваня, верст пять топать от базы, что по леву руку будет?

Тут Рябинин ответил быстро.

— Ну, скала.

— Память у тебя, Ваня, как золото червоное! Точно, скала! А какая?

— Ну чего пристал! Обыкновенная скала, говори дело!

— Да это же и есть самое дело! Это, Ваня, та самая скала, что против базы гора!

— Чего мелешь-то! — зарычал Рябинин.

Селиванов сиял, как тот бок самовара, что отсвечивал лампой.

— В том-то и хитрость, что тропа от базы направо сворачивает круто, потому как там завал каменный в двух местах, а влево забирает чуть-чуть, то на шаг, а то и менее, зато все пять верст! И получается, что тропа та дает круг и за гору заходит, где она скалой смотрится! Эту тайну мне батя открыл. Когда выйти из тайги надо было налегке, прямым ходом вчетверо короче. Круто шибко, особенно когда на тропу спускаешься с той стороны, зато быстро! Дырка твоя заживет, я тебе этот фокус в натуре покажу! — Селиванов довольно хлопнул по коленкам. — И что же я сделал, Ваня! Батя мой запасливый был, приберег на Гологоре винтовочку с гражданской да пару лент, что вояки крестом по пузу носили. Гологор далековато, но ничего, я сбегал, принес винтовочку, запрятал на вершинке. Около базы себе балаган построил стенкой к горе, чтобы сквозь стенку пролезть можно было тайно. И чего? Ждал! Герои настрелялись, мяса загрузили на лошадей, сам навьючивать помогал. А перед тем, как отбыть им, водой решил напоить их, дружков милых, чтоб жаждой не мучались! Да вот оступился... — Селиванов подмигнул. — Да и угодил в ручей со всей одежкой! Стреляки посмеялись надо мной и в путь тронулись, а наш главный их провожать поехал. Когда ушли, я при всем народе одежу снял свою, по кустам развесил и в одном исподнем в балаган залез, дескать, подремать. Сам через стенку, чащей да на горку. Как на крылышках взлетел, еще и ждать пришлось! Озяб. Гляжу — едут, руки в боки, языками чешут. Приложился я — не близко это было, напрямую шагов сотни полторы, — и как этот герой в кожанке мне грудью показался, я его и шлепнул. Он, Ваня, как мешок с дерьмом с седла вылетел! Я винтовочку в потайное место да вниз! Поцарапался, правда, страх как! Вылез из балагана, поеживаюсь, одежу сырую надеваю, давай мужикам в деле помогать... Через час они вертаются с трудом! Ну и началось. Один начальник страшнее другого приезжает, нюхает, по тайге с помощниками шарятся, а как домой вертаться, я на горку и — шлеп! До самого главного! Потом, помнишь сам, целый отряд заявился, всю тайгу перековыряли, а уходили, я опять главного — шлеп!

Селиванов закатился смехом. Рябинин смотрел на него, как на сумасшедшего, широко раскрытыми глазами.

— Вот только этого последнего я мазанул, руку ему левую оттяпал, он теперь в Слюдянке судьей служит... И чего? Закрыли базу, Ваня! Я будто тоже испугался, перешел будто на Ледянку, а это же рукой подать до Чехардака! А туда носа никто не кажет. Потом, правда, еще ходили отряды, и слышал, поди, слух пустили, будто поймали кого-то... Я их не трогал... Вот она какая, моя история, Ваня, вся как есть! Будешь доносить али как?

Не без волнения задал этот вопрос Селиванов, хотя все еще сиял от радости исповеди.

— Темный ты человек! — угрюмо проговорил Рябинин, но было в его голосе что-то очень похожее на уважение, или, может быть, страх почувствовал он перед мужичишкой, которого час назад сморчком почитал. — По закону надо тебя, конечно, за глотку брать, потому что ты власти враг...

— Нет, Ваня, — заспешил Селиванов. — Это моя тайга, и твоя, и других наша правда — третья промеж их правд. Я к им со своей правдой не лез, против их закону не шел! По их закону что сказано? Все для мужика! А что с того закона мужик имеет!

— Чего это ты за мужиков болеть начал? Сам мечтаешь им на горло наступить, — съязвил Рябинин.

— Ты все мои слова на веру не бери! Зол я на мужиков за хомутность ихнюю! Будь они рылом позлее, так ведь любую власть в свою пользу поправить можно! Разве не так?

— Если всякий будет власть поправлять...

— Не! — замахал руками Селиванов. — Я по тайге иду, по сосняку, положим, гляжу, под сосной березка растет, через лето от ее только прутик сухой. Чего это? А не положено березке в сосняке расти! И нигде это не записано, а само по себе! И ежели живут мужики, так закон меж их сам установляется! Я на твои солонцы идти не моги и все! Это закон! А кто его писал? Никто! А когда он стал? Того и мой дед, поди, не помнил! Ежели ты дом ставишь, то у моего дома дерево валить не будешь, и мысли такой не придет. Это закон! И чтоб его блюсти, звездача с револьвером на брюхе не требуется! А коли закон такой, что ему соблюдаться нет мочи без револьвера, так он всем, кроме револьвера, поперек! Ты, Ваня, думаешь, что я звездачей со скалы шлепал из озорства или по лютости? А коли хошь знать, я каждый раз мозгу до ломоты доводил, чтобы свою правду понять в ясности!

— Убиец ты, вот и вся твоя правда!

На Селиванова, казалось, нападало отчаяние. Он уже не говорил, а кричал. По избе начал бегать. Лавка стояла поперек, и он каждый раз перешагивал через нее, кидаясь от одного угла к другому. Рябинин хмуро уставился в спинку кровати, но при всей нахмуренности на его лице были растерянность и тревога.

— Почему это я убиец? — кричал Селиванов. — А на войне все... — он махнул рукой, — они кого, зайцев убивали? И никто их убийцами не называет! А кто больше всех убил, им власть и почет!

— Дурак! — взревел Иван. — Это ж война!

— Я дурак? — досадно замотал головой Селиванов, словно жалуясь кому-то, кто мог быть за печкой. — А война-то отчего бывает?! Один царь другого в карты надул, а другой ему в отместку соплями камзол измазал! Потом взяли и напустили своих солдат друг на дружку. Солдаты друг другу кишки выпустили! Который царь без солдат остался, тот повинился! И вся война!

— Дурак ты и есть! — подтвердил Рябинин. — В эту войну народ с царем дрался за правду, а ты в тайге прятался!

— Сам ты дурак! — подскочил к нему Селиванов. — Твой отец с твоими братьями воевал! Где написана такая правда, чтоб отцу с сыновьями воевать?!

— Не тронь моих, гад, зашибу!

Рябинин приподнялся, сжав кулаки, готовый вскочить с кровати.

— Зашиби! — кричал, почти визжал Селиванов. Ногой лягнул скамью, чтоб не мешала. Скамья опрокинулась, опрокинула за собой оба табурета. Вдребезги разлетелась бутыль с остатками самогона. Кружки, звеня, покатились по полу. — А за что меня зашибешь-то? За правду? — Селиванов был похож на маленькую собачонку, что нацелилась на быка острыми, мелкими зубами. — Пусть моя правда нечистая! А твоя-то где? В чем твоя правда? Я звездачей со скалы шлепал, так это я им войну объявил за то, что они мою правду обгадили! Я тоже имею право войну объявлять! И каждый имеет право, если жизни нету! Убиец тот, кто жизни лишает, чтоб чужое иметь! А я за свое! А мужики? Что им с той правды, за какую друг другу мозги вышибали!

— Одно знаю, — отступая, сказал Рябинин, — для власти ты враг, и дел с тобой никаких иметь не хочу!

— Во заладил! — в отчаянии развел руками Селиванов. — Не враг я власти! Она мне враг!

Рябинин молча повернулся спиной и больше не сказал ни слова. Селиванов пометался еще по избе и улегся спать, кряхтя и вздыхая.

Утром проснулся засветло. Затопил печь, принес свежей воды из колодца, поставил самовар, прибрал в избе. Все это делал, поглядывая в сторону спящего егеря. Когда тот проснулся и зашевелился, спросил его о ноге. Перевязал, похвалил кровь, что хорошо скрутилась на ранах, напоил Ивана чаем.

Тот долго молчал. Потом его взгляд будто случайно упал на ружье Селиванова, что висело на гвозде у двери.

— Добрая штука! — сказал Рябинин и, кашлянув, громко добавил. — В общем, я ничего про твои дела не слышал!

— Правильно! — радостно подхватил Селиванов. — Мы вчера с тобой самогону перебрали, а с его, дурного, чего язык не намелет! И вся история! Лежи. Пойду собак посмотрю, не брал их нынче, у соседей в стайке уже неделю живут. Отощали, небось!

Вот так это было. Только история была не вся, история еще только начиналась...

150 ЛЕТ ФОТОГРАФИИ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПАВЛА КРИВЦОВА

Братья.

Фото Юрия Садовникова

Дорога.

СТИХИ.
ПЕРЕВОДЫ.

подземные реки

Фото ВИКТОРА ЛАРИНА

КУЗНЕЦОВ Юрий Поликарпович родился в 1941 году на Кубани. Закончил Литературный институт имени А. М. Горького. Первые стихи опубликовал в шестнадцать лет.

Поэзия Юрия Кузнецова вызывает разные чувства у читателей: его стихи либо полностью принимаются, либо с такой же категоричностью отвергаются. Дело здесь в остроте и глубине затрагиваемых поэтом тем и жизненно важных для народа вопросов. Сложность и неоднозначность творчества Ю. Кузнецова объясняются парадоксальным сочетанием в его поэзии ярко выраженного фольклорного начала, традиций русской классики и мироощущения русского модернизма XX века.

Ю. Кузнецов известен также как переводчик поэзии народов СССР, мировой классической поэзии и как автор острых литературно-публицистических статей.

В ближайшее время выходят новые сборники поэта «После вечного боя» («Сов. писатель»), книга переводов «Пересаженные цветы» («Современник») и готовится сборник стихотворений «Грянет в трубу архангел...».

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ

ВАГОН ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ

Шел вагон, словно призрак, отдельно,
И давно никому невдомек,
Как могли его стражи Вильгельма
Пропустить сквозь себя на Восток.

В нем незримые люди молчали,
Предвкушая горящие дни;
Их железные мысли стучали...
Мимо плыли болота и пни.

Вот уже по России он мчался,
Только цели своей не достиг.
Васька-стрелочник спьяну признался,
Что загнал его в дальний тупик.

По путям пулеметы и бомбы,
Вот какой-то матрос подоспел
И сорвал он тяжелые пломбы,
Но в вагоне никто не сидел.

* * *

Хотя страна давно его отпела
На все свои стальные голоса,
Но мать-земля не принимает тело,
А душу отвергают небеса.
Два раза в год душа его томится,
В трибуну превращается гробница.
Самозабвенно движется поток,
Его знамена мимо проплывают.
Стоящим на трибуне невдомек,
Чей прах они ногами попирают.

ЭТАП

Память-вьюга, в глаза не мети.
Мы собьемся с победной дороги!.
Враг народа не может идти
Он упал. Обморожены ноги

Нас все меньше. Пустеет наш мир
Наши ноги как будто не с нами
— Ничего! — хохотнул конвоир —
Бабьи жданки набиты ногами.

Что ж ты, баба! Рожай от земли!
Над тобою знамена полощут.
Кормчий смотрит. И ноги мои
В рай идут через Красную площадь

* * *

Ой ты, горе, луковое горе!
Остановка: здравствуй и прощай!
На разбитом, на глухом просторе
Вон окно мигнуло невзначай.

Я не знаю, может быть, светает...
Ничему не верится во тьме...
Чей-то голос за душу хватает:
— До свиданья! Встретимся в тюрьме.

ЧИСЛО

Троица смотрит прямо
Но Сатана лукав.
«Нет! — говорит близ храма —
Троица — змей-триглав»

Смотрит на землю косо,
Древнюю копит месть
В профиль подряд три носа —
666.

* * *

Любила другого, а стала моей.
В глубокий провал меж прохладных грудей
Я канул навеки.
И снизу объятья твои погребли.
И вышли наружу из лона земли
Подземные реки.

Омойся, родная, подземной водой
Светлеет душа, и навеки другой
Как тень исчезает.
Не бойся на солнце проклятых людей
О том, как я спал меж высоких грудей,
Никто не узнает.

Прости мои грезы и сны о тебе,
Когда я цепляю глазами в толпе
Залетную кралю.
Быть может, судьба посылает мне знак.
И я бормочу, как за морем казак:
— Ой, Галю! Ой, Галю..

* * *

Моя душа была не мной
Когда на ангела глядела.
Но стал он женщиной земной,
Что очень многого хотела.

Я отдал все, что было жаль,
Теперь я больше не опасен
В моих глазах такая даль,
И воздух сердца чист и ясен

АРТЮР РЕМБО (1854—1891)

(Перевод с французского)

ПЬЯНЫЙ КОРАБЛЬ

Проносясь по стремнинам в холодные дали,
Я почуял, что судно досталось рабам.
Капитан и матросы мишенями стали,
Пригвожденными голыми к пестрым столбам

Я плевал на команды, везущие в полночь
Хлопок аглицкий или фламандскую рожь.
Только смолкли на палубе вопли: «на помощь»
Мне открылся простор, где концов не найдешь

Глух и слеп ко всему, словно мозг у ребенка,
От прилива к отливу по шумным волнам
Я понесся! Такая безумная гонка
Не приснится отчаленным полуостровам.

Это сила проснулась, трубящая в трубы!
Так плясал легче пробки я десять ночей
На воде, по преданью качающей трупы;
И забыл о дурацких глазах фонарей.

И, как спелое яблоко кушают дети,
Трюм зеленую воду со свистом всосал;
Смыло винные пятна и рвоту столетий,
Руль и якорь неведомый гнев разбросал

Вот тогда мне открылась морская поэма
Прозябанья светящихся млечно глубин,
Звезд настойка, лазурь — недоступная тема,
О которой утопленник знает — один!

Где внезапно в бреду ослепленного чувства,
В мерных ритмах, в глубоком морском забытьи,
Крепче водки и шире, чем наше искусство,
Бродит горькая, рыжая кипень любви.

Я прошел и прибой, и потоки и знаю,
Как вечерние молнии рвут небеса,
Как взлетает заря голубиною стаей,
И не раз видел больше, чем могут — глаза

В пятнах ужаса низкое солнце смеркалось,
Озаряя лиловые сгустки дождей.
Как герои античных трагедий, металось
Море, вдаль уносящее зыбь лопастей.

Там зеленая ночь и снега ослепленья,
Поцелуй изнутри прозреваемых волн,
Фосфорических брызг голубое кипенье
И неслыханных сил бесполезный разгон.

Я глядел месяцами, как волны морские
Осаждали скалу, словно стадо свиней,
Я не думал, что светлые ноги Марии
Усмирят запаленное рыло морей.

Рвите волосы! столько Флорид я заметил!
Я с глазами пантер перепутал цветы
В человеческих шкурах. Натягивал ветер
Узды радуг и топал на стадо воды.

Видел топи, огромное варево гнили,
В тростниках позабытую сеть, где гниет
Старый Левиафан! И на зеркале штилей
В безобразную пропасть падение вод.

Ледники, перламутровый свет, водопады,
Глубь фиордов, сосущий провал пустоты,
Где кишащие вшами гигантские гады
Наземь валятся, с треском ломая кусты.

Показал бы я детям непуганых рыбок,
Золотых, говорящих на все голоса

Пышной пеной мой путь расцветал на изгибах,
Небывалые ветры несли паруса

Море, жертва луны, ты пассатом затерто.
Как меня услаждали рыданья твои!
Ты вставало с цветами медуз выше борта,
Я стоял на коленях, как дева любви.

Словно остров, качал я случайные ссоры
И помет бледноглазых рассерженных птиц
Так я плыл: за разбитым бортом только море,
Где утопленник задом спускается вниз.

Так обросший ракушками царства седого,
Круто брошенный морем на гребень грозы,
Я — корабль! Но не сыщут каркаса спитого
Мониторы спасенья и лодки Ганзы.

Я — свободный, окутанный дымчатым светом,
Пробивал, словно стену, заоблачный край,
Где сладчайшее блюдо готово поэтам
Сопли бледной лазури и солнца лишаи.

В гальванических отсветах щепкой-рогулей
Я скитался с эскортом несметных коньков.
И в свистящую пропасть дубинки июлей
Купол синего неба сшибали с основ.

Вздрогнув чутко, вдали бегемотовы свадьбы
И тяжелый Мальштрем я на слух узнаю.
Вечный путник пустот — как тоскую! Узнать бы
О Европе с гранитным крестом на краю.

Вижу звездные архипелаги, и снова
Для бродяги открыта бредовая ночь.
В эти ль ночи тоски ты уходишь без слова,
Тьма сияющих птиц, о грядущая Мощь!

Значит, правда, я плакал. Закаты скрежещут,
Луны жаб изрыгают и солнца горчат.
Волны страсти меня с головой накрывают,
Расколись, моя щепка! Пусть кану я в ад!

Что мне воды Европы! Пускай это будет
Просто лужа при свете вечерней звезды,
Где кораблик, как майскую бабочку, пустит
Грустный мальчик, присевший у самой воды.

Я устал, зацелованный брызгами влаги,
За судами по следу бежать столько дней.
Надоело мне видеть надменные флаги.
Не могу больше плыть вдоль понтонных огней.

АДАМ МИЦКЕВИЧ (1798—1855)

(Перевод с польского)

АККЕРМАНСКИЕ СТЕПИ

Мы вышли на простор сухого океана:
Ныряет в зелени повозка, борозда
По нивам и цветам проходит, иногда
Минуя острова багряного бурьяна.

Уже темнеет, ни дороги, ни кургана:
Ищу на небе звезд — не сбиться б со следа
Там блещет облако? Там вспыхнула звезда?
То блещет Днестр, то светит лампа Аккермана.

Как тихо! Задержись! Я слышу перелет
Далеких журавлей; я слышу, как ползет
Незримая змея и стебли трав колышет,
Как бабочка в траве трепещет; настает
Такая тишина, что мог бы я услышать
И зов с Литвы — пошел! Никто не позовет.

ДЖОН КИТС (1795—1821)

(Перевод с английского)

ОСЕНЬ

Пора плодов и пасмурных дождей,
    Ты просишь солнце к сбору быть готовым:
Уже нависли тысячи гроздей
    Над деревенским камышовым кровом,
И яблони в садах отяжелели,
    Ты ветви подпираешь там и тут,
Уже на грядках тыквы пожелтели,
    Уже в лесах орехи затвердели,
Твои цветы в последний раз цветут:
    Сбирают пчелы поздний мед в надежде,
Что лето продолжается, как прежде.

Ты всюду: и на поле, и в селе,
    Амбар и ток тебя берут в работу;
Ты отдыхаешь, сидя на земле,
    Где навевает веялка дремоту;
Проворно косишь маки, а потом
    Горюешь над последними цветками
И дремлешь рядом с брошенным серпом,
    А то с последним золотым снопом
Идешь через ручей, скрипя мостками;
    Хлопочешь по хозяйству и в свой срок
Из спелых яблок выжимаешь сок.

Где песни вешних дней?.. Кто их поет?
    Есть песни у тебя, иные песни.
Когда над полем убранным встает
    Заря и полыхает поднебесье,
То стонут комариные рои
    За ивами речного переката,
Куда их ветры занесли твои,
    Гремит сверчок в унылом забытьи,
И блеют раздобревшие ягнята,
    Свистит овсянки песенка простая,
И ласточки щебечут, отлетая.

КНИГИ ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА

ГРОЗА. Стихи. Краснодар.: Кн. изд., 1966.

ВО МНЕ И РЯДОМ — ДАЛЬ. Стихи и поэма. М., Современник, 1974.

КРАЙ СВЕТА — ЗА ПЕРВЫМ УГЛОМ. Стихи и поэмы. М., Современник, 1976.

ВЫХОДЯ НА ДОРОГУ, ДУША ОГЛЯНУЛАСЬ. Стихотворения и поэмы. М., Мол. гвардия, 1978.

СТИХИ. М., Сов. Россия, 1978.

ОТПУЩУ СВОЮ ДУШУ НА ВОЛЮ. Стихи и поэмы. М., Сов. писатель, 1981.

РУССКИЙ УЗЕЛ. Стихотворения и поэмы. М., Современник, 1983.

НИ РАНО, НИ ПОЗДНО. Стихи и поэмы. М., Мол. гвардия, 1985.

ДУША ВЕРНА НЕВЕДОМЫМ ПРЕДЕЛАМ. Стихотворения и поэмы. М., Современник, 1986.

ЗОЛОТАЯ ГОРА. Стихотворения и поэмы разных лет М., Сов. Россия, 1989.

Фото АНАТОЛИЯ ЛОМОХОВА

ЭТЮД

ВАЛЕНТИН ПИКУЛЬ

ГЕНЕРАЛ-ОТ-ИСТОРИИ

Валентина Саввича Пикуля читателям представлять не надо. Его произведения не залеживаются на прилавках книжных магазинов и библиотечных полках. Его знают и в нашей стране, и за рубежом. Не так давно во французской печати сообщалось, что Валентин Пикуль, как считают многие на Западе, является одним из лучших рассказчиков современности. Здесь, конечно, имелось в виду не то, что он пишет рассказы, а то, как блестяще рассказывает он в своих книгах о прошлом. «Обращение к истории открывает еще одну сторону жизни. Будущее не может иметь опыта, и здесь мы не имеем примеров для подражания. Зато прошлое — богато опытом, и учиться мы можем на примерах прошлого», — говорит писатель. Не все представляют себе, какую громадную работу совершил и совершает писатель-историк, какой огромный труд проделан им за 61 год жизни, из которых почти 40 лет отданы литературе.

1953 год. «Океанский патруль». Роман в 2-х томах. 1961 год. «Баязет». Роман. 1962 год. «Париж на три часа». Маленький роман. 1964 год, 1966 год. «На задворках великой империи». Роман в 3-х книгах. 1968 год. «Из тупика». Роман-хроника. 1970 год. «Реквием каравану PQ-17». Документальный роман. 1971 год. «Пером и шпагой». Роман. 1972 год. «Моонзунд». Роман-хроника. 1974 год. «Слово и дело». Роман-хроника в 2-х томах. 1974 год. «Мальчики с бантиками». Повесть. 1976 год. «Из старой шкатулки». Исторические миниатюры. 1977 год. «Битва железных канцлеров». Роман. 1978 год. «Богатство». Роман. 1979 год. «У последней черты». Роман-хроника. 1981 год. «Три возраста Окини-сан». Сентиментальный роман. 1983 год. «Над бездной». Роман и две повести. 1984 год. «Миниатюры». 1984 год. «Фаворит». Роман-хроника в 2-х томах. 1985 год. «Каждому свое». Роман в 3-х частях. 1985 год. «Крейсера». Роман. 1986 год. «Под шелест знамен». Роман в 3-х частях. 1986 год, 1987 год. «Честь имею». Роман. 1987 год. «Каторга». Роман. 1987 год. «Эхо былого». Миниатюры. 1988 год. «Кровь, слезы и лавры». Миниатюры и роман. Вот перечень созданного Валентином Пикулем. Если все это перевести в авторские листы и машинописные страницы, то цифры будут просто ошеломляющие: 700 листов, или около 17000 страниц.

Исторические миниатюры занимают особое место в творчестве писателя. За каждой из них стоит опять-таки нелегкий труд, кропотливый труд исследователя, нередко длящийся годами.

«Почему я работаю над миниатюрами? — переспрашивает Пикуль. — Думаю, из тактических соображений, как выразился бы человек военный: чтобы перед моими «танками» — романами открылся стратегический простор, я должен разметать миниатюры, и — тогда уже смогу «выйти на Волгу»..

Исторические миниатюры Валентина Пикуля охватывают время с середины XVI века по 70-е годы XX века. Каждая миниатюра — своеобразный маленький роман, в котором раскрываются малоизвестные страницы нашей истории, оживают забытые и полузабытые исторические фигуры. Чтобы создать даже самое небольшое произведение, надо понять и почувствовать ту эпоху, тех людей, необходимо овладеть правдой исторического факта. А уж такого знатока и ценителя исторического факта, как Валентин Пикуль, даже среди профессиональных историков надо еще поискать...

Были у нас генералы-от-инфантерии, от кавалерии, от артиллерии, а вот Сергея Николаевича Шубинского хотелось бы назвать генералом-от-истории. Об этом человеке я вспоминаю каждый раз, когда заходит речь о необходимости общенародного журнала для пропаганды исторических знаний.

……

Шубинские со времен Годунова сами делали историю службою в войсках, но вряд ли задумывались об истории. Незаметные дворяне, они довольствовались чинами прапорщиков или поручиков. Сереже Шубинскому было три года, когда умер отец, мальчика отдали в московский Дворянский институт; здесь его полюбил Петр Миронович Перевлесский, сын дьячка, выбившийся в педагоги.

Сергей Николаевич даже в старости не забыл о нем:

— Он преподнес мне грамматику, как пышный букет цветов, на его уроках даже синтаксис заиграл музыкой, а запятые плясали с точками под литавренный грохот восклицательных знаков. От Петра Мироныча я впервые постиг любовь к живой русской речи, имена Ломоносова, Фонвизина, даже осмеянного в потомстве Тредиаковского стали для меня святы...

Юный Шубинский служил в Москве мелким чиновником, когда грянула Крымская война, и порыв всенародного патриотизма вынес его из опостылевшей канцелярии, а в Гренадерском полку появился новый подпрапорщик. Крымская кампания завершила зловещую диктатуру Николая I, разгул бюрократии и казнокрадства. Было решено обновить проворовавшееся интендантство, призвав молодых грамотных офицеров, которые не потащут сапожную кожу со складов, не стянут из солдатского котла мясной приварок. В число этих честных людей попал и Шубинский, вскоре получивший чин штабс-капитана.

Вспоминая о том времени, он морщился, сознаваясь, что не доверяет бухгалтерии, не любит интендантов:

— Эта публика любого черного кобеля отмоет вам добела. Уж я-то насмотрелся всякой цифровой эквилибристики...

Жизнь в столице была дорогая. Сергей Николаевич жил скудно, приучив себя беречь каждую копеечку. А соблазнов, как назло, было предостаточно, даже голова шла кругом, стоило услышать музыку шантанов на «Минерашках», но билет туда недешев... Когда он, уже маститый старец, восседал в кабинете главного редактора, молодежь выпытывала у него:

— Сергей Николаевич, а как в литературе вы оказались?

— Стыдно сказать, в литературу я проник с черного хода. Был у меня приятель, пописывавший в газеты всякую чепуху на злобу дня. Но все фельетонисты получали бесплатный пропуск в театры и места увеселений. Соблазнительно! Еще как... Приятелю надо было съездить в провинцию, а он боялся, что в редакции его место займут другие. Вот он и говорит: «Пока меня не будет, ты валяй за меня фельетоны, но ставь под ними мое имя, а гонорар, черт с тобой, забирай себе!»

— И вы согласились?

— Конечно. Вернулся мой приятель, и я стал писать уже под своим именем. Тоже фельетоны. А фельетонами тогда называли все — даже очерк о политике Бисмарка считался фельетоном. Но вот беда: никто меня не печатал. А коли тиснут, так потом у кровососов-издателей гонорара не доплачешься. Страшно вспомнить, сколь намучился. Но понадобилось время, чтобы самому понять: беллетрист из меня не получится. Из меня мог выйти только популяризатор русской истории...

Обновление России реформами вызвало небывалый интерес к ее прошлому. Однако цензура издавна держала историю на замке, даже о Николае I писать не разрешали, историки ограничивали себя дифирамбами Петру I и панегириками Екатерине II. Надо было развеять мрак былого над могилами предков, и в историю, как это ни странно, ринулись офицеры: Карнович, Щебальский, Семевский, Хмыров... Шубинский вспоминал: «Слушая их рассказы о вычитанном, я тоже пристрастился к русской истории... преимущественно XVIII века». Тогда же начал собирать библиотеку, ежедневно навещая «толкучие рынки».

— Если бы не эти «толкучки», — рассказывал Шубинский, — никакого историка из меня бы не вышло. Бывало, глянешь на замызганный обрывок старинного альманаха без начала и без конца, а в середине — статья, какой цены нету, и стоит все гроши. Средь всякого хлама попадались уникальные сокровища прошлых столетий, которые ныне днем с огнем ни за какие деньги не купишь. Хмыров желал объять всю историю сразу, Семевский копался в девятнадцатом столетьи, а меня всегда увлекал век осьмнадцатый.

— Почему же именно век «осьмнадцатый»?

— Помилуйте! — отвечал Шубинский. — Да в какое же еще время Россия была столь перенасыщена комедийными и трагическими моментами? То хохочешь над анекдотами о Потемкине, то слезами умываешься над людскими страданиями... Стал я писать исторические очерки. Редакции брали их у меня с большой охотой. ибо наша публика, историей неизбалованна, пугалась мудрости Татищева. Миллера, Шлёцера или Карамзина.

По-разному сложились судьбы друзей. Михаил Иванович Семевский в 1870 году выпустил первый том журнала «Русская Старина», а Михаил Дмитриевич Хмыров, щеголявший в красной рубахе ямщика, собрал уникальную «Хмыровскую коллекцию», которая ныне занимает почетное место в Государственной Исторической библиотеке в Москве. Хмыров не щадил себя. Он спровадил семью в деревню, чтобы жена и дети не голодали заодно с ним, а сам кормился одним студнем. покупая его в дешевой лавчонке, отчего заболел и умер... Возле гроба покойного Шубинский ходил с фуражкой, собирая на похороны историка.

— Занятие прошлым, — сказал он Ефремову, — только пожирает здоровье, но прибыли не дает. Вот лежит на столе наш бедный Миша Хмыров: на студень еще хватало, а на врачей уже не хватило... Подайте, Петр Александрович!

П. А. Ефремов, богатый библиограф и накопитель старинных книг, бросил в фуражку Шубинского полсотни рублей.

— На погребение, — сказал он. — Но кладу еще четыреста для вдовы Миши. а ты зайди ко мне. Поговорить надобно...

Шубинский навестил Ефремова в его доме, больше похожем на книгохранилище. Втайне позавидовал хозяину. Влюбленные в историю, стали они мечтать: хорошо бы иметь журнал для народного познания истории, но чтобы авторы не умирали с голодухи, как Хмыров, а получали бы гонорар.

— Без мецената не обойтись, — вздыхал Шубинский.

— Да, — согласился Ефремов, — найти Сил Силыча, чтобы развязал мошну ради истории, трудноватенько. Петр Иванович Бартенев издает «Русский Архив» в Москве, но дает журнал крохотным тиражом, ибо материал печатает сырой, никак не обработанный, почти архивный. Это, брат ты мой, не для широкого читателя, а лишь на будущего историка. Надо подумать, где сыскать Креза, чтобы восхитился нашей историей!

Сергей Николаевич недавно женился на скромной девушке Катеньке Боровской; детей еще не было, но могли появиться, а жалованья капитана не хватало. Шубинский решил начать с издания старинных мемуаров. Он перевел «Письма леди Рондо», жены английского посла, описавшей свои впечатления при дворе Анны Иоанновны; потом выпустил «Записки графа Миниха», известного фельдмаршала. Издателем стал книготорговец Яков Исаков; выпуском мемуаров Шубинский угодил лишь культурным читателям, но часть тиража осталась догнивать на складах.

— Ну тебя к черту с лэди Рондо и с графом Минихом! — говорил Исаков. — С ихних записок не разбогатеешь, а свои зубы на полке оставишь... Не порти мне настроения!

Сергей Николаевич тяжело переживал наудачу.

— Как же так, Катенька! — говорил он жене. — Я издал ценные вещи, без которых не обойтись историкам, но читатель наш, очевидно, еще не дорос до серьезного чтения...

Настроение ему исправил Ефремов, сообщивший:

— Помнишь наш разговор после похорон Миши? Так вот, я, кажется, нашел чудака, готового субсидировать журнал.

— Кто он?

— Василий Иванович Грацианский, служит в государственном банке, денег — куры не клюют, недавно от жадности купил типографию, а что печатать в ней еще не придумал...

Грацианский колебался. Но его сомнения развеяли солидные историки — Соловьев, Забелин, Бестужев-Рюмин и Костомаров, убеждавшие не скупиться, ибо в познании былого, как никогда, нуждается вся мыслящая Россия, а поэт-демократ Василий Курочкин подсказал будущему журналу весомое название:

— «Древняя и Новая Россия» — чем плохо? А редактором бы подполковника Шубинского сделать, ибо тернистый путь в прошлое ему освещают генеральские звезды на эполетах.

Грацианский сдался, раскрывая бумажник:

— Разорите вы меня, господа ученые...

Издатель оказался пророком. Шубинский много позже сам говорил, что, еще не выпустив ни одного номера журнала, в его проспекте они наобещали читателю разных чудес:

— И сразу загубили журнал форматом: страницы взяли широкие, чего никто не любит. Вот и получал подписчик ежемесячно громадный блин. На полку его не поставить, а можно лежмя класть. Бумагу же выбрали потолще, в какую хорошо бы селедку заворачивать. А годичная подписка — в тринадцать с полтиной, где взять их? Конечно, любитель истории, да еще семейный, прежде подумает: стоит ли за такие деньги приобщаться к истории? Не лучше ли детям штанишки купить?..

Но, уверенные в успехе, Грацианский с Шубинским решили давать тираж в 3.000 экземпляров (немыслимо много для того времени!). Редакция расположилась на видном месте — в доме возле Пассажа на Невском, и в январе 1875 года вышел первый номер журнала «Древняя и Новая Россия». Но тут заявился секретарь редакции Петя Гильтебрант. почти радостный:

— Подписчиков-то — кот наплакал, едва тысчонка набралась. Так куда прикажете остатки тиража складывать?

— Вали в подвал, — помрачнел Грацианский. Затем он предупредил Шубинского, что у него не водится таких денег, чтобы остатками тиража кормить голодных крыс. — Думаете, коли я служу в банке, так деньги гребу лопатой? Это вам Ефремов нагородил, будто я богатей, а всего-то и было у меня шесть тысяч. Я уже в долги влез, на гравюры потратясь...

Петя Гильтебрант завершил свою жизнь корректором в Синодальной типографии, а тогда он желал свергнуть Шубинского:

— Душа-человек, но какой из него редактор? — не раз внушал он Грацианскому. — Тут не надо бы украшать журнал гравюрами. Лучше бы кромсал ножом по живому мясу, безжалостно сокращая авторов, а так... Разорит он вас, Василий Иваныч!

— Молчи. И сам я не рад, что связался...

Журнальные хлопоты совпали с рождением у Шубинского дочери, а будущее не радовало, и невольно вспоминалось, как ходил вокруг гроба Хмырова с протянутой фуражкой. Спору нет, журнал был задуман прекрасно, но успеха в публике не имел. В чем дело? Издания «Русского Архива» Бартеневым в Москве и «Русской Старины» Семевским в Петербурге уже обрели научный авторитет, их тиражи вполне удовлетворяли запросы русской интеллигенции. Шубинский привлек к журналу лучших историков России, но они совсем не учитывали интересов широкого читателя, а устроили научную дискуссию меж собой по спорным вопросам. Соловьев или Бестужев-Рюмин писали добротно, однако их сухие статьи напоминали гигантские глыбы сырого исторического материала, над которыми Шубинский тщетно работал, как скульптор над грудой мрамора. Целиком преподносить читателю — не станет читать. отколешь кусок — обидятся авторы. Жене он говорил:

— Наши профессора истории пишут для профессоров истории, но даже ты, душечка, разве не зеваешь от скуки?

— Зеваю, — соглашалась жена...

Грацианский выворачивал перед Шубинским пустой бумажник:

— Вы-то, Сергей Николаич, при своих эполетах останетесь, а я по вашей милости скоро на паперти стоять буду...

Разорившись на истории, Грацианский страшился новых затрат, позволив Шубинскому вести переговоры с петербургскими издателями, чтобы купили прогоревший журнал «на корню», включая и те остатки тиража, что свалены в подвалах.

— Поговорите с Гоппе или Вольфом, Базуновым или Глазуновым. Может, кто-либо согласится купить мое дело?

...Я снимаю с полки своей библиотеки второй том журнала «Древняя и Новая Россия» за 1879 год, и в конце номера читаю такое трагическое объявление:

> «С выпуском сентябрьской книжки сборника «Древняя и Новая Россия» я оставляю редакцию этого издания и не принимаю в нем более никакого участия.»
>
> С. Шубинский

……

Между тем — незаметно для самого себя — Сергей Николаевич обрел славу популярного писателя. Его «Исторические очерки и рассказы» были сразу же раскуплены публикой, и скоро потребовалось новое издание. Шубинский размышлял, в чем секрет такого успеха, и понял, что в народе существует большой «исторический голод». Читатель желает знать то, что от него так долго скрывала цензура. Перед женою он был откровенен:

— Историческая литература — особая. Беллетрист может выдумывать что угодно, а я не могу сочинять историю, обязанный придерживаться сути документа. Самобытности таланта ждать от меня не следует, ибо вольно или невольно исторический автор связан по рукам и по ногам точными фактами. Трудно! И то, что было нравственно в прошлом веке, стало безнравственным в нынешнем. «Декамерон» Боккаччо сейчас исключен из гимназических библиотек, как порнография, а в эпоху Петра Первого он был хрестоматией девушек для воспитания в них высокой нравственности. Житейские оценки вещей в истории изменчивы, как и наша чухонская погода... Трудно работать в истории!

Чувствуя себя морально обязанным перед Грацианским, Шубинский пытался продать журнал петербургским издателям, «но, — писал он, — всем этим господам издание исторического журнала не представлялось средством для легкой и скорой наживы...» О своих затруднениях он поделился однажды с Сувориным:

— Алексей Сергеич, вы недавно купили газету «Новое Время», не подскажете ли, кто в столице может купить несчастную «Древнюю и Новую Россию»? Журнал, как вы сами знаете, чисто исторический, без политических тенденции.

Суворин с хитрецою сощурился.

— Я тоже без тенденций, — заявил он, смеясь, — но цензура меня душила, жандармы меня в тюрьму сажали, находя тенденции даже там, где их отродясь не бывало...

Недавно Шубинский опубликовал статью Суворина о пребывании А. С. Пушкина в Михайловском и автора статьи хорошо знал. Суворин обладал кулацкой хваткой в делах, умел хитрить, скрывая свои истинные намерения, а в ту пору он имел прочную славу «либерала», гонимого властями за «народную правду».

— Скажи Грацианскому, что я журнал покупаю.

— Грацианский будет просить за него пять тысяч.

Суворин на эти слова небрежно отмахнулся.

— И не то мы еще теряли, — сказал он...

Грацианский выслушал Шубинского с недоверием, ответив, что Суворин — известный жук, пусть платит еще больше:

— А журнал погубили именно вы, полковник, расточительством на картинки и неумением обращаться с авторами.

Суворин, узнав об этом, сделал вывод, что Грацианский — жулик, решивший заработать на нем, на Суворине.

— Дерьмо собачье! — сочно выговорил он. — Пусть поищет дураков в Крыжополе, только не в русской журналистике...

Суворин поразмыслил, как бы себя не обидеть, и надоумил Шубинского думать о том, чтобы основать в России новый популярно-исторический журнал... без тенденций:

— Скажем, с названием «Исторический Вестник»! Но теперь не дадим его засушить ученым, чтобы они там ковырялись в датах, когда пришли варяги на Русь, а будем давать любой исторический материал, вплоть до романов. По мне, так пусть даже мужики пишут мемуары при свете лучины... А сейчас, полковник, составим для наших чинодралов программу журнала.

Составили. Отослали. Шубинский вскоре получил ответную бумагу из МВД, в которой министр Маков отказывал в издании исторического журнала для широкой публики. «Я провел скверную ночь, — вспомнил Сергей Николаевич, — на другой день, надев мундир, отправился к Макову. Он принял меня довольно-таки любезно, откровенно объяснив причину своего отказа»:

— Видите ли, — сказал Маков, — Суворин желает стать монополистом в столичной печати, а меня уже не раз упрекали за мирволение его кулацким замашкам. В газетной полемике издатели обливают один другого вонючими помоями, а брызги этих помоев пачкают чистоту министерского мундира...

(В скобках замечу, что вскоре после этой беседы Маков застрелился, уличенный во взятках). Шубинский отвечал ему:

— Лев Саввич, нельзя же лишать нашу публику возможности пить нектар из благословенных источников нашей истории.

— Пейте! — кивнул министр. — Я согласен разрешить журнал лично вам, господин полковник, но только не Суворину...

В марте 1881 года «Древняя и Новая Россия» тихо опочила сном праведным (смерть журнала совпала с убийством императора Александра II). А накануне русский читатель получил первый выпуск «Исторического Вестника», издателем которого был назначен Шубинский. Новый журнал отвечал вкусам всех читателей, а не только ученых историков. В самом деле, подле записок Меттерниха умещались мемуары вора и взяточника Геттуна, Завалишин делился воспоминаниями о декабристе Лунине, Костомаров сообщал о самозванном лже-царевиче Симеоне. Журнал украшал рассказ Николая Семеновича Лескова, которого тогда безбожно травили не только слева, но и справа. Но Шубинский уважал этого писателя, платившего ему ответной дружбой, отбивая удары критиков — и левые и правые.

— Сейчас любая бездарность считает своим долгом лягнуть Лескова в печати, а чтение его романов считается «дурным тоном». Но я верю, — убежденно говорил Сергей Николаевич, — что писателю Лескову Россия еще будет ставить памятники!

Сам же Шубинский никогда не применял слово «писатель» к своему имени, скромно почитая себя лишь «популяризатором» истории в народе. Ведая выдачей гонораров, он оценивал свой труд по тем же ставкам, по каким расплачивался и с другими авторами. Шубинский надеялся вскоре получить эполеты генерала, дочь уже подросла. появились новые расходы, но Сергей Николаевич не приписал себе лишнего рубля.

— Говорят, я прижимист. Может, и так. Печатаясь в своем журнале, я получаю ерунду. Уверен, что «Нива» платила бы мне гораздо больше, нежели я выплачиваю сам себе.

Выпросить аванс у Шубинского было нелегко.

— Зачем вам деньги? — спрашивал он автора. — Ведь я недавно выписал вам сто рублей... Куда вы их дели? Небось, по ресторанам шлялись, смотрели, как в «Кафе-де-Флер» канкан отплясывают. Лучше бы вы сидели дома и писали.

— Сергей Николаич, спасите жену от голодной смерти!

— Видел я вашу жену... вчера. Вы ей новое манто справили. Она катила на лихаче, вся обвешанная покупками. Нет, не дам!

Вежливый, но суховатый, он был педантичен в жизни и в работе. Любя семью, домоседом жил в окружении книг. Лишь изредка посещал «холостяцкие» субботы у Лескова, где его прозвали «каптенармусом XVIII века» («Хороший друг и милейший человек», — писал Лесков о Шубинском). Сергей Николаевич бывал частым гостем в доме П. Я. Дашкова, собирателя старинной графики, где обходились без винных возлияний в разумных беседах далеко за полночь. Время тогда было нелегким, когда свободно рыскал зверь, а человек бродил пугливо.

Начиналась полоса мрачной реакции, и тут Суворин воспрянул. Он смело отбросил на титуле журнала «издателя» С. Н. Шубинского, оставив его лишь «редактором». На голову Сергея Николаевича Суворин-издатель извергал непотребную ругань, упреки в расточительности, издевательские насмешки:

— Почему у журнала так мало подписчиков? Я не Грацианский, которого вы без порток пустили по миру побираться. Мне важен ежемесячный доход, а на остальное — плевать.

Шубинский, человек щепетильный, тоже покрикивал:

— Вы с кем говорите? Не забывайте, что я полковник.

— Это еще не генерал, — огрызался Суворин. — И вообще редактор нужен литературе так же, как палач для больницы...

……

«Палач для больницы» — Шубинский это запомнил. Иногда ведь ему тоже приходилось «пытать» и даже «казнить» авторов:

— Напрасно вы утверждаете мнение о ничтожестве и забитости русских в прошлом. Даже иные мужики в век Елизаветы чувствовали себя гораздо свободнее, нежели вы, сидящий передо мною. Если же верить вам, то русское общество состояло из жалких рабов, забитых салтычихами и собакевичами, то как же из такого темного леса вышли Ломоносов и Кулибин, Крылов и Пушкин?

Иным авторам Шубинский с гневом возвращал рукописи:

— Что это у вас — цитата на цитате, а вашего разумения не видать. Я могу напечатать вашу статью, но гонорар за собрание цитат перешлю авторам этих цитат, а не вам...

Весною 1887 годв он стал генерал-майором и сразу подал в отставку, желая посвятить себя целиком истории. Но с мундиром не расставался, дабы своим чином влиять на цензоров и на самого Суворина. Получив отставку из армии, он угрожал издателю отставкой от редакции, что всегда пугало Суворина:

— Да бог с вами, милуша! Я ведь человек не злой, только характер у меня занозистый... Что вы обижаетесь?

Шубинский использовал капиталы Суворина на свой лад, в интересах общества, ради пользы отечества. Так, по его настояниям Суворин раскошелился на издание солидных исторических трудов, выпустив записки княгини Дашковой и Екатерины II, работы Олеария, Герберштейна, Шильдера и многих других. А когдв Суворин завел свой театр, Сергею Николаевичу пришлось побыть научным консультантом в создании декораций и костюмов, чтобы не пострадала историческая достоверность былого...

Со временем он выработал свое редакторское кредо:

— Исторический журнал не должен гнаться за авторитетами имен, и я охотно напечатаю быль безвестного каторжанина, дурацкие сплетни статс-дамы или безграмотный рассказ старого бурлака, но я выкину из набора в корзину прилизанную, но занудную статью заслуженного профессора.

Лесков иногда жестоко бранил Шубинского:

— Весь в прошлом, да посмотри ты вперед!

— А что впереди? Не знаю, — отвечал Шубинский. — Ведь даже в трамваях публика толпится у задних дверей ради безопасности, случись столкновение. И я жмусь в конце, ибо прошлое для меня понятнее, нежели твое сомнительное будущее...

Он старел, становясь ворчливым, придирчивым. По-прежнему работал в «своем» веке, отдыхая среди книг, которые бережно холил, не жалея денег на дорогие переплеты. Иногда он уже забывал, что было вчера, зато помнил все, что было в его любимом и неповторимом «осьмнадцатом» столетии.

— Что вы хвалите мою память! — даже с обидой говорил он молодежи. — Я уже сдал. А вот смолоду наизусть шпарил, как стихи, генеалогические таблицы главных родов дворянства. Сам-то я из мелкотравчатых. Зато породнился знатно: мой братец в Москве женат на гениальной актрисе Ермоловой...

Сам старел и друзья старели. Лесков удалялся от его журнала, критикуя Шубинского за его «направление»:

— Его направление — это отсутствие направления. Валит все в кучу, лишь бы угодить и дворникам и фрейлинам сразу...

А сам Шубинский жаловался на Лескова:

— Пошел бы к Николаю Семеновичу, чтобы совместно съесть «тельца упитанного», — но... боюсь. Опять разбранит меня.

— За что разбранит, Сергей Николаевич?

— Ни за что. Я тут поместил рассказ о героизме русского офицера, так Лесков учинил мне выговор. Сказал, что выдрал бы этого героя-офицера, а заодно и меня — генерала... Чем я виноват? Не пойму. Существует же государство, значит, надобно афишировать в народе патриотизм...

Кто тут прав — сказать трудно. Но долгое общение с Сувориным, наверное, отложилось и на эмоциях Шубинского. Он утвердился в мысли, что «тенденция» его журнала правильная:

— Мещанство читает «Ниву», а интеллигенция читает «Исторический Вестник». Все журналы держатся не идеями, а количеством подписчиков. У меня в типографии все рабочие сыты, а мои авторы пятаки не считают. Но черт меня дернул дожить до XX века, когда всей душой я остался в веке осьмнадцатом!

С 1900 года Шубинский начал болеть, быстро уставая; врачи предупреждали Екатерину Николаевну, что кончины можно ожидать в любую ночь, но утром Шубинский бодро вставал с постели:

— Ах, душечка! Как жаль, что в осьмнадцатом веке много такого, что никак нельзя напечатать.

— Ты думаешь, что цензура не пропустит?

— Да нет... я сам не пропущу, ибо там творились такие немыслимые безобразия, такое свинство, что самому страшно. Лучше уж будет унести все это в могилу!

XX век заполнил Россию множеством журналов, все писали, а кто не умел писать, тот устраивался в редакциях, чтобы учить писателей. Шубинского это даже смешило:

— Скоро на каждого пишущего повесят по два-три редактора. Палачей литературы развелось больше комаров на болоте...

Сам же он, старея, взял себе в помощники молодого историка Павла Елисеевича Щеголева, которого из пропасти давних веков тянуло к декабристам, к Пушкину, к революции.

— Знаете, почему я взял вас к себе в редакцию?

— Интересно знать — почему.

— Вижу в вас новое направление, идущее на смену нам, старикам-генералам. Я вытащил вас прямо из ссылки, куда вас упрятали за всякие тенденции. Верю, что из вас получится большой историк. Только не спешите. Молодые писатели пишут быстро, чтобы скорее получить гонорар, а старики тоже торопятся, боясь умереть. Но от гонорара тоже не отказываются...

Скоро Щеголев покинул его, став редактором революционного журнала «Былое», за что и сел в Петропавловскую крепость.

— Ах, Пашенька! — пожалел его Шубинский. — Не послушался ты меня, старика... Разве твое радикальное «Былое» соберет подписчиков больше, нежели мой «Исторический Вестник»?..

Почуяв близость смерти, Шубинский созвал сотрудников:

— Дамы и господа! — объявил он. — Вы бы сочинили некролог при моей жизни... Понятно, что каждому человеку приятно прочитать, как его хвалят. Заодно я бы подредактировал свой некролог, а вам бы заранее гонорар выплатил...

Сергей Николаевич Шубинский, генерал русской истории, скончался 28 мая 1913 года, говоря как бы в бреду:

— Странное положение! Чувствую, меня тянет к столу работать, но сам понимаю, что уже не могу...

До кладбища его провожала толпа писателей, имена которых остались для нас памятны или забыты, шли рабочие типографии с семьями, потерявшие своего «кормильца», среди пишущей братии шагали солдаты и офицеры лейб-гвардии Гренадерского полка, в котором Сергей Николаевич начинал свою службу.

Прохожие спрашивали — кого хоронят?

— Историка, — отвечали писатели.

— Генерала, — отвечали военные.

……

Когда я писал роман «Каждому свое» о генерале Моро, друзья из Франции, желая помочь мне, прислали книгу о нем Эрнеста Дода, вышедшую в Париже в 1909 году. Я поблагодарил за этот дар, но мне, поверьте, даже не пришлось переводить ее на русский язык, ибо в том же 1909 году она была опубликована Шубинским в его «Историческом Вестнике». Так оперативно-быстро работала в те времена наша историческая периодика, извещая читателей о лучших новинках в Европе...

К чему я все это рассказывал? И почему я вдруг вспомнил Шубинского? В нашей стране есть добротный журнал «Вопросы истории», но он издается в академическом плане, полезный, скорее, для тех же историков. Есть отличный «Военно-исторический журнал», но он рассчитан больше для офицерского чтения.

А как же быть рядовому массовому читателю, который, не имея академической или военной подготовки, желает познавать неизвестные страницы прошлого нашего государства? Вопрос об этом назрел давно. И не сегодня, и не вчера возникла громадная нужда в таком историческом журнале. Пусть это не будет «Исторический Вестник» Шубинского, а все-таки пусть это будет настоящий исторический вестник для всех нас.

И пусть в этом журнале публикуют не только популярно написанные работы ученых, но и находки краеведов, записки бывалых людей, ветеранов войны и труда, наконец, я думаю, что мемуары безвестной домохозяйки о том, как она кормила семью в голодные годы, такие мемуары тоже достойны внимания.

Не будем уповать на издание лишь солидных монографий!

Фейхтвангер говорил, что охотно отдал бы всего Фукидида с его многотомной историей Пелопоннесской войны за одну лишь страничку записок галерного раба, прикованного к веслу, и эта страница может быть полезнее прославленного Фукидида...

ПАМЯТИ
ДРУГА

Если Есенин был убит, то как мог Клюев поверить в самоубийство и, отпевая его в погребальном «Плаче...», думать о том, что поэт кого-то «сполохался-спужался» и «во темную могилушку собрался»? Как мог он, носитель народного мироощущения и интеллекта, глубоко чувствовавший и понимавший человека, все живое, учитель и друг Есенина, «лепивший» его «душеньку, как гнездо касатка», столько лет его знавший и любивший, не провидеть истину? Ведь создавался «Плач...» сразу после гибели поэта, и первая его часть была опубликована день в день в первую скорбную эту годовщину.

У Клюева был свой образ Есенина. «Олонецкому ведуну» виделся он «дитятком», чистым сельским «отроком», которому суждено стать жертвой города — чуждого, враждебного ему мира. И, возможно, это предчувствие год от года становилось явственнее: «годочки пошли слезовы», было понятно, что поэзия народа — мощная духовная сила, очищающая, несущая свет и правду, не только не была нужна власть имущим («Куда ни стучался пастух — повсюду урчание брюх»), — для содержателей «поджарых газет» она становилась опасной («А стая поджарых газет скулила: кулацкий поэт;»). И — вот оно чудо, провидение истинной, высокой поэзии! — вольно или невольно, случайно или нет — Клюев задает в «Плаче...» тот самый вопрос, который задает себе всякий поэт, скорбящий о смерти Есенина:

О жертве вечерней иль новом Иуде
Шумит молочай у дорожных канав!
Иуда предал Христа, кто предал и погубил Есенина!

Сергей Есенин и Николай Клюев. 1916.

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ

ПЛАЧ О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ

Младая память моя железом погибнет,
и тонкое мое тело увядает...
Плач Василька, князя Ростовского

Мы свое отбаяли до срока —
Журавли, застигнутые вьюгой.
Нам в отчет на родине далекой
Снежный бор звенит своей кольчугой.

Помяни, чертушко, Есенина
Кутьей из углей да из омылок банных!
А в моей квашне пьяно вспенена
Опара для свадеб да игрищ багряных.

А у меня изба новая —
Полати с подзором, божница неугасимая,
Намел из подлавочья ярого слова я
Тебе, мой совенок, птаха моя любимая!

Пришел ты из Рязани платочком бухарским
Нестираным, неполосканым, немыленым.
Звал мою пазуху улусом татарским,
Зубы табунами, а бороду филином!

Лепил я твою душеньку, как гнездо касатка,
Слюной крепил мысли, слова слезинками,
Да погасла зарная свеченька, моя лесная лампадка,
Ушел ты от меня разбойными тропинками!

Кручинушка была деду лесному,
Трепались по урочищам берестяные седины,
Плакал дымом овинник, а прясла солому
Пускали по ветру, как пух лебединый.

*

Из-под кобыльей головы, загиблыми мхами
Протянулась окаянная пьяная стежка,
Следом за твоими лаковыми багмаками
Увязалась поджарая дохлая кошка, —

Ни крестом от нее, ни пестом, ни мукой,
Женился ли, умер — она у глотки,
Вот и острупел ты веселой скукой
В кабацком буруне топить свои лодки!

А все за грехи, за измену зыбке,
Запечным богам Медосту и Власу.
Тошнехонько облик кровавый и глыбкий
Заре вышивать по речному атласу!

*

Рожоное мое дитятко, матюжник милый,
Гробóвая доска — всем грехам покрышка,
Прости ты меня, борова, что кабаньей силой
Не вспоил я тебя до златого излишка!

Златой же удел — быть пчелой жировой,
Блюсти тайники, медовые срубы,
Да обронил ты хазарскую гривну — побратимово слово
Целовать лишь ковригу, солнце да цвет голу́бый.

С тобою бы лечь во честнóй гроб,
Во желты́ пески, да не с веревкой на шее!..
Быль иль не быль то, что у русских троп
Вырастают цветы твоих глаз синее?

Только мне горюну — горынь-трава...
Овдовел я без тебя, как печь без помяльца,
Как без Настеньки горенка, где шелки да канва
Караулят пустые нешитые пяльца!

*

Ты скажи, мое дитятко удатное,
Кого ты сполохался-спужался,
Что во темную могилушку собрался?
Старичища ли с бородою,
Аль гуменной бабы с метлою,
Старухи ли разварухи,
Суковатой ли во играх рюхи?
Знать, того ты сробел до смерти,
Что ноне годочки пошли слезовы,
Красны девушки пошли обманны,
Холосты ребята всё бесстыжи!

*

Отцвела моя белая липа во саду,
Отзвенел соловьиный рассвет над речкой.
Вольготней бы на поклоне в Золотую Орду
Изведать ятагана с ханской насечкой!

Умереть бы тебе, как Михаилу Тверскому,
Опочить по-мужицки — до рук борода!..
Не напрасно по брови родимому дому
Нахлобучили кровлю лихие года.

Неспроста у касаток не лепятся гнезда,
Не играет котенок веселым клубком, —
С воза, сноп-недовязок, в пустые борозды
Ты упал, чтобы грудь испытать колесом.

Вот и хрустнули кости... По желтому жнивью
Бродит песня-вдовица — ненастью сестра...
Счастливее елка, что зимнею синью,
Окутана саваном, ждет топора.

Разумнее лодка, дырявые груди
Целящая корпией тины и трав...
О жертве вечерней иль новом Иуде
Шумит молочай у дорожных канав?

*

Забудет ли пахарь гумно,
Луна — избяное окно,
Медовую кашку пчела,
И белка кладовку дупла?

Разлюбит ли сердце мое
Лесную любовь и жилье,
Когда, словно ландыш в струи,
Гляделся ты в песни мои?

И слушала бабка-Рязань,
В малиновой шапке Кубань,
Как их дорогое дитя
Запело, о небе грустя.

Напрасно Афон и Саров
Текли половодьем из слов,
И ангел улыбок крылом
Кропил над печальным цветком.

Мой ландыш березкой возник, —
Берестяный звонок язык,
Сорокой в зеленых кудрях
Уселись удача и страх.

В те годы московская Русь
Скидала державную гнусь,
И тщетно Иван золотой
Царь-колокол нудил пятой.

Когда же из мглы и цепей
Встал город на страже полей,
Подпаском, с волынкой щегла,
К собрату березка пришла.

На гостью ученый набрел,
Дивился на шитый подол,
Поведал, что пухом Христос
В кунсткамерной банке оброс.

Из всех подворотен шел гам:
Иди, песноликая, к нам!
А стая поджарых газет
Скулила: кулацкий поэт!

Куда ни стучался пастух —
Повсюду урчание брюх,
Всех яростней в огненный мрак
Раскрыл свои двери кабак.

*

На полете летит лебедь белая,
Под крылом несет хризопрас-каме́нь.
Ты скажи, лебедь пречистая,
На пролетах-переметах недосягнутых,
А на тихих всплавах по озерышкам
Ты поглядкой-выглядом не выглядела ль,
Ясным смотром-зором не высмотрела ль,
Не катилась ли жемчужина по чисту полю,
Не плыла ль злат-рыба по тихозаводью,
Не шел ли бережком добрый молодец,
Он не жал ли к сердцу певуна-травы,
Не давался ль на родимую сторонушку?
Отвечала лебедь умная:
На небесных переметах только соколы,
А на тихих всплавах сиг да окуни,
На матерой земле медведь сидит,
Медведь сидит, лапой моется,
Своей суженой дожидается.
А я слышала и я видела:
На реке Неве грозный двор стоит,
Он изба на избе, весь железом крыт,
Поперек дворище — тыща дымников,
А вдоль бежать — коня загнать.
Как на том ли дворе, на большом рундуке,
Под заклятою черной матицей,
Молодой детинушка себя сразил.
Он кидал себе кровь поджильную,
Проливал ее на дубовый пол.
Как на это ли жито багровое
Налетали птицы нечистые —
Чирея. Грызея, Подкожница,
Напоследки же птица-Удавница.
Возлетала Удавна на матицу,
Распрядала крыло пеньковое,
Опускала перище до́ земли.
Обернулось перо удавно́й петлей...
А и стала Удавна петь-напевать,
Зобом горготать, к себе в гости звать:

«На румяной яблоне
Голубочек, —
У серебряна ларца
Сторожочек.
        Кто отворит сторожец,
        Тому яхонтов корец!

На осенней ветице
Яблок виден, —
Здравствуй, сокол-зятюшка —
Муж Снафидин!
        У Снафиды перстеньки —
        На болоте огоньки!

Угоди-ка вежеством,
Сокол, теще,
Чтобы ластить павущек
В белой роще!
        Ты одень на шеюшку
        Золотую денежку!»

Тут слетала я с ясна месяца,
Принимала душу убойную
Что ль под правое, тёпло крылышко.
Обернулась душа в хризопрас-камень,
А несу я потеряшку на родину
Под окошечко материнское.
Прорастет хризопрас березынькой,
Кучерявой, росной, как Сергеюшко.
Сядет матушка под оконницу
С долгой прялицей, с веретенышком,
Со своей ли сиротской работушкой,
Запоет она с ниткой наровне
И тонехонько и тихохонько:

«Ты гусыня белая,
Что сегодня делала?
        Баю-бай, баю-бай,
        Елка, челкой не качай!

Али ткала, али пряла,
Иль гусеныка купала?
        Баю-бай, баю-бай,
        Жучка, попусту не лай!

На гусенышке пушок,
Тега мальчик-кудряшок —
        Баю-бай, баю-бай,
        Спит в шубейке горностай!

Спит березка за окном
Голубым купальским сном —
        Баю-бай, баю-бай,
        Сватал варежки шугай!

Сон березовый пригож,
На Сереженькин похож!
        Баю-бай, баю-бай,
        Как проснется невзначай!»

1926

КНИГИ Н. А. КЛЮЕВА:

Сосен перезвон. — М.: Кн.-во. В. И. Знаменский и К°, 1912.
Братские песни: Кн. 2. — М.: Изд. журн. «Новая земля», 1912.
Братские песни. — М.: Изд. журн. «К новой земле», 1912. — (Б-ка «Новая земля»).
Лесные были. — М.: Изд. журн. «К новой земле», 1912. — (Б-ка «Новая земля»).
Лесные были: Кн. 3. — М.: К. Ф. Некрасов, 1913.
Сосен перезвон. — 2-е изд. — М.: Кн-во К. Ф. Некрасова, 1913.
Мирские думы. — Пг.: Изд. М. В. Аверьянова, 1916.
Медный Кит. — Пг.: Изд. Петрогр. Совета рабочих и красноарм. депутатов, 1919.
Песнослов: Кн. 1. Кн. 2. — Пг.: Лит. изд. отд. Нар. комиссариата по просвещению, 1919.
Избяные песни. — Берлин: Скифы, 1920.
Неувядаемый цвет: Песенник. — Вытегра: Изд. Кружка «Похвала нар. песне и музыке», 1920.
Львиный хлеб. — М.: Наш путь, 1922.
Мать-Суббота. — Пб.: Поляр. звезда, 1922.
Четвертый Рим. — Пб.: Эпоха, 1922.
Ленин. — М.; Пг.: Гос. изд-во, 1924. — То же. — 2-е изд. — Л.: Гос. изд-во, 1924. — (Ленинская б-ка); То же. — 3-е изд. — 1924.
Изба и поле: Избр. стихотворения. — Л.: Прибой, 1928.
Стихотворения и поэмы. — Л.: Сов. писатель, Ленингр. отд-ние, 1977. — (Б-ка поэта. Малая сер.).
Избранное: Стихотворения и поэмы. — М.: Сов. Россия, 1981.
Стихотворения и поэмы. — Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1986. — (Сер. «Рус. Север»).
Завещание: Избранные стихи. — М.: Правда, 1988. — (Б-ка «Огонек»).

Готовятся к печати:

Песнослов. — Петрозаводск: Карелия, 1990).
Стихотворения и поэмы. — Томск: Томское кн. изд-во, (1990).
Новокрестьянские поэты: В 2-х т. Т. 1. Н. Клюев. — Л.: Сов. писатель, Ленингр. отд-ние, (1991). — (Б-ка поэта. Большая сер.).

ВЕРСИЯ

«МЕНЯ ХОТЯТ УБИТЬ»

НАТАЛЬЯ СИДОРИНА

О последних днях жизни Сергея Есенина

Пушкин, Лермонтов, Гумилев, Есенин, Маяковский, Клюев... История их гибели покрыта какой-то мистической тайной, которую разгадывают уже многие поколения. Документы, свидетельства современников, письма, дневники, исследования специалистов — и все равно нет ответа — как! почему! — все кажется приблизительным, неосновательным, неубедительным, противоречивым. Христос воскрес, но его муки, его страдания, история Распятия — может быть главная тайна этого мира, которую разгадывают вот уже две тысячи лет и будут разгадывать и разгадывать... Поэты — наши духовные современники — бессмертны, но мы еще долго будем мучиться их земной мукой.

Гибель Сергея Есенина — великого русского поэта XX столетия — загадочна. Свидетельства современников весьма противоречивы. Одни утверждают, что поэт в последние дни жизни был в глубокой депрессии и все говорило о том, что он близок к самоубийству. Другие пишут, что он был полон духовных, творческих сил, хотел жить и работать. Действительно, подобно Пушкину, Есенин в последний год жизни находился в состоянии необыкновенного творческого взлета. В этот год им были созданы, может быть, лучшие, главные произведения — лирические шедевры, среди которых и поэмы «Анна Снегина» и «Черный человек», и две трети стихотворений из цикла «Персидские мотивы», и такие стихотворения, как «Несказанное, синее, нежное...», «Есть одна хорошая песнь у соловушки», «Синий май. Заревая теплынь», «Я иду долиной. На затылке кепи», «Спит ковыль. Равнина дорогая» и множество других.

Только поэт знает, каким неимоверным трудом, сверхнапряжением всех сил, воли, чувств, духа, мысли дается каждое истинное поэтическое слово, каждая строка, каждый образ. Но он знает и иное — только ему доступное, особое счастье творца, счастье свершения. Поэту трудно и даже невозможно представить себе, понять, что, осознав свою победу, подчинив слово, взойдя на вершину, другим недоступную и вступив в разговор с Богом — можно лишить себя жизни. Может быть, поэтому именно среди поэтов возникло сомнение в том, что Есенин — самоубийца. И не случайно, видимо, поэтесса Наталья Сидорина, которая уже много лет изучает жизнь и творчество Есенина, написала публикуемую статью. Конечно, статья эта — только «заявка», одна из первых попыток подхода к этой труднейшей, трагической теме [см. также статьи Э. Хлысталова «Тайна гостиницы «Англетер», «Москва», 1989, № 7 и Серг. Куняева «Смерть поэта», «Человек и закон», 1989, № 8]. Так или иначе, но вопрос поставлен и он, безусловно, требует дальнейшего обсуждения. Ведь если выяснится, что смерть Сергея Есенина была насильственной — это существенным образом изменит наши представления о многом — и не только в нашей литературе, но и в сегодняшней нашей жизни.

Всем нам нужна правда и только правда.
И надо смелее ее добиваться.

Когда статья уже была подготовлена к печати, стало известно, что при Всесоюзном Есенинском комитете СП СССР создана комиссия по расследованию обстоятельств гибели С. А. Есенина.

Поэты сами предсказывают свою судьбу. Сергей Есенин писал:

И меня по ветряному свею,
По тому ль песку,
Поведут с веревкою на шее
Полюбить тоску.
1915

Есть у поэта и другие строки:

Пойду по белым кудрям дня
Искать убогое жилище.
И друг любимый на меня
Наточит нож за голенище.

Весной и солнцем на лугу
Обвита желтая дорога.
И та, чье имя берегу,
Меня прогонит от порога.

И вновь вернуся в отчий дом,
Чужою радостью утешусь.
В зеленый вечер под окном
На рукаве своем повешусь.
1916

После гибели поэта А. Крученых писал о том, что перед Есениным было два пути: «быть повешенным или повеситься». Как видим, и первый исход представлялся вероятным.

В 1926 году из-под пера А. Крученых, вдохновленного «Злыми заметками» Н. Бухарина, вышли одна за другой книги, названия которых говорят сами за себя: «Лики Есенина от херувима до хулигана», «Чорная тайна Есенина», «На борьбу с хулиганством в литературе» и т. п. Поразительна одна из обложек: изображен череп, в глазницу которого вонзился отточенный штык, в другую — нацелен револьвер.

Долго еще продолжалось поношение поэта — вплоть до наших дней. Стихи Есенина, полные сострадания ко всем живущим на земле, ко всем, не исключая людей «падших», стихи, воссоздающие многоголосье эпохи, до сих пор нередко трактуются искаженно, при этом иногда даже предпринимаются попытки «уличить» поэта в его любви к России («Книжное обозрение», 1988, № 4, «Юность», 1988, № 11 и др.). При некоторых попытках «анализа» жизни и творчества поэта дело доходит и до фантасмагории. Один журналист попытался, образно говоря, поставить памятник Льву Троцкому на могиле поэта на том простом основании, что фамилия «председателя Реввоенсовета Республики» встречается в стихах Есенина, да и сам «трибун революции» с пристальным вниманием относился к Сергею Есенину («Московская правда», 12, 13 ноября 1988).

СИДОРИНА Наталья Кирилловна родилась в Москве, окончила Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза, работала преподавателем, занималась художественным переводом. Автор поэтических книг «Высокая роща», «Корень слова», «Мироколица», составитель и переводчик сборников «Молодые поэты Прибалтики», «Уильям Карлос Уильямс», «Английская поэзия в русских переводах. XX век». Автор ряда статей и эссе о поэзии и культуре. Член Союза писателей СССР.

Где, на каких фресках или полотнах мы уже видели их вдвоем — палач обнимает свою жертву, а после казни произносит прочувственную речь? Притча ли это Набокова «Приглашение на казнь» или наша российская быль, о которой с ужасом поведал Борис Лавренев в некрологе на смерть Сергея Есенина «Казненный дегенератами», где речь идет об имажинистах, которых опекали, как известно, Лев Троцкий и начальник его личной охраны Яков Блюмкин? Вот эти строки, о которых предпочитали не вспоминать более шестидесяти лет: «Есенин был захвачен в прочную мертвую петлю. Никогда не бывший имажинистом, чуждый дегенеративным извертам, он был объявлен вождем школы, родившейся на пороге лупанария и кабака, и на его спасительном плоту всплыли литературные шантажисты, которые не брезговали ничем... Дегенеративные от рождения, нося в себе духовный сифилис, тление городских притонов, они оказались более выносливыми и благополучно существуют до сих пор, а Есенина сегодня уже нет... Я знаю, что перед этой раскрытой могилой будет сказано много сладких слов и будут писаться «дружеские» воспоминания. Я их писать не буду. Мы разошлись с Сергеем в 18 году — слишком разно легли наши дороги. Но я любил этого казненного дегенератами мальчика искренно и болезненно... И мой нравственный долг предписывает мне сказать раз в жизни обнаженную правду и назвать палачей и убийц — палачами и убийцами, черная кровь которых не смоет кровяного пятна на рубашке замученного поэта» (Ленинград, «Красная газета», 30 декабря 1925 г., вечерний выпуск).

И, видимо, неслучайно за день до гибели в гостинице «Интернационал» («Англетер») поэт пел песню, которую чаще всего при переиздании воспоминаний В. Эрлиха «Право на песнь» почему-то опускают. А она-то и передает душевное состояние Есенина в последние часы жизни.

Что-то солнышко не светит,
Над головушкой туман.
То ли пуля в сердце метит,
То ли близок трибунал.
Ах, доля-неволя,
Глухая тюрьма.
Долина, осина,
Могила темна.
На заре каркнет ворона,
Коммунист! взводи курок!
В час последний похоронят,
Укокошат под шумок.
Ах, доля-неволя,
Глухая тюрьма.
Долина, осина,
Могила темна.

Вот отчего, как вспоминает Эрлих, «разговоры были одни и те же: квартира, журнал, смерть». Оставалась слабая надежда вырваться из плотно сжимающегося кольца тьмы.

«Господи! Я тебе в сотый раз говорю, что меня хотят убить! Я как зверь чувствую это!» — крик Есенина, который до сих пор мы не смеем расслышать.

В тот последний приезд Есенина в Ленинград во время одного веселого застолья, по воспоминаниям Льва Рубинштейна (из книги «На рассвете и на закате»), неожиданно появился какой-то странный угрюмый человек, видимо, из Москвы, окликнув Есенина: «Где, Сергей, бросил ты якорь? На твою и на наши головы!», — он начал читать «Черного человека». Но далеко не всегда Есенина можно было вывести из себя. И тогда незнакомец спросил: «Сережи тут нет?» Но сколько он ни пересмешничал, ни ерничал, поэт не отвечал.

Балагуря, Есенин уже успел нещадно обидеть своего давнего друга и учителя Николая Клюева: задул лампаду у иконы, где Клюев молился о нем, от удали задул, для смеха, потом просил прощения и все читал и читал «Черного человека»:

Где-то плачет
Ночная зловещая птица.
Деревянные всадники
Сеют копытливый стук.
Вот опять этот черный садится...

И приходили, и садились, и читали его же стихи...

Сестра поэта Екатерина Александровна рассказывала, что к Есенину часто в кафе и на улице цеплялись какие-то странные люди, которых милиция после проверки документов тут же отпускала, а на Есенина неоднократно заводились дела по обвинению в «хулиганстве». К этому мы еще вернемся. Видимо, образ бунтаря и хулигана, создаваемый Есениным в литературе, умело использовался в жизни его недругами.

Возникает естественный вопрос: неужели даже родные и близкие, стоявшие у гроба, поверили в самоубийство? Обратимся к свидетельству Екатерины Александровны, которое не вошло в ее мемуары, но, доверенное дочери, недавно стало широко известно. Со стороны семьи хлопоты о похоронах взял на себя Василий Наседкин, муж Екатерины Александровны. Первое, что он сказал дома: «На самоубийство непохоже. Такое впечатление, что мозги вылезли на лоб». Тем не менее «споров вокруг смерти поэта» не было, да и не могло быть. Все хорошо помнили о расстрелах без суда и следствия на месте «преступления» и о массовых казнях «для примера».

Отпевали Есенина в трех церквах: в Москве, в Ленинграде и на Рязанской земле. С точки зрения Православия, самоубийство — тяжелейший грех, за отпевание самоубийцы священник лишается сана. И все же Сергея Есенина отпели не ветры полей, а священники Русской Православной Церкви, значит, объяснения родных сочли достоверными или провидели истину.

Впервые посмертную фотографию Сергея Есенина я увидела в книге английского исследователя, известного специалиста по русской литературе Гордона Маквэя «Isadora & Esenin». Поразила и сама фотография и отсутствие каких бы то ни было комментариев. Глубокая рана на лбу и черная круглая пробоина под правой бровью, похожая на след от удара или от пули. А рядом вторая фотография: похороны поэта. Лицо уже явно «подправлено», но все равно виднеется рана на лбу и явно камуфлированная пробоина под правой бровью — не помог даже грим. Видимо, фотоаппарат беспощаднее, точнее человеческого глаза. Перед его оком камуфляж прозрачен, заметны неожиданные подробности, о которые не спотыкается зрение подавленного очевидца.

Позднее в архивах я видела и другие посмертные фотографии Есенина, снятые и в «Интернационале», и во время судебно-медицинской экспертизы. На всех фотографиях — и рана на лбу, и черная глубокая пробоина под правой бровью. Иногда высказывалось предположение, что это просто гематома. Я познакомилась с документами, включающими акт «о самоубийстве С. А. Есенина», составленный участковым надзирателем Н. Горбовым, показания свидетелей Е. Устиновой, Г. Устинова, В. Эрлиха, В. Назарова, акт судебно-медицинской экспертизы, проведенной 29 декабря 1925 года Гиляревским и заключение «по делу о самоубийстве С. А. Есенина», оформленное спустя месяц 20 января 1926 года в столе дознания 2-го отделения Ленинградской милиции за подписью Вергей (фонды ИМЛИ имени

А. М. Горького). Акт судебно-медицинской экспертизы — автограф без машинописной копии, а в нем — дыра. Обрывки текста — в отдельном конверте. По ним удалось реконструировать этот уникальный документ-подлинник. Встретившись в Москве с Гордоном Маквэем, я узнала, что лет двадцать тому назад, когда он читал этот документ, подлинник был, кажется, без изъянов. Небрежно проведенная экспертиза на следующий день после сообщения в газетах о самоубийстве (что по сути дела навязывало экспертам эту версию), небрежное хранение документов: твердая уверенность, что утвердившаяся версия незыблема.

В судебно-медицинской экспертизе, которую проводил, как ни странно, всего лишь один человек, зафиксирована борозда на лбу над переносицей длиной в четыре сантиметра и шириной в полтора сантиметра без указания глубины. Отмечается: «кости черепа целы» (в реконструированном мною тексте). И тогда я решила обратиться к специалистам по судебно-медицинской экспертизе. Тут же выяснилось, что представленные мною фотографии из архивов, а также опубликованные в книге Гордона Маквэя и акт судебно-медицинской экспертизы друг другу явно не соответствуют. Значит, где-то ложь: или в акте, или на всех этих фотографиях. Я задала вопрос: «Может ли быть черная абсолютно круглая дыра под правой бровью гематомой, не отмеченной в экспертизе?» Мне ответили, что нет. Под лупой зияет пробоина, похожая на след от удара или от пули. Таково мнение специалистов, которое они не решаются зафиксировать, поскольку пока имеют дело с отпечатками, а не с негативами. Но фотографий много и на всех зияет абсолютно круглая дыра под правой бровью как продолжение борозды, которая согласно акту судебно-медицинской экспертизы произошла «от давления при повешении» (?!). Поскольку след от удара или от пули почти сливается с бороздой, на него и не обращали внимания в течение шестидесяти лет. Годы репрессий, застоя. Но посмертная маска Есенина ужасает всех, кто ее видел. Не «вдавленная борозда», а глубочайшая рана на лбу, никак не отмеченная в акте участкового надзирателя и небрежно зафиксированная в акте судебно-медицинской экспертизы. Защитники официальной версии, а их всегда подавляющее большинство, ссылаются на якобы горячую батарею, которая могла оставить на лице ожог, что не отражено в судебно-медицинской экспертизе. Иногда говорят о двух попытках Есенина, а первая, дескать, была неудачной. Но и это противоречит судебно-медицинской экспертизе, где отмечается один след от веревки «величиной с гусиное перо».

Осталось свидетельство поэта Василия Князева, который провел ночь в морге Обуховской больницы у тела Есенина:

В маленькой мертвецкой у окна
Золотая голова на плахе.
Полоса на шее не видна —
Только кровь чернеет на рубахе.

В акте судебно-медицинской экспертизы отмечается множество ран на руках, которые «могли быть нанесены самим покойным» (?!). И восемь строк, написанных кровью, на которые обычно ссылаются защитники версии о самоубийстве — не объяснение, ведь порезы на кисти левой руки видела соседка Есенина по гостинице Е. Устинова, других ран утром 27 декабря не было. Кроме того «До свиданья, друг мой, до свиданья...» — отнюдь не предсмертная записка, это — стихотворение. Судя по мемуарам, оно было записано при особых обстоятельствах. Есенин кричал, что его хотели взорвать. Утром 27 декабря истопник забыл налить в колонку воду, мог произойти взрыв. Устинова пыталась успокоить поэта, сказав, что колонка просто бы расплавилась, но Есенину этот довод казался неубедительным. Тогда-то он и передал Эрлиху, по свидетельству Устиновой и самого Эрлиха, это стихотворение, написанное кровью, возмущаясь, что в гостинице нет чернил. В стихотворении — предощущение смерти, но, на мой взгляд, в нем нет ни малейшего намека на мысль о самоубийстве. Как ни странно, но Эрлих до поры до времени об этом стихотворении, написанном кровью, забыл и не прочитал его ни днем, ни вечером, когда был в гостях у секретаря Ленинградского отделения Всероссийского союза поэтов М. Фромана, где собрались Лавренев, Лукницкий, Наппельбаум и другие. Там он и остался ночевать. По его словам, он был последним, кто видел Есенина. Эрлих с полдороги вернулся в номер к Есенину, где забыл портфель. Поэт сидел за письменным столом над рукописями в накинутой на плечи шубе, поскольку в гостинице было прохладно (так что ссылка на раскаленную батарею явно несостоятельна). Со дня на день должна была прийти верстка первого тома собрания сочинений. На имя Эрлиха 27 декабря была по просьбе Есенина оформлена Фроманом доверенность на получение гонорара в 640 рублей, которые должны были прийти из Москвы. Эти деньги утром 28 декабря Эрлих так и не получил, поскольку документ был без гербовой печати. И тогда он пошел в гостиницу «Интернационал» к Есенину. Там вместе с Устиновой пришлось вызвать управляющего гостиницей Назарова, чтобы открыть отмычкой, по свидетельству Устиновой (или запасным ключом, по свидетельству Эрлиха) дверь пятого номера. Управляющий «открыл замок с большим усилием, так как ключ торчал с внутренней стороны» (это из его свидетельства) и тут же поспешил удалиться, не проявив естественного любопытства. Его догнали...

Ночь с 27 на 28 декабря унесла жизнь Сергея Есенина, и нам лишь известно благодаря поискам, проведенным Сергеем Клычковым (из воспоминании В. Ардова), что в три часа ночи по коридору ходили какие-то люди и вошли в соседний номер. Но тут же возникли предположения, что поэт повесился «случайно», желая «пошутить», возможно, напугать Эрлиха, который в это время мог очутиться в гостинице. Разработка этой версии принадлежит известному журналисту, автору книги «Трибун революции» Георгию Устинову, которого нашли в петле в 1932 году, на следующий день после того, как он, наконец, пообещал в частной беседе рассказать о последних часах жизни Есенина.

Можно ли теперь провести следственный эксперимент? «Англетер» был взорван в 1987 году, и установить многие детали уже довольно сложно. Многое упущено и не только из-за халатности, но и страха перед версией, утвердившейся в прямом смысле этого слова на крови. Кто же мог оформить убийство как самоубийство? Ведь для этого надо было обладать властью не меньшей, чем была у ВЧК — ОГПУ.

Единственный член правительства, кто, как известно, интересовался в то время Есениным, был Лев Троцкий. Он держал поэта в поле своего зрения с помощью сотрудников ВЧК Якова Блюмкина и Льва Седова (сын Троцкого). «Трибун революции» отмечал, что Есенина в силу его молодости и гибкости можно приручить, в отличие от Клюева. Через два года в речи на смерть Есенина, пышной, как венки из бумажных цветов, Троцкий сокрушенно скажет: «Поэт погиб потому, что был несродни революции». И тут же воскликнет: «Умер поэт. Да здравствует поэзия!»

В те годы в литературных кругах вертелся сподручный Троцкого Яков Блюмкин, известный террорист, убийца немецкого посла Мирбаха. У Блюмкина при себе всегда были пачки незаполненных бланков на расстрел. По воспоминаниям Н. Я. Мандельштам, однажды в присутствии Осипа Эмильевича Блюмкин стал демонстративно заполнять эти бланки. Реакция Мандельштама была мгновенной. Он бросился на кипу смертоносных бумажек. Кто знает, может быть, и это ему засчиталось?

Но были у Блюмкина и свои пристрастия. Его особой доверенностью и покровительством пользовались имажинисты, к которым благоволил «трибун революции» Троцкий и помогал Л. Б. Каменев, председатель исполкома Московского Совета. О жутковатых литературных вечерах в Кремле на квартире Каменева, которые устраивал глава Московского Совета и его жена Ольга Давыдовна, сестра Троцкого, поведал в своих воспоминаниях В. Ходасевич («Белый коридор», «Советская Россия», 12 марта 1989). Там четырнадцатилетний Лютик Каменев, по словам его матери, мальчик на редкость проницательный, легко подмечал «врагов» даже по фотографиям. В тех же воспоминаниях Ходасевич оставил свидетельства и о страшной деятельности Г. Е. Зиновьева в Петрограде. Влияние Зиновьева в этом городе было столь велико, что даже после того, как он был отозван в Москву в конце 1925 года, его сторонники 7 ноября 1927 года устроили в Ленинграде демонстрацию в поддержку троцкистско-зиновьевского блока. Вряд ли приезды Есенина в Ленинград, своего рода побеги из Москвы, оставались незамеченными. Но пока Есенин был среди имажинистов, опекаемых Троцким, он был вне подозрений. Интересуясь высказываниями Есенина за границей, Троцкий писал: «Воротится он не тем, что уехал. Не будем загадывать, сам расскажет».

А в это самое время Есенин в Берлине, по свидетельству Романа Гуля, писателя первой русской эмиграции, кричал у Дома германского аэроклуба, где только что закончилось его выступление: «Не поеду в Москву... не поеду, пока Россией правит Леиба Бронштейн...» (Лев Троцкий. — Н. С. — из книги «Я унес Россию»).

В письмах домой Есенин старался быть сдержанным, советовал сестре «язык держать за зубами», и только переплывая Атлантический океан, с борта парохода написал А. Кусикову в Париж отчаянное письмо с единственным желанием выплеснуть правду: «Сандро, Сандро. Тоска смертная, невыносимая. Чую себя здесь чужим и ненужным, а как вспомню про Россию, и вспомню, что там ждет меня, так и возвращаться не хочется. Если бы я был один, если б не было сестер, то плюнул бы на все и уехал бы в Африку или еще куда-нибудь.

Тошно мне, законному сыну российскому, в своем государстве пасынком быть. Надоело мне это б... снисходительное отношение власть имущих, а еще тошнее переносить подхалимство своей же братии к ним. Не могу, ей-богу, не могу! Хоть караул кричи или бери нож да становись на большую дорогу.

Ведь и раньше, когда мы к ним приходили, они даже стула не предлагали нам присесть. А теперь — теперь злое уныние находит на меня...

Перестаю понимать, к какой революции я принадлежал. Вижу только одно что ни к февральской, ни к октябрьской. По-видимому, в нас скрывался и скрывается какой-нибудь ноябрь» (7 февраля 1923).

Возвращаясь на родину и, очевидно, вспоминая свои недавние выступления, поэт писал: «Ах, какое поганое время, когда Кусиков и тот стал грозить мне, что меня не впустят в Россию» (из письма А. Мариенгофу, Париж, весна, 1923).

Уже на первом чтении стихов Есенина в кругу имажинистов в Москве вскоре после его возвращения из-за границы присутствовал Я. Блюмкин. В «Орден имажинистов» он вполне вписывался. По воспоминаниям И. Старцева, выслушав стихи, Блюмкин начал протестовать, «обвиняя Есенина в упадочности». Поэт резко возражал. Видимо, и в этот раз в стихах Есенина проскользнули мысли, которые он иногда высказывал в беседах и тут же «топил в вине». А, может быть, он прочитал отрывки из поэмы «Страна негодяев», как читал их в Америке?

Друг Есенина В. Чернявский вспоминал:

«Чем больше он пил, тем чернее и горше говорил о том, что все, во что он верил, идет на убыль, что его «есенинская» революция еще не пришла, что он совсем один. И опять, как в юности, но уже болезненно сжимались его кулаки, угрожавшие невидимым врагам и миру, который он облетел за один год и узнал «лучше, чем все». И тут в необузданном вихре, в путанице понятий закружилось только одно ясное повторяющееся слово:

— *Россия! Ты понимаешь — Россия!*

В этом потоке жалоб и требований был и невероятный национализм (огромная любовь Есенина к России часто трактовалвсь как национализм. — Н. С.), и полная растерянность под гнетом всего пережитого и виденного, и поддержанная вином донкихотская гордость, и мальчишеское желание драться, но уже не стихами, а вот этой рукой... С кем? Едва ли он мог на это ответить, и никто его не спрашивал... Это, видимо, и было то, что прощали *одному Есенину...*»

Но, очевидно, любое терпение имеет конец. Поэзия Есенина наполнялась огромной социальной силой и становилась опасной.

В неоконченной предсмертной поэме «Страна негодяев», как страшное наваждение, появляется поезд с комиссарами с приисков на Уральской линии железной дороги, которую охраняет комиссар Чекистов (Лейбман), «гражданин из Веймара», прибывший в Россию, по его словам, «укрощать дураков и зверей». Как недавно было показано Ст. Куняевым («Наш современник», 1988, № 9), его прототип — «трибун революции» Лев (Лейба) Троцкий, живший в эмиграции в городе Веймаре. Рассуждая о России, Чекистов поучает:

А народ ваш сидит, бездельник,
И не хочет себе ж помочь.
Нет бездарней и лицемерней,
Чем ваш русский равнинный мужик!
Коль живет он в Рязанской
губернии,
Так о Тульской не хочет тужить.
То ли дело Европа?
Там тебе не вот эти хаты,
Которым, как глупым курам,
Головы нужно давно под топор...

Одна из основополагающих идей Троцкого, которую не поддержали, по его словам, эпигоны, обюрократившиеся, омещанившиеся соратники по партии — это мировая революция до победного конца, призванная установить единый для всех миропорядок. В свой «мексиканский» период Троцкий, осуществляя эту идею, внесет раскол в Народный фронт Испании (троцкистский путч в Каталонии), что фактически предопределит победу Франко (Хуан Кобо. «Убийца Троцкого: палач или жертва?», «Московские новости, 1989, № 12).

Но пока в «отсталой России», вводя новый миропорядок, он призывал к созданию из крестьянства «трудовых армий» (прообраз Кампучии), в которых бывший «красный командир станет нашим красным мастером», а «красный директор — красным командиром полка». И трудно себе представить, что прозревшего поэта могли с Богом отпустить в его мир, подлежащий уничтожению.

Друг мой, друг мой, прозревшие вежды
Закрывает одна лишь смерть.

30 марта 1925 года был расстрелян за антитроцкистскую поэму вологодский поэт, друг Есенина, Алексей Ганин. Его не только расстреляли, его казнили полным забвением и никто, кроме земляков, не поднимает голос в защиту поэта, а те, кто должны были бы услышать этот голос, предпочитают не отвечать.

Мягко говоря, негативное отношение к поэтам Есенинского круга появилось и даже получило свое теоретическое оформление задолго до сталинских репрессий. Об этом в частности свидетельствует недавно опубликованное в «Известиях ЦК КПСС» (1989, № 1) письмо А. М. Горького к видному политическому деятелю Н. И. Бухарину от 13 июля 1925 года: «Надо бы, дорогой товарищ, Вам или Троцкому указать писателям-рабочим на тот факт, что рядом с их работой уже возникает работа писателей-крестьян и что здесь возможен, — даже, пожалуй, неизбежен конфликт двух «направлений». Всякая «цензура» тут была бы лишь вредна и лишь заострила бы идеологию мужикопоклонников и деревнелюбов, но критика *и нещадная* (курсив мой. — Н. С.) этой идеологии должна быть дана теперь же.

Талантливый, трогательный плач Есенина о деревенском рае — не та лирика, которой требует время и его задачи, огромность которых невообразима».

Интерес к Есенину в частных письмах, внимание к самобытной прозе Сергея Клычкова, столь несвоевременной, смелой, что прекрасно понимал и точно выразил Горький в письме Клычкову (31 марта 1925) — все это не помешало родоначальнику социалистического реализма занять жесткую позицию по отношению к чужеродной ему «крестьянской» литературе, которая видела в прошлом России отнюдь не «темное царство». В письме к Бухарину Горький советует приглядеться к «мужиковствующим» литераторам, особенно к их «возрождающемуся сентиментализму народничества», столь ярко выраженному в «Сахарном немце» поэта Клычкова и в гекзаметрах Радимова «Деревня».

Не ради умаления больших имен, а ради исторической справедливости мы должны знать правду. Ведь были и те, кто даже во спасение не солгал ни себе, ни другим ни одною строкой. В старину их назвали бы мучениками и страстотерпцами, а ныне и вспомнить боятся, как боялись не так уж и давно печатать Есенина.

Отклоненное редколлегией альманаха «День поэзии. 1989», провидческое стихотворение Пимена Карпова «История дурака», написанное в 1925 году, впервые появилось на страницах «Литературной России» 28 апреля 1989 года. Как отмечается в предисловии, это первое антикультовое, антитроцкистское, антисталинское стихотворение. Но хотелось бы подчеркнуть, что написано оно в тот же год, когда Есенин работал над «Страной негодяев». По осмыслению событий это близкие друг другу произведения. Вспомним «укрощение» дураков и зверей» из «Страны негодяев». Пимен Карпов писал:

I

Когда с непроходимых улиц,
С полей глаза Руси взметнулись, —
Была тобой, дурак, она
На поруганье предана
. . . .

II

Ты страшен. В пику всем Европам
Став людоедом и холопом, —
На царство впер ты сгоряча
Над палачами палача.
Глупцы с тобой «ура» кричали,
Чекисты с русских скальпы драли,
Из скальпов завели «экспорт», —
Того не разберет сам черт!
В кровавом раже идиотском
Ты куролесил с Лейбой Троцким,
А сколько этот шкур дерет —
Сам черт того не разберет!
Но все же толковал ты с жаром:
«При Лейбе буду... лейб-гусаром!
Увы! — остался ни при чем:
Ильич разбит параличом,
А Лейба вылетел «в отставку»!
С чекистами устроив давку
И сто очков вперед им дав,
Кавказский вынырнул удав

. . . .

Теперь с твердой уверенностью можно сказать, что поэты Есенинского круга не видели для себя спасения вне спасения России и вместе с ней взошли на Голгофу.

Николай Клюев, Сергей Клычков, Алексей Ганин, Пимен Карпов, Павел Радимов, Петр Орешин, Александр Ширяевец, Василий Наседкин, Павел Васильев, Иван Приблудный... Их часто называют крестьянскими поэтами, хотя они дали себе более точное определение — «вышедшие из недр трудового крестьянства». (Из десяти названных поэтов вслед за А. Ганиным шесть погибли в 1937—1940 годах).

«Раскрестьянивание» России сопровождалось уничтожением церквей. Как бы предвидя грядущую трагедию, Есенин написал монолог Чекистова:

Странный и смешной вы народ!
Жили весь век свой нищими
И строили храмы божие...
Да я б их давным-давно
Перестроил в места отхожие...

«Страна негодяев»

Явлением «диким и хищническим» называл имажинизм Осип Мандельштам, безусловно имея в виду сущность этого течения. Несостоятельность имажинизма, его безуспешные потуги в формотворчестве в конце концов был вынужден признать даже Троцкий в книге «Литература и революция».

После разрыва с имажинистами Есенин не захотел оставаться жить в общей квартире в Богословском переулке, дом 5 (ныне ул. Москвина), куда поэта уже в наши дни пытаются вернуть, ставя вопрос об организации там музея Есенина, по существу на квартире, где «правили бал» Мариенгоф с Блюмкиным и незримо присутствовал Троцкий. Но поэт сам определил свое место в литературе. В октябре 1923 года он обратился в ЦК РКП(б) с просьбой о поддержке группы поэтов и писателей, вышедших из недр трудового крестьянства. Под письмом подписи инициативной группы: Петр Орешин, Сергей Клычков, Сергей Есенин, А. Чапыгин, Николай Клюев, П. Радимов, Пимен Карпов, Александр Ширяевец, Ив. Касаткин.

Группа имажинистов «в доселе известном составе» объявлялась Есениным со страниц «Правды» распущенной (31 августа 1924). Это последнее заявление Сергея Есенина. Ранее он писал об имажинистах: «У собратьев моих нет чувства родины во всем широком смысле этого слова, поэтому у них так и несогласовано все. Поэтому они так и любят тот диссонанс, который впитали в себя с удушливыми парами шутовского кривляния ради самого кривляния».

На заявление, опубликованное в «Правде», последовал ответ: «Хотя С. Есенин и был одним из подписавших первую декларацию имажинистов, но он никогда не являлся идеологом имажинизма, свидетельством чему является отсутствие у Есенина хотя бы одной теоретической статьи. Есенин примыкал к нашей идеологии, поскольку она ему была удобна, и мы никогда в нем, вечно отказывавшемся от своего слова, не были уверены, как в своем соратнике. После известного всем инцидента, завершившегося судом ЦБ журналистов[1] над Есениным и К°, у группы наметилось внутреннее расхождение с Есениным, и она принуждена была отмежеваться от него, что и сделала, передав письмо заведующему лит. Отделом «Известий» Б. В. Гиммельфарбу 15 мая с/г. Есенин в нашем представлении безнадежно болен психически и физически, и это единственное оправдание его поступков» («Новый зритель», 1924, № 35).

После разрыва с Мариенгофом Есенин рассказал юному Эрлиху такую притчу: «Жили-были два друга. Один талантливый, а другой — нет. Один писал стихи, а другой — (непечатное). Теперь скажи сам, можно их на одну доску ставить? Нет! Отсюда мораль: не гляди на цилиндр, а гляди под цилиндр!» «Эпоха Есенина и Мариенгофа» назывался этот союз. Видимо, для Есенина это стало звучать как «Эпоха Моцарта и Сальери». Незадолго до гибели он дописал своего «Черного человека», оторвав его от себя. Однако критик А. Воронский, примыкавший в 1925—1928 годах к троцкистской оппозиции, в статье «Об отошедшем», предпосланной первому тому «Собрания стихотворений» Есенина (М., 1926), настаивал, что эта поэма — «уже материал для психиатра и клиники».

По многим воспоминаниям проходит версия, что у Есенина в последние годы жизни появилось «что-то вроде мании преследования». Под этим углом зрения Рюрик Ивнев описывает свою встречу с Есениным в больнице на Полянке, где Есенин находится с 17 декабря 1923 года до конца января 1924-го. В это время, а точнее с 26 ноября 1923 года, он разыскивался Народным судом Краснопресненского района. И, видимо, пребывание в больнице для нервнобольных было для поэта в известной мере спасительным и давало ему некоторое алиби от обвинений в «хулиганстве». Но, несомненно, для Есенина было что-то и пострашнее судебного преследования. Рюрик Ивнев пишет: «Во время разговора мы сидели у окна. Вдруг Есенин перебил меня на полуслове и, перейдя на шепот, как-то странно оглядываясь по сторонам, сказал: «Перейдем отсюда скорей. Здесь опасно, понимаешь? Мы здесь слишком на виду, у окна...» Я удивленно посмотрел на Есенина, ничего не понимая. Он, не замечая моего изумленного взгляда, отвел меня в другой угол комнаты, подальше от окна». И потом уже в конце разговора о литературе Есенин сокрушенно сказал: «Все-таки сколько у меня врагов! И что им от меня надо? Откуда берется эта злоба? Ну, скажи, разве я такой человек, которого надо ненавидеть?» Рюрик Ивнев как мог успокаивал Есенина и все боялся, как бы он опять не потерял «душевное равновесие и не заговорил о «врагах», которые его окружают». По признаниям Рюрика Ивнева, опубликованным еще в 1921 году, Есенин всегда возбуждал в нем «самые разнообразные чувства». Тяжкий разговор в больнице Есенин по своему обыкновению свел к шутке.

Рассказывая о своей встрече с Есениным «незадолго до развязки», Николай Асеев замечает: «Он стал оглядываться подозрительно и жутко. И наклоняясь через стол ко мне, зашептал о том, что за ним следят, что ему одному нельзя оставаться ни минуты, ну он-де тоже не промах — и, ударяя себя по карману, начал уверять, что у него всегда с собой «собачка», что он живым в руки не дастся и т. д.» (браунинг фигурирует и в других мемуарах).

В статье «Памяти Есенина» А. Воронский пишет: «Несомненно, он болел манией преследования. Он боялся одиночества. И еще: передают — и это проверено, — что в гостинице «Англетер», перед своей смертью, он боялся оставаться один в номере. По вечерам и ночью, прежде чем зайти в номер, он подолгу оставался и одиноко сидел в вестибюле. Но лучше об этом не думать, ибо кто знает, что скрывалось у Есенина за манией преследования и что это была за болезнь».

Неужели ни у кого из друзей не возникали сомнения относительно версии о «мании преследования»? Ведь преследование могло быть и реальностью.

Обращаясь к Павлу Васильеву, Михаил Голодный писал:

Я знаю: он снился тебе — забияка,
Повисший в петле над открытым окном...

Кстати, почему открытым? (Этим наблюдением со мной поделилась Элида Дубровина).

Возможно, у кого-то и возникали сомнения, но, как напоминает Михаил Голодный:

Им век, как цыплятам, откручивал шеи,
Трещали, как хворост сухой, позвонки.

Видимо, на «болезнь» было списано и другое поразительное обстоятельство: после гибели Есенина в его бумагах не были обнаружены страницы романа, над которым поэт работал и, более того, собирался, по словам Устиновой, как раз в те дни прочитать друзьям.

Но сохранились документы, которые после гибели поэта поступили в музей С. Есенина при Московском отделении Всероссийского союза поэтов. Они-то и проливают свет на так называемую болезнь (ныне — в фондах ИМЛИ).

Последний раз Есенин лег в клинику 26 ноября 1925 года, когда на него было заведено «Дело по обвинению С. Есенина по статье 176 Уголовного кодекса 1925 XI. 6 — 1926 I. 12»[2] . Из протокола допроса С. А. Есенина: «6-го сентября по заявлению Дип Курьера Рога я на поезде из Баку (Серпухов — Москва) будто бы оскорбил его площадной бранью. В этот день я был пьян. Сей гражданин пустил по моему адресу ряд колкостей и сделал мне замечание на то, что я пьян. Я ему ответил теми же колкостями. Гр. Левита я не видел и считаю, что его показания относятся не ко мне. Агент ГПУ видел меня, просил меня не ходить в Ресторан, я дал слово и не ходил».

Однако показаний Рога и Левита оказалось достаточно, чтобы возбудить против Есенина судебное преследование по статье 176 Уголовного кодекса и, несмотря на заступничество Луначарского и Ильи Вардина, дело было прекращено только после смерти Есенина. 12 ноября 1925 года, за полтора месяца до трагической ночи в «Интернационале», Илья Вардин писал Народному судье Сокольнического района, Лубянского отделения т. Липкину: «В ближайшее время Есенин будет помещен в одну из лечебниц. Присоединяясь целиком к мнению А. В. Луначарского, со своей стороны подчеркиваю, что антисоветские круги, и прежде всего, эмиграция, в полной мере используют суд над Есениным в своих политических целях» (фонды ИМЛИ).

21 декабря Есенин самовольно покинул клинику, через день побывал в Госиздате, попросил выслать гранки первого тома собрания сочинений в Ленинград и вечерним поездом выехал из Москвы.

Когда Есенин в последний раз спускался по ступеням дома в Троицком переулке (ныне Померанцев), где была закончена поэма «Черный человек», возможно, ему слышались звуки «Реквиема». Последняя поэма Есенина, по признанию поэта, связана с «Моцартом и Сальери» Пушкина.

Мне день и ночь покоя не дает
Мой черный человек. За мною всюду
Как тень он гонится. Вот и теперь
Мне кажется, он с нами сам-третей
Сидит,

— говорит пушкинский Моцарт.
Есенин восклицает:

Черный человек
Водит пальцем по мерзкой книге
И, гнусавя надо мной,
Как над усопшим монах,
Читает мне жизнь
Какого-то прохвоста и забулдыги,
Нагоняя на душу тоску и страх...

О ком это? — О поэте со слов его недругов и антиподов, которые слагают о нем свою «мерзкую книгу», свою легенду, свою притчу навыворот. Их крохотная «правда», бунт против творца, сокрытие убийства — все это зыбко, будто тень.

Настало время снять ярмо самоубийцы с Есенина.

Голубая да веселая страна.
Пусть вся жизнь моя за песню продана...

— печатают по первому варианту. Но поэт исправил строку, как правил путь своих исканий:

Пусть вся жизнь моя за песню отдана.

---

[1] 10 декабря 1923 года, в день, когда предполагалось отметить 10-летие литературной деятельности Сергея Есенина, в Доме печати под председательством Л. Сосновского состоялся товарищеский суд над С. Есениным, А. Ганиным, С. Клычковым, П. Орешиным («дело четырех»). Поэтам инкриминировалось «антисоциальное, хулиганское, черносотенное поведение» на основании заявления одного случайного посетителя кафе, где поэты обсуждали план создания нового журнала (20 ноября). Товарищескому суду предшествовал арест писателей и статья Л. Сосновского в «Рабочей газете» (22 ноября). Решение товарищеского суда — выразить поэтам общественное порицание, но разрешить продолжить литературную деятельность, а также указать Л. Сосновскому на недостаточную обоснованность его позиции — квалифицировалось печатью как слишком мягкое в отношении поэтов. В «Рабочей Москве», в других газетах публиковались «письма рабочих» с требованиями возбудить против них уголовное дело, сурово наказать, исключить из рядов советской литературы.

[2] «Ст. 176. Хулиганство, т. е. озорные, бесцельные, с явным проявлением неуважения к отдельным гражданам или обществу в целом действия, карается принудительными работами или лишением свободы на срок до одного года» (Уголовный кодекс РСФСР 1922 г.)

В МИРЕ КНИГ

ПО ЛЕРМОНТОВСКИМ МЕСТАМ

Двойственное чувство вызывает литература, посвященная современному состоянию произведений архитектуры, памятных мест — путеводители, историко-географические работы, краеведческая литература, труды по истории искусства, архитектуры.

С одной стороны, они свидетельствуют о том, какое огромное духовное богатство было создано на нашей земле трудом и талантом десятков поколений, а, с другой стороны, вызывают чувство недоумения, горечи и отчаяния — столь велики наши утраты!

Путеводитель «По лермонтовским местам» — еще одно прекрасное и одновременно скорбное издание, показывающее, как много утрачено за прошедшие почти полтора века со дня гибели М. Ю. Лермонтова, 175-летие со дня рождения которого мы отмечаем в этом году. Если идти по маршрутам, предлагаемым путеводителем, то обозрение множества мест, связанных с именем Лермонтова, сведется к лицезрению новостроек, новых площадей, пустырей и т. д. Вот, к примеру несколько пунктов из маршрутов по лермонтовским местам Москвы и Подмосковья.

Лермонтовская площадь (быв. площадь Красных ворот). На месте высотного здания, отмеченного мемориальной доской, стоял дом, где в ночь со 2 на 3 октября 1814 года родился М. Ю. Лермонтов...; Улица Воровского (быв. Поварская), 26. На месте нынешнего здания стоял дом, где Лермонтов с бабушкой жил в 1827 — 1829 годах..; Улица Горького (быв. Тверская), 7. На месте нынешнего Центрального телеграфа находилось здание Московского университетского благородного пансиона..; Страстной бульвар, 6. Бывший дом Свербеева. Напротив кинотеатра «Россия» (дом перестроен)...; Ленинградский проспект, 40. Петровский дворец — памятник архитектуры XVIII века. Построен М. Ф. Казаковым в 1775 — 1782 годах (добавим от себя, что ныне в нем находится хозяйственное подразделение Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского); Середниково. Бывшая усадьба Столыпиных.., куда в годы учения в пансионе и университете Лермонтов с бабушкой выезжал на лето... — ныне санаторий «Мцыри» (добавим от себя — туберкулезный) и т. д. и т. п. по всему путеводителю — разобрано, разрушено, не сохранилось...

Тем ценнее это издание, в котором скрупулезно, с подлинно научной точностью зафиксированы и описаны все памятные места, связанные с прекрасным и щедрым миром Лермонтова.

Ю. Ч.

По лермонтовским местам: Москва и Подмосковье. Пензенский край. Ленинград и его пригороды. Кавказ / Сост. О. В. Миллер; Авт. предисл. И. Л. Андроников. — М.: Профиздат, 1989. — (Сто путей — сто дорог).

И С Т О Р И Я

ВОСПОМИНАНИЯ. ОЧЕРКИ. ПИСЬМА.

ПЕРОМ ОЧЕВИДЦА

ГЕОРГИЙ ВАГНЕР

ДЕСЯТЬ ЛЕТ КОЛЫМЫ ЗА СУХАРЕВУ БАШНЮ

Фото НИКОЛАЯ КУЛЕБЯКИНА

Георгий Карлович ВАГНЕР. Родился в 1908 г. в городе Спасске Рязанской губернии в семье служащих. Мать — пианистка — привила ему с детства влечение к искусству. Бытовавшая в семье легенда о происхождении отца Г. К. Вагнера от двоюродного брата Рихарда Вагнера не оказала на мальчика воздействия, и с переездом семьи в Рязань Г. К. Вагнер поступил в художественный техникум. Заинтересовавшись историей русского искусства, он по окончании техникума (1930 г.) перешел на работу в рязанский краеведческий музей, где и начал свою научно-исследовательскую деятельность. Повышал квалификацию на Высших музейных курсах Наркомпроса, написал первые статьи по старинной рязанской архитектуре, но в 1937 году был арестован. За оскорбление «вождей» Советской власти (по случаю разрушения в Москве Сухаревой башни и других памятников архитектуры) Особым Совещанием приговорен к пятилетнему сроку исправительно-трудовых лагерей. В том же году оказался на Колыме, на одном из самых отдаленных золотых приисков. По выходе в 1942 г. из лагеря пробыл еще пять лет на Колыме, определенный на жительство. В 1947 г. вернулся в Рязань, работал в Художественном музее, но в 1949 г. вновь арестован и сослан в Красноярский край, где не нашлось ничего лучшего, как использовать интеллигента грузчиком кирпича. Потом он оказался в тайге на геологических работах, между прочим в тех местах, где отбывал свой срок герой романа Рыбакова «Дети Арбата». Здесь Г. К. Вагнер пробыл до смерти Сталина. Первый год после освобождения провел в археологической экспедиции А. П. Окладникова, при содействии которого, вернувшись в Москву, поступил лаборантом в Институт археологии Академии наук СССР. В нем Г. К. Вагнер и работает по настоящее время.

При поддержке академика Б. А. Рыбакова и доктора исторических наук Н. Н. Воронина Г. К. Вагнер вернулся к прежней любимой работе по изучению древнерусского искусства. Главным предметом изучения стала уникальная скульптура Владимиро-Суздальской Руси. В 1968 г. Г. К. Вагнер защитил (одновременно) кандидатскую и докторскую диссертации по владимиро-суздальской скульптуре. В 1980 г. за четыре основных свои книги — «Скульптура Владимиро-Суздальской Руси», «Мастера древнерусской скульптуры», «Скульптура древней Руси» и «Белокаменная резьба древнего Суздаля» он получил золотую медаль Академии художеств СССР, а в 1983 г. — Государственную премию СССР. К настоящему времени им издано 16 книг и более 150 статей. Три книги готовятся к выходу в издательствах «Наука» и «Искусство». Две книги — в издательствах США и Испании. Книга «Старые русские города» выходит третьим изданием в ГДР.

В последнее время он много внимания уделяет проблеме духовных корней русской культуры, опубликовав в периодической печати несколько статей. Сейчас работает над специальной книгой на эту тему. Свой 80-летний юбилей он отметил в Рязани, где в областном Художественном музее находится его бронзовый бюст — «памятник» двукратного пребывания Г. К. Вагнера в рязанской тюрьме! Такова ирония истории.

АРЕСТ

21 января 1937 года в 10 часов вечера в дверь занимаемой мной в Рязанском музее маленькой комнаты раздался властный стук. Он не был для меня неожиданным, так как в Рязани уже шли аресты среди интеллигенции, и один из сотрудников музея — ученый секретарь В. Н. Остапченко — был арестован. Беспокоило другое: как объяснить, что у меня в гостях засиделась близкая знакомая, — можно сказать, друг, только недавно высланная из Москвы за какое-то пустяковое (с политической окраской) «дело». Даже без всякой презумпции невиновности с моей стороны ей предъявят обвинение в связи со мной. А это, несомненно, усугубит ее ссыльное положение. Я решил не открывать дверь, надеясь, что постучат и уйдут. Не тут-то было. Стук раздавался все настойчивей, стало очевидным мое присутствие дома (в окне горел свет), так что ничего не оставалось, как открыть дверь. В распахнутом проеме ее я увидел человека в шинели и фуражке с синим околышком, а за ним — фигуры понятых. Капитан Костин предъявил мне ордер на арест и обыск.

Искать у меня было нечего, так как в комнате не было ничего книжного и вообще бумажного. Я только недавно вынужден был уехать из Ленинграда, где у моего брата осталась моя библиотека, а в музее я пользовался, конечно, музейным книжным собранием. Не было в комнате даже письменного стола с бумагами, представляющими особый интерес для обыскивающих. Я занимался в канцелярии музея. Все же Костин решил поскорее отправить меня в городской отдел НКВД, чтобы продолжить обыск при понятых (впоследствии я узнал, что была изъята только моя записная книжка). Шофер провел меня к черной легковой машине, стоявшей у ворот, и тут шедшая сзади подруга моя схватила кисть моей руки и поцеловала ее. Это был прощальный безмолвный поцелуй, не свойственный женщинам в обычных условиях. Я запомнил его на всю жизнь.

Если гостья моя вышла за ворота, значит ее не задержали. Это сразу сняло с меня каменную стопудовую напряженность. Остального я уже не боялся.

Мне могут не поверить: почему? Разве арест НКВД — это не страшно? Нет, не страшно, когда заранее знаешь, за что тебя арестовали и когда сознаешь, что предъявленное обвинение будет ложным от начала и до конца. Тут даже может возникнуть своего рода азарт в борьбе с неравными силами, азарт, свойственный боевитым натурам. Я не был такой натурой, но груз безысходности моей борьбы уже давно требовал какого-то облегчения, и вот облегчение пришло в виде ареста... Я особенно остро воспринимал заснеженную безмолвную Рязань, которую увижу ровно через десять лет. Но тогда не думалось о сроках, думалось о безопасности моей подруги, а также о возможных пунктах допроса, на которые нужно было дельно отвечать. Пока я так думал, машина подкатила к областному управлению НКВД.

ВНУТРЕННЯЯ ТЮРЬМА

Меня сразу ввели в кабинет следователя. Я узнал в нем товарища своего, однокурсника по рязанскому художественному техникуму — лейтенанта (кажется, так) Ивана Назарова. Как мой однокурсник, тем более особенно мне близкий, мог дружить с энкавэдэшником, — это тогда мне в голову не пришло. Наоборот, я немного приободрился в надежде, что все обернется по-хорошему. Наивен я был тогда невероятно. Иван Назаров сразу приступил к допросу. Тон его не внушал никакой надежды на короткую дистанцию. Нет, он не угрожал, не кричал, но настойчиво вел к тому, чтобы я признался в следующих преступлениях:

1. Ругал Кагановича, Ворошилова и других за снос Сухаревой башни и Красных ворот.

2. В кругу музейной молодежи громко читал и антисоветски комментировал опубликованную в газете «Правда» статью «Смех и слезы Андрэ Жида».

3. Не соглашался с генеральной линией и на все имел собственное мнение...

Были там и другие пункты, по существу, мелкие, даже обывательские, вроде того, что я смеялся над еврейскими анекдотами (о Пушкинзоне и Лермонтовиче и т. п.).

С формальной точки зрения, все, что мне предъявлялось, действительно имело место. Я негодовал по поводу разрушения замечательных памятников архитектуры древней Москвы. Я читал статью в газете «Правда» вслух и с комментариями. Я имел на все свое собственное мнение. Я простодушно смеялся над примитивными анекдотами. Ну и что же? Разве все это криминал? Разве древние памятники Москвы не надо защищать? Разве нельзя негодовать по поводу этого? Но я хорошо понимал (совершенно интуитивно), что в таком научном духе мне нельзя вести разговор. Будь я семи пядей во лбу, все равно ничего не докажешь, потому что пункты обвинения заранее не допускают никакого альтернативного обсуждения. Эти пункты, их содержание заранее и безоговорочно считаются антисоветскими. Но если это так, а с «их» точки зрения это только так, то признайся я хотя бы в одном пункте — это автоматически повлечет за собой признание и в других. Вот это я сразу усвоил внутри себя и поэтому на все вопросы категорически отвечал: «нет», «не говорил», «не смеялся», «не кичился собственным мнением» и т. д. Я все сваливал на трусость того, кто меня оклеветал, из чувства недоброжелательства и т. п. Назаров, думаю, понимал, что из меня, имевшего «собственное мнение», ему ничего не удастся вытянуть. Но ведь вытянуть было «нужно», даже «необходимо», иначе следствие не только по моему делу, но и по смежным с ним делам может рассыпаться, как карточный домик. А ведь ордер на арест подписывался областным прокурором, значит, перед ним надо было «отчитываться». Нет, это уже грозило самому следователю, а с ним и начальству Рязанского НКВД. Такое совершенно недопустимо. Признание из меня нужно было обязательно вытянуть.

Надо признать, следствие и, в частности, следователь Назаров оказались в затруднительном положении. Бить или подвергать меня пыткам было нельзя. В начале 1937 года это еще, насколько мне известно, не практиковалось. К тому же, как-никак, а Назаров, я думаю, считался с тем, что я друг его товарища. Значит, и на его товарища могла пасть тень! К тому же и меня, и моего друга широко знали в Рязани. В создавшейся обстановке всякие изуверства трудно было бы скрыть. Короче говоря, ко мне тогда не применили никаких форм физического воздействия. Самое страшное, на что они пошли — это оставляли меня на ночь в холодной одиночке, где можно было спать только на голом полу. Голый пол! Да это же в таких условиях просто благодать. Я прекрасно спал и на очередном допросе чувствовал себя достаточно бодро.

В распоряжении Назарова оставалось еще такое средство, как очная ставка. Очным ставкам обычно придается большое значение в смысле подтверждения обвинения. Я уже догадывался, кто на меня донес, да Назаров этого и не мог скрыть, иначе очная ставка не могла бы состояться.

В комнату следователя ввели одного молодого москвича, по специальности библиографа, который когда-то работал в Рязанском музее. Он признавался, что вместе со своими друзьями из рязанского techинститута участвовал в своего рода «играх в войну», в которых война шла между фашистами и Красной Армией. И в этих «играх» побеждали фашисты, что встречалось криками победы. Что я мог думать? Дурацкие выходки зеленой молодежи? Нет, тут, конечно, крылось что-то более серьезное. Правда, тот, с которым была очная ставка, считался не совсем здоровым, у него находили шизофрению. Но разве следствие примет это во внимание? Словом, я еще больше укрепился в сознании, что и очные показания этого типа надо начисто отрицать. Это я и сделал. Мне даже доставило удовольствие грубо дать ему понять, что он «клепает» не столько на меня, сколько на самого себя. Но по всему его растерянному, полубезумному виду я понял, что это уже пропащий человек.

В распоряжении Назарова были еще три очные ставки с сотрудниками музея, которых я видел случайно во внутренней тюрьме. Но и к ним я готовился соответственно, в чем Назаров, я думаю, не сомневался. Во всяком случае, больше очных ставок он не устраивал. Но показания нужно было добывать!

Кроме единоличного допроса, Назаров устраивал допросы коллективные. В его комнату собиралось до трех-четырех следователей, и они наперебой старались сбить меня с толку, хватаясь даже за табуретки. Это тоже ничего не дало. Тогда они еще не дошли до такой низости, как демонстрация передо мной, например, арестованной матери или той же моей подруги. Тут еще неизвестно, как бы я себя повел. За обещанную жизнь и свободу матери можно отдать очень многое, вплоть до своей жизни, а подписать протокол — это и значило рисковать жизнью. Слава Богу, до этого они тогда не дошли. По крайней мере, в Рязани. И со мной. Но, повторяю, признания нужно было добывать.

Тут в мой допрос был подключен высший эшелон Рязанского НКВД. Сначала меня обрабатывали заместитель начальника подполковник Рязанцев и майор Багио. У них была внушительная внешность, «шпалы», ордена. Они наступали с обоих флангов, но, кроме психической атаки своей внешностью, ничего не могли сделать. Оставался самый грозный козырь — начальник Рязанского управления НКВД Кривицкий. Я не помню его воинского чина, вероятно, не ниже полковника. Сидя в своем роскошном кабинете, конечно, с портретами Сталина и Дзержинского, он, несомненно, надеялся меня подавить. Но мне достаточно было увидеть его внешность, тип лица, чтобы понять: нет, он не из таких. В нем было что-то интеллигентное. И на самом деле, он не столько «давил», сколько уговаривал: дескать, зачем вы отпираетесь, когда «у нас есть показания человека, с которым вы неплохо проводили вечера». Это его слова. Кривицкий явно намекал на мою подругу. Но в этом и был его громадный промах. Потому что в подруге я был уверен больше, нежели в себе. Допрашивать ее, конечно, допрашивали, но, чтобы она что-нибудь плохое сказала про меня, в это я никогда не поверил бы. Кривицкий показал, что в их распоряжении против меня, в сущности, нет ничего серьезного. Я мог считать свои «диалоги» во всяком случае непроигранными.

Дальнейшее мое пребывание во внутренней тюрьме было довольно ровным. Меня перевели в общую камеру, где уже сидели какой-то венгр из Дебрецена и русский мужичок, у которого в голове от чтения морализаторских сочинений Льва Толстого образовалась несусветная каша. С ним было забавно, так как он считал меня ничего не понимающим в философии и, вскакивая на койку, орал разную чепуху. Спасибо ему за развлечение. Кажется, он отказался от несения воинской повинности. Третьим компаньоном была чрезвычайно нахальная, но вместе с тем по-крысиному добрая большая крыса, каждый обед вылезавшая из угловой дыры в полу и садившаяся вблизи нее на задние лапы. Неужели она соображала, что может вызвать нашу жалость и вкусные подачки? К сожалению, вкусных подачек мы как раз и не могли ей предложить, так как не кинешь же ей корку хлеба, ложку каши или суп. Шансы крысы повысились, когда я получил первую передачу, скорее всего от московской тетушки (что потом подтвердилось). Значит, весть о моем положении дошла до Москвы. Значит, она несомненно дойдет и до моих родителей, живущих в Донбассе! Передачей я по тюремному закону делился со всеми. Нахальство крысы увеличивалось, так что пришлось всеми средствами заделывать дыру. Впрочем, и энкавэдэвская пища была не так уж противна. Во всяком случае, на ней можно было держаться. До поры до времени.

На допросы меня больше не вызывали. Раза два нас возили в баню, конечно, не в городскую, а в тюремную. Для этого брали «черный ворон», в который каждого запихивали в отдельный бокс, хотя в этом не было никакой необходимости: ведь все мы «шли» по разным «делам». Да и в камере сидели вместе. Но «черный ворон» производил впечатление, и это, вероятно, тоже учитывалось.

ГОРОДСКАЯ ТЮРЬМА

В городскую тюрьму меня конвоировал один уже немолодой солдат с винтовкой, почему-то отнесшийся ко мне «с вниманием». Он не командовал: «руки за спину», «иди не оглядываясь» и т. п., а только просил. Шли мы посередине проезжей части главной городской улицы, я — впереди, солдат — сзади. Зрелище для областного города не частое. Особенно днем. Недаром повстречавшийся нам один из моих товарищей вытаращил глаза. Перекинуться с ним словами не удалось. Вот почему арестованных водят не по тротуарам. Хотя это и подрывает престиж НКВД. В тюрьме, построенной в александровские времена, то есть в стиле ампир, архитектуру которого я изучал незадолго до ареста для будущей книги, меня определили в угловую башню, в камеру на три койки. Три шага от двери до окна и три обратно. Таков теперь был мой маршрут. Из высоко расположенного зарешеченного окна проглядывалась железнодорожная насыпь, на которой вскоре я и увидел свою маму. Она расхаживала взад-вперед с моей подругой, очевидно, привлекая мое внимание, так как мое местонахождение она не знала. Взбираясь на спинку койки и опираясь локтями на подоконник, я очень напоминал сам себе картину художника Ярошенко под названием «Заключенный» (в Третьяковской галерее). Сходство настолько близкое, что можно было подумать о пребывания Ярошенко в башне рязанской тюрьмы. Передвижники не любили отклонения от реальности. Итак, мама в Рязани. Вскоре она взяла на себя тяжелый и грустный груз регулярных передач. Мне они были очень важны потому, что в каждой передаче содержался «сигнал» благополучия с моей подругой. Этим сигналом были три конфеты «Мишка». Через окошко увидел я и своих злополучных товарищей по музею: библиотекаря, художника и ботаника. Последние двое были молоды, и я наблюдал, что на прогулку они выходили бодро. А вот с библиотекарем было плохо. Он тоже был подвержен шизофрении, а в тюрьме совсем сдал, так что по его полубезумному лицу (я неожиданно столкнулся с ним на лестнице) я понял, что с ним тоже все кончено. Скажу сразу, что только с художником я однажды встречусь за десять тысяч километров от Рязани, остальные же исчезли бесследно.

Вскоре в мою круглую башенную камеру «вселили» еще двух человек — Ковшова из соседнего села, который сам сказал, что он бывший эсер, и молодого красноармейца, фамилию которого я не удержал в памяти. Он как-то непочтительно выразился о смерти Дзержинского. Ковшов вел себя в разговорах очень агрессивно, чувствовалось, что у него с Советской властью особые счеты. Злоба его доходила до такой крайности, что, вскочив на койку, он просто брызгал слюной. Этого я не стерпел и вступил с ним в дискуссию. Позже Ковшов признался мне, что считал меня за «кукушку». Впрочем, и у меня были основания для того же. Но это не приходило мне в голову. К тому же я догадывался, что мое следствие подходит к концу. Меня фотографировали в тюремном дворе в фас и в профиль, заставляли «играть на рояле».

О кормежке в тюрьме, о туалетах, банях, «жарилках», запретах чтения, проверках, громыхании замков и прочих вещах за последнее время немало писалось, и я не могу здесь прибавить чего-либо нового. Все работало по инструкции.

Вне инструкции была такая деталь, как маленький подкуп разносчиков передач. За пачку махорки, которую для этого нарочно просили присылать даже некурящие (как я, например), можно было получить в списке передаваемого маленькую приписку незаконного характера. Я имею в виду не что-либо касающееся следствия, все мы уже прошли этот этап, а такие приписочки, как «люблю», «вечно с тобой», «со мной все в порядке», «отец и братья здоровы» и т. п. В моральном отношении это было чрезвычайно важно. К тому же маму и мою подругу я продолжал видеть на железнодорожной насыпи. Как и я в камере, они ходили взад и вперед, пока я находился в башне. Но из башни по окончании следствия меня перевели в общую камеру, где началась новая тюремная жизнь.

В общую камеру обыкновенно переводятся заключенные, следствие которых закончилось, то есть оно не нуждается в изоляции арестантов, в секретности очных ставок и т. п. Я очутился в компании не менее 40 человек. От галдежа и шума я успел отвыкнуть, поэтому сначала даже загрустил по своей башне. Но зато здесь возникли интересные встречи. Например, я узнал, что по моему «делу» проходило около 25 человек, и часть их была в этой камере. Это прежде всего три молодых москвича — Юрий Скорняков, Василий Виноградский и Евгений Зубов. Надеюсь, что они живы-здоровы, хотя и не знаю, какова их судьба. От них-то я и узнал, что, кроме нас, четверых, наш любитель «военных игр» собрал под крышей Рязанского НКВД до 25 человек, в том числе из Ташкента и других городов. Характер допросов у нас четырех был примерно одинаков. Что касается моих музейных коллег, то в нашей камере их не было. Я думаю, что их «делу» был придан более серьезный оборот.

Будничную жизнь общей камеры мне не хочется вспоминать, в ней было немало обывательского. Не знаю, как женщины, но мужчины в описываемых условиях как-то теряют самоуважение и пускаются в скабрезности. Мои москвичи не были такими. Они происходили из достойных семей, жили литературными интересами и в этом отношении опередили меня. Как-никак, а я все же был провинциалом. Мне нравилась живость их мысли. Не знаю, что они нашли во мне, но отношения у нас сложились самые дружественно-уважительные. Что знали они — того не знал или плохо знал я. Что знал я, то подчас было мало знакомо им. Так сложился наш квартет. Мы ждали суда, но шли дни, даже месяцы — февраль, март, апрель, май... Раздача паек, обмен простой пайки на горбушку, мытье пола, выносы параши, передачи, нехитрые переговоры с их разносчиками, баня, вынос топчанов для дезинфекции и многое, многое другое, из чего состоит тюремный день. Такая атмосфера как-то морально расслабляла, особенно когда думалось о трудностях наших родных, тратящих большие деньги на передачи. Родителям моих москвичей, кроме того, нужно было жить на каких-то квартирах, и, конечно, незадешево... Скорее бы суд. Но суда мы так и не дождались.

Однажды нас стали одного за другим вызывать в тюремную канцелярию, где военный чин предъявлял нам небольшие, квадратного формата, бланки с грифом: «Особое Совещание по Московской области», разделенные на две половинки. В левой значилась статья преступления, а в правой — мера наказания с обозначением места его отбывания. На моем листке слева значилось: «Участие в молодежной эсеровско-меньшевистской организации». «КРД» (контрреволюционная деятельность). В правой части — «Пять лет ИТЛ. Северо-Восток». Примерно то же самое было у Скорнякова, Виноградского и Зубова. Они, как более сведущие, конкретизировали: Колыма.

Пять лет — это же совсем немного! Неужели мы их не перенесем? Тогда я не мог представить себе, что эти пять лет превратятся в ДЕСЯТЬ. А потом к колымским десяти годам прибавятся еще пять сибирских... И хорошо, что не представлял: сила надежды могла ослабнуть.

ПОДГОТОВКА ЭТАПА

В зависимости от численности, статейности и дальности маршрута этап заключенных представляет очень сложное мероприятие. Арестантов надо охранять, кормить, подвергать санобработке и пр. Может быть, в 50-е годы все это делалось спустя рукава, вплоть до того, что заключенных поили из грязных луж, а в вагонах все валялись на полу (мне приходилось читать такие «исповеди»), но в 1937 году такого не наблюдалось. Видимо, машина еще не начала буксовать. За нарушение инструкций конвой подвергался очень строгим взысканиям, чуть ли не до разжалования.

Рязанский этап 1937 года был очень большой. Говорили, что одних бывших эсеров насчитывалось до 200 человек. Среди них было много учителей. Всех назначенных к этапу группами перевели в соседнюю пересылочную тюрьму, где все мы расположились, как на вокзале, но... за перегораживающей зал толстой решеткой. Это напоминало зоопарк. Да и арестантская толпа немного отличалась от зверей: заросшие, в дрянных одеждах, почесывающиеся. В этом «вокзале» происходили драматические сцены. Родные, подчас приехавшие издалека, первый раз встречались с «врагами народа», раздавались рыдания, смех, крики. Теперь можно было перекрикиваться о чем угодно, и каждый стремился перекричать соседа. Я не помню, чтобы в мировой живописи были подобные картины, даже из истории инквизиции. У русских передвижников их тоже не было. И не могло быть. Нечто похожее мне приходилось позднее видеть в кино, где показывали угон советских людей в фашистский плен.

Странно, но на пересылке я опять не встретил своих коллег по музею. Сбывалась моя догадка: их «дело» пошло по другой линии, где уже не давали пятилетние сроки...

Светлым лучом в этом страшном «вокзале» было свидание с мамой, приехавшей мне на помощь. В это время маме было около 50 лет, она хорошо выглядела, но я видел перед собой сжавшуюся фигурку, хотя лицо ее ободряюще улыбалось. Что она говорила мне? Разве в этом бедламе я мог запомнить! Я же твердил только одно: «Не падай духом, я вернусь, обязательно вернусь». Оправдываться мне было не в чем, разве только в том, что я не оправдал родительских надежд. Ведь я был любимым первенцем. Мама беспредельно верила в меня, я был, как она говорила, ее совестью. Она низко кланялась, кланялась и кланялась. Это было невыносимо.

Несмотря на горе, мама не потеряла смекалки. Она принесла мне старое демисезонное пальто, которое не раз выручало меня на этапе, новый брезентовый рюкзак с эмалированной миской, варежками и парой белья. Вероятно, все это подсказала моя подруга. На прощание мама перекрестила меня. Она была из старинного рода заменитого вице-адмирала В. М. Головина.

Свидания закончились. Я видел, что мама объединилась с тремя незнакомыми мне женщинами. Это были приехавшие из Москвы матери Скорнякова, Виноградского и Зубова. Вот и хорошо! Они будут поддерживать друг друга.

По предположению моих москвичей, нас должны были этапировать до Владивостока, а далее Охотским морем до бухты Нагаево, у которой находится столица Колымы — Магадан.

Столица Колымы — это слишком поэтический оборот. На деле Магадан был центром управления лагерями Дальстроя НКВД, поставлявшим почти даровую силу золотым приискам и рудникам Дальстроя. Так или иначе, но наша молодость (нам еще не было 30 лет) брала свое. На колымскую перспективу мы смотрели как на такое вынужденное путешествие, не будь которого — мы не увидели бы Байкала, Владивостока, Охотского моря, не говоря уже о самой Колыме. Ведь и до сих пор не все знают, где находится эта «планета»...

На пересылочном «вокзале» нам не пришлось ночевать. К середине дня стали по алфавиту выкликать и выводить на улицу для построения в колонну. По мере формирования колонны приказано было садиться (во избежание побега) на землю. Кругом суетились конвойные с немецкими овчарками. Людские выкрики смешивались с яростным лаем псов. А в стороне, на виду у нас, толпились провожавшие родственники. Среди них я хорошо видел свою маму. И все это позорное зрелище, весь этот Апокалипсис развертывался на улице областного города! Нас повели на торговую станцию, провозгласив «знаменитое»: «Шаг вправо, шаг влево считается за побег. Оружие применяется без предупреждения». А кому придет в голову бежать, когда овчарка тут же начнет тебя рвать в клочья. Натренированную ярость этих овчарок, в сущности говоря, добрых собак, я увидел позднее на Колыме.

Медленно двигающаяся в пыли, окруженная охранниками и собаками, колонна шла к товарной станции. Временами она останавливалась, раздавалась команда «садись». Видимо, в движении колонны происходили какие-то нарушения «порядка». Все это терпимо. Нестерпимо было видеть, как толпа провожающих нас родных перебегала дворами вслед за нами. Следовать по улице сзади колонны было запрещено. Я видел, как, спотыкаясь, бежала моя мама.

На товарной станции уже стоял длинный состав красных вагонов. Конечно, мне не пришло в голову пересчитывать их число, но вспоминается, их было не менее тринадцати-четырнадцати. Нас начали (опять по списку) сажать в них, по тридцать человек в вагон, значит всего тогда из Рязани было этапировано до 400 человек.

Настала последняя минута свидания с мамой. Мы уже не могли подойти друг к другу, к нам никого не пускали. Мама все время кланялась в пояс, кланялась, пока за мной не задвинулась громадная дверь товарного вагона. Я еще немного видел маму через маленькое окно за решеткой, но она меня, конечно, не видела. И больше мы вообще не виделись в жизни...

Известно, что русские художники-передвижники очень остро воспринимали арестантскую тематику царской России, немало создали картин на арестантские темы. Но такой картины, которую в натуре создало Рязанское НКВД, они при всем желании не могли написать. Какой недостаток старой русской живописи!

Продолжение следует.

«ОДИССЕЯ» АРОНА СИМАНОВИЧА

После публикации первых частей записок А. Симановича наши читатели неоднократно обращались в редакцию, проявляя вполне понятное любопытство — как же сложилась в дальнейшем судьба личного секретаря могущественного фаворита последнего русского царя? Предпринятый сотрудниками редакции поиск принес весьма неожиданные результаты, о которых мы сообщим, не дожидаясь конца публикации записок. Как выяснилось, есть люди, встречавшиеся и беседовавшие с автором книги о Распутине уже в наше время. И проходили эти беседы очень далеко от берегов Невы...

«В 1976 году началась моя работа в посольстве в Либерии, — рассказал нашему корреспонденту один из ответственных сотрудников Министерства иностранных дел СССР. — Среди достопримечательностей Монровии, столицы этого небольшого западноафриканского государства, был средней руки ресторан на Бенсон-стрит... Необычной в нем была одежда официантов-негров, щеголявших в красных косоворотках старорусского покроя. Экзотическими для тропической Африки были и отдельные блюда, подававшиеся в этом заведении, — к примеру, блины. Все объясняло название, в котором со словом Atlantic (ведь совсем рядом африканское побережье Атлантического океана) соседствовало рекламное приглашение: «У Распутина». Хозяином ресторана являлся хорошо известный в политических и деловых кругах Либерии, всеми уважаемый господин Арон Симанович, проживающий в Монровии со своей последней женой, уроженкой Австрии. Мне не раз доводилось беседовать с Симановичем, которого регулярно приглашали в числе других либерийских бизнесменов на приемы в советское посольство. Приближающийся к своему столетию седовласый старец с резкими, четкими чертами лица держался непринужденно, отличался общительностью, хорошей памятью, прекрасно говорил по-русски, лишь иногда тщательно подбирая слова. Несмотря на возраст и обычную для Либерии жару, не отказывал себе в рюмке крепкого. Всегда благожелательно отзывался о Советском Союзе, в долгих разговорах с нашими дипломатами вспоминал Россию, в которой некогда процветал. На вопрос о достоверности своих мемуаров Симанович, соглашаясь с тем, что в такого рода записках нельзя избежать определенного субъективизма, ручался за полное соответствие действительности изложенных им фактов... Рассказывая о злоключениях, забросивших его в Африку, он упоминал о тех местах заключения, в которых ему довелось побывать в Европе конца 30—40-х годов: лагере для лиц без гражданства во Франции, немецком концлагере, послевоенном лагере для перемещенных лиц. После стольких мытарств и было принято приглашение брата, обосновавшегося в Сьерра-Леоне, перебраться в Африку. Что ж, на новом континенте дела бывшего российского подданного пошли достаточно успешно. Симанович становится личным другом президента Либерии У. Табмена, который находился у руля государственной власти без малого три десятка лет (1944—1971 гг.). Хорошо знаком был Симановнч и с его преемником на посту президента У. Толбертом.

— Спустя два года, по возвращении из отпуска, довелось мне, — заканчивает свой экскурс в недавнее прошлое наш собеседник, — листать газеты со статьями и некрологами, посвященными старейшине делового мира Монровии — «папá» Симановиче. Все центральные либерийские издания описывали похороны с отданными покойному самымн высокими почестями, в присутствии представителей высшего руководства Либерии...»

Вполне впечатляющим было завершение бурной жизни человека, причастного ко многим легендам и тайнам века. Конечно, после Петербурга, ставшего в начале столетия ареной событий, имевших всемирно-историческое значение, Монровия могла показаться слишком отдаленной провинцией, тихим пристанищем... Хотя и здесь принес, как мы видим, свои плоды талант, которым особенно гордился его обладатель — устанавливать контакты с сильными мира сего, оказывая им нужные услуги и извлекая из этого дивиденды. Далеко не последнее место занял бывший ювелир и азартный игрок в стране латекса и высококачественной железной руды, эксплуатирующихся транснациональными американскими корпорациями. Мог Симанович и применить на практике свой опыт в обращении с драгоценными камнями, поскольку Либерия хорошо известна добываемыми здесь алмазами. Вполне возможно и продолжение контактов Симановича с единоверцами, притязания которых он столь рьяно отстаивал в предреволюционной России. Известно о значительных политических и экономических нитересах Израиля в Либерии, которая в 1948 году была третьей по счету страной, признавшей созданное международным сионистским движением государство в Палестине. Израильской строительной фирмой, кстати, был возведен роскошный президентский дворец У. Табмена, израильский же капитан управлял в свое время и персональной президентской яхтой...

Правда, волею судеб и в Африке дружба с А. Симановичем оказалась для многих влиятельных лиц предшественницей рокового финала. Во время военного переворота, совершенного группой солдат и офицеров либерийской армии в апреле 1980 года, был растерзан в буквальном смысле слова президент У. Толберт, расстреляны по обвинению в государственной измене ряд министров и генералов, за два года до этих событий присутствовавших на проводах в последний путь владельца ресторана «Atlantic chez Rusputin»...

Вот и все, что дали пока наши редакционные поиски «следов», оставленных Ароном Симоновичем Симановичем.

А. ТИМОФЕЕВ

АРОН СИМАНОВИЧ

РАССКАЗЫВАЕТ СЕКРЕТАРЬ РАСПУТИНА

Имеющие аттестаты зрелости евреи могли бы поступать в высшие учебные заведения и таким образом, впредь до дальнейшего, освобождаться от поступления на военную службу. Но имелось много евреев без среднего образования. Для них было учреждено специвльное учебное заведение под названием «Сельскохозяйственный и гидротехнический институт». Для отвода глаз в списки воспитанников института были занесены при содействии Распутина тысячи освобожденных от военной службы воспитаннников духовных училищ, а в действительности институт имел лишь около шестисот слушателей и из них 70 процентов евреев. Ректором института был назнвчен начальник канцелярии статс-секретаря Крыжановского, Балицкий, который кроме того состоял председателем ревкционного «Академического союза».

Наш институт был задуман, как переходная ступень между средним и высшим учебным заведением. После одного года его слушатели могли на более облегченных условиях переходить в высшие учебные заведения. В благодарность за его деятельность, я ввел Балицкого к Распутину. Балицкий получил задачу хлопотать перед Распутиным о нвзначении своего начальника председателем совета министров и добился того, что между ними состоялась встреча. Крыжановский однако допустил ошибку, высказавшись против инородцев, вследствие чего Распутин решил, что он не подхоаит для намеченной аолжности.

Евреи вообще показывали мало склонности к военной службе, что объясняется их бесправным положением и притеснениями. Чтобы им помочь при освобождении от военной службы, я связывался с комиссией города Луги по призыву военнообязанных, находящегося недалеко от Петербурга.

Все члены комиссии были назначены по указанию Распутина и, если к ним попадался призываемый, на бумагах которого имелся мой условный знак, то такого обязательно освобождали. Но довольно об этом, я хочу рассказать несколько других эпизодов из тогдашней моей деятельности.

Еврейский антрепренер Фишзон обратился ко мне с просьбой добыть для него разрешение на гастроли еврейской оперетты в Петербурге. Это была задача не из легких. В то время даже в пределах еврейской оседлости не допускались еврейские театральные постановки. Я все-таки взялся за это дело. На мое предложение представить мне список труппы Фишзон назвал мне сорок лиц. Во время моего следующего посещения Царского Села, я обратился к царице с просьбой разрешить мне устроить в моем доме еврейское театральное представление. Чтобы отвлечь малейшее подозрение, я заявил, что обладающий знанием еврейского языка епископ Исидор будет как бы в качестве цензора присутствовать на первом представлении. Мое ходатайство завершилось успешно, так как ссылка на епископа Исидора возымела свое влияние. Благодаря своему английскому воспитанию царице и в голову прийти не могло, что еврейские театральные представления могли бы быть предосудительными. Я еще прибавил, что на одном из намеченных представлений предполагают присутствовать также Распутин, председатель Совета Министров Штюрмер и другие известные лица.

Царица меня внимательно выслушала и по своему обыкновению спросила: «Что же я должна делать?» Я передал ей прошение, на котором она написала: «Разрешается. Александра».

Я отправился немедленно к градоначальнику, который был очень удивлен, но вследствие моей с ним дружбы не чинил мне препятствий. Полицейское разрешение было мне немедленно выдано.

После прибытия труппы Фишзона в Петербург я устроил большой прием у меня на дому. Тогдашний председатель Совета Министров Штюрмер, епископ Исидор, министр внутренних дел Протопопов, Распутин, начальник охранного отделения ген. Глобачев, товарищ министра внутренних дел Белецкий и др. высокопоставленные лица были мои гости. Я пригласил также всю труппу Фишзона. Можно себе представить изумление еврейских артистов при виде собравшихся у меня сановников. Одаренная примадонна труппы, Клара Юнг, пела и танцевала с большим успехом. Представления труппы состоялись в немецком Екатерининском клубе, членом правления которого я состоял. Петербургские выступления труппы были блестящи, как в художественном, так и в финансовом отношении. В конце концов Фишзону было дано разрешение играть по всей России.

Другой случай: еврейский врач, Липперт, попал в плен к немцам. Его жена, родственница графини Витте, обратилась ко мне с просьбой исхлопотать обмен его на немецкого военнопленного. Я ей посоветовал по этому делу обратиться к Распутину.

Мне было очень смешно видеть, насколько эта дама была взволнована предстоящим визитом.

Прием у царя не так волновал людей, как посещение Распутина.

Госпожа Липперт, следовательно, просила Распутина об освобождении ее мужа из гермвнского плена. В нашей практике это был первый такого рода случай. Мы советовались о том, кто бы мог нам в этом деле помочь. Когда я предложил обратиться к министру иностранных дел Сазонову, то Распутин с видимым смущением сказал:

— Тот нас выставит.

Мы все были удивлены, и я спросил:

— Почему?

— Он за войну, а я против войны, — ответил Распутин.

Распутин знал, что Сазонов, как многие другие лица, был против него. Сазонов пробовал даже восстановить царя против Распутина, но безуспешно. Он прекрвтил свою деятельность в этом направлении, когда увидел, что этим он мог только повредить своему положению у царя. Распутин не любил обращаться с просьбами к своим врагам и делал это только в крвйних случаяк. Но так как Сазонова в данном случае нельзя было обойти, то мы старались уговорить Распутина сделать в этот раз исключение.

В конце концов он согласился и заявил просительнице:

— Ну, твк ступай к Сазонову!

Распутин писал очень плохо, но все же часто составлял короткие, запутанные и бессодержательные записки, причем он в таких случаях садился за письменный стол с очень важной миной. Его почерк был ужасен и составление записок требовало много времени. Г-жа Липперт ждала в большом волнении. Наконец, Распутин вручил ей большой клочок бумаги с нацарапанными на нем словами:

«Милый, дорогой, помоги изнывающему в германском плену! Требуй одного русского против двух немцев. Бог поможет при спасении наших людей. Новых — Распутин».

Госпожа Липперт отправилась на другой день к Сазонову. Она была в полной уверенности, что ее муж будет освобожден из плена.

Сазонов принял ее, прочел записку Распутина и, подумав слегка, сказал:

— Как министр иностранных дел я могу это дело провести и без этой записки. Сохраните ее и скажите Распутину, что я вашу просьбу исполнил бы и без его записки.

Вызванный Сазоновым чиновник заявил, что уже шесть русских военнопленных ждут своей очереди обмена и Липперт может попасть в очередь только после них. Это не устраивало госпожу Липперт, и она настаивала на немедленном возвращении своего мужа, так как он уже стар и болен. Сазонов обещал:

— Хорошо, я это сделаю через Красный Крест.

Когда госпожа Липперт рассказала Распутину о ее приеме у Сазонова, он был очень недоволен, но не сказал ни слова, потому что Сазонов все же обещал исполнить просьбу.

Мы ждали восемь дней. От Сазонова не было известий. Госпожа Липперт опять явилась к Распутину за советом. Он не любил, если его престиж начинал колебаться. Если он получал отказ, то он становился раздраженным. Так случилось и на этот раз. Распутин побежал к своему письменному столу и написал:

«Слушай, министр. Я послал к тебе одну бабу. Бог знает, что ты ей наговорил. Оставь это! Устрой, тогда все будет хорошо. Если нет, то я набью тебе бока. Расскажу любящему, и ты полетишь. Рвспутин».

Слова: «Рвсскажу любящему» означали, что Распутин нвмеревался по этому делу говорить с царем.

Госпожа Липперт сперва не осмеливалась со столь вызывающим письмом идти к Сазонову. Грубый тон записки был ей самой неприятен. Я все же уговорил ее посетить еще раз Сазонова. Она пошла и вручила ему записку.

— Ваше Превосходительство! — сказала она. — Я имею еще одну записку от Распутина. Делайте с ней, что хотите!

— Как, — воскликнул он. — Я должен позволить такому прой-

Продолжение. Начало в №№ 5—6, 9.

доке, как Распутину, писать мне такие письма. Если бы вы не были дамой, я просто велел бы вас выбросить.

После этого госпожа Липперт просила вернуть ей письмо Распутина, но, к удивлению, Сазонов отказался и, по-видимому, его злоба затихла.

— Если вы мне сейчас не вернете письмо Распутина, — ответила госпожа Липперт, — немедленно пойду к Распутину и передам ему наш разговор.

— Оставим это, — ответил Сазонов после некоторого колебания. — Я был вне себя. Не обращайте внимания на это. Скажите отцу Григорию, что это была лишь шутка.

— По моему мнению, — заметила госпожа Липперт, — вам следовало бы позвонить теперь Распутину. — От нее не ускользнула перемена в отношении Сазонова к Распутину. — Вы ведь знаете, что он меняет министров, как перчатки.

Она сняла телефонную трубку, соединилась с квартирой Распутина, попросила его к телефону и передала трубку Сазонову.

— Вы прислали мне странное письмо, Григорий Ефимович, — сказал Сазонов. — Разве вы сердитесь на меня?

— Как так, — ответил Распутин, — не за мною дело. Ты меня обидел. Только советую тебе не пакостить, а лучше оставаться друзьями.

Разговор закончился несколькими пояснительными фразами, причем Распутин присовокупил:

— Мы с тобою уживемся хорошо. Я еще никому таких писем не писал.

После двух недель д-р Липперт был в Петербурге.

Очень гладко закончились наши хлопоты в пользу сосланных в Сибирь польских помещиков, которых по обвинению генерала Брусилова сослали в Сибирь за то, что они будто бы из своих имений на галицийском фронте сообщали неприятелю по телефону сведения о передвижениях войск. Я находился в отличных отношениях с деканом католического Невского прихода в Петербурге, патером Казимиром. Патера просил один галицийский ксендз похлопотать в соответствующих учреждениях за сосланных помещиков. Между тем, как ксендз считал нужным передать это дело папе, патер Казимир счел более целесообразным обратиться ко мне. С Распутиным патер Казимир был уже знаком с одного кутежа.

Я ему посоветовал обратиться к Распутину. Казимир не хотел обращаться к нему как частное лицо, а направился к нему в своем служебном одеянии. Этим Распутин счел себя очень польщенным. Возбужденное против поляков дело по обвинению их в шпионаже он считал необоснованным. Он предложил патеру Казимиру прислать к нему жен и детей сосланных.

— Я им поясню, каким путем они могут добиться освобождения своих кормильцев, — заявил он.

Спустя две недели в Петербург приехала делегация польских помещиков, среди которых находились также жены и дети сосланных помещиков. Казимир привел их ко мне. Вызванный по телефону на мою квартиру Распутин отнесся к полякам очень любезно и приветливо.

— Мы все славяне, — сказал он, — и я хочу вам помочь. И прошу находящегося между вами потомка бурбонов и одного из делегатов меня сопровождать. Я вас представлю царице, и вы ей скажете, что несмотря на все, вы все же остаетесь верными престолу, а находитесь без защитников.

— А потом что? — спросил один из поляков.

— Остальное уже сделаю я сам, — ответил Распутин.

На другое утро, уже в восемь часов, я доставил поляков к Распутину, где уже находился автомобиль охраны. Распутин поехал с ними в Царское Село. Царь в то время находился на фронте. Царица милостиво приняла поляков в своем лазарете и спросила Распутина: «Что мне делать?»

— Напиши письмо к папе и пошли его с поляками в главную квартиру, кроме того телеграфируй Воейкову, чтобы он позаботился о приеме их царем.

— Хорошо, — сказала царица, — я напишу Военкову, чтобы допустили поляков к папе. Поляки должны мне подать прошение, на котором я напишу согласна, и которое я с курьером пошлю папе. Таким образом прошение получится в главной квартире еще до приезда туда поляков.

Мой сын Семен составил прошение, которое я доставил царице, и она его направила в главную квартиру.

Поляки выехали в Могилев. Через час после приезда они были приняты царем, который заявил им, что для него все иноверцы равны.

— Я верю вам, в восемь или десять дней сосланные вернутся, если только им не помешает непогода, — сказал им царь.

Царь еще расспрашивал их о польских делах и похвалил их за то, что они заступаются друг за друга.

После одиннадцати дней поляки вернулись.

Но не всегда наши хлопоты заканчивались столь успешно.

В ряде предпринятых преследований против евреев Николаем Николаевичем самым тяжелым является его жестокий прием по отношению еврейских цадиков, особо евреями почитаемых священнослужителей, не ожидавших и не заслуживших такого преследования. После занятия Львова и Карпат было отдано распоряжение о закрытии всех принадлежащих евреям ветряных мельниц. Военное командование опасалось, что при помощи мельничных крыльев могли передаваться сигналы о передвижении войск. Но так как, как раз наступала еврейская пасха, то евреи всеми способами добивались открытия мельниц, чтобы заготовить муку для мацы. Очень неохотно на это согласились военные власти. По несчастному стечению обстоятельств, как раз в это время русские понесли небольшое поражение.

Николай Николаевич сразу признал виновными евреев. Он заявил, что евреи вращением своих мельниц дали неприятелю знать о расположении русских войск, и велел арестовать живших поблизости цадиков и виднейших евреев.

Цадиков выслали в Сибирь, а остальные евреи в качестве заложников были доставлены в Киев. Можно представить себе несчастье и муки этих людей, когда их в грязных товарных вагонах увозили из Галиции. Высылаемым цадикам даже не разрешили проститься с родственниками. С собою они также не смели ничего брать. Так как им не давали кошерной пищи, то единственным их питанием был только хлеб. Им не разрешили взять с собою даже теплую одежду и отобрали все при них находящееся. Молиться также не разрешали. Представителей еврейства, которые котели их видеть по дороге в Сибирь, к ним не допускали. Одним словом, ничего не допускалось, что могло бы уменьшить их страдания.

Кантор хоральной синагоги во Львове, Гальперин, приехал в Петербург, чтобы хлопотать об облегчении участи сосланных евреев. Он сообщил мне отчаянные подробности их мученичества, и я принял срочные меры к спасению бедных цадиков. Петербургские центральные власти потребовали от нас представления подробных данных и доказательств. Но до представления этих данных, вследствие голода и холода, уже несколько цадиков скончались. Остальные должны были быть размещены в городах: Верхнеудинске, Омске и Томске, но только четверо прибыли на место назначения, так как остальные по дороге умерли. Я подал царю прошение о помиловании этих четырех. Царь удовлетворил мое ходатайство, но пока телеграмма дошла в Сибири до места назначения и эти четверо скончались. Евреи тогда решили протестовать перед всем цивилизованным миром против возводимых обвинений в шпионаже не только на отдельных личностей, а на весь еврейский народ. Евреи разослали в другие страны своих представителей с поручением осветить там бедственное положение евреев в России и просить о помощи.

Отчасти положение евреев облегчалось тем, что и царица находилась в подозрении в шпионаже. Ее телефонные разговоры и передвижения проверялись агентами охранной полиции. Это облегчало борьбу с Николаем Николаевичем и его сторонниками.

РАСПУТИН ОБЕЩАЕТ УВОЛЬНЕНИЕ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА

Я имел постоянные совещания с представителями еврейства. Мы обсуждали вопрос, что мы могли бы еще предпринять по делу достижения равноправия евреев. Я делал все от меня зависящее, но положение евреев продолжало оставаться все еще очень тяжким. Несмотря на поддержку Распутина и мои отношения в надлежащих правительственных кругах, все еще не могло быть и речи о победе в деле разрешения еврейского вопроса.

Я хлопотал о царской аудиенции для еврейских представителей, чтобы они лично могли бы изложить свое положение. Также в этом вопросе мне помогал Распутин. Он, наконец, уговорил царя дать представителям еврейства аудиенцию. Я этому очень радовался. Мы решили, что в состав делегации должны войти адвокаты: Грузенберг, Слиозберг и член Государственной Думы Фридман. Однако царь отказался принять эту делегацию, так как в нее входили адвокаты и революционеры.

Распутин имел совещание по этому вопросу с царем и предложил мне состав делегации: барон Гинцбург, М. А. Гинцбург и киевский сахарозаводчик Л. И. Бродский. Когда мы об этом сообщили указанным лицам, то они были очень изумлены, но отказались говорить с царем, так как они не могли взять на себя всю ответственность за этот разговор с царем. Таким образом мое предложение не осуществилось.

Между тем политика Николая Николаевича становилась все угрожающей и вызывала среди евреев невероятное возбуждение. Несколько еврейских представителей обратились ко мне с просьбой устроить новое совещание с Распутиным. Они строили большие надежды на баснословное влияние чудотворца, но одновременно хотели знать, на что им надеяться и чего им ждать. Я не возражал против предполагаемого совещания и при первом удобном случае сообщил Распутину об этом, поясняя, что еврейские представители хотят его совета для дальнейших действий. Он внимательно меня выслушал и заявил, что согласен принять еврейских делегатов. После сообщения о результатах моих переговоров Мозесу Гинцбургу, последний предложил устроить торжественный обед на квартире адвоката Слиозберга, которого Распутин считал надежным и заслуживающим доверия вождем еврейства. Действительно, без малейшего личного интереса Слиозберг сделал очень много для еврейского народа.

В назначенный день на квартире Слиозберга собрались представители еврейства, и среди них находились: барон Гинцбург, Мозес Гинцбург, Бланкенштейн, Мандель, раввин Мазо и многие другие, фамилии которых я теперь уже забыл. Когда все были в сборе, мне по телефону была передана просьба приехать с Распутиным. Мы поехали. На квартире Слиозберга Распутин был встречен очень торжественно и с большими почестями. Еврейские делегаты, старики с длинными, седыми бородами, в течение вечера рассказывали Распутину о преследованиях евреев Николаем Николаевичем и другими антисемитскими сановниками. Их рассказы оставили глубокое впечатление на Распутина, и он был, действительно, потрясен. При попытке успокоить еврейских делегатов он сам с трудом сдерживал слезы. Когда всеобщее волнение немного улеглось, Распутин пояснил, что он готов помочь евреям, но ему кажется невозможным провести в короткое время радикальные меры, так как правительственные круги слишком пропитаны антисемитизмом.

— Правительство и дворянство, — сказал он, — злы, как собаки. Нужно готовиться к упорной и длинной борьбе. Положение ужасное, но как его изменить. Я сделаю все, что смогу. Только скажите мне, что мне делать.

— Помоги нам, отец Григорий, — ответили обнадеженные словами Распутина делегаты.

— Вы дураки, — сказал Распутин. — Несмотря на ваше богатство и ум, вы не умеете подделаться к людям, которые могли бы быть вам полезными. Вы должны подкупить всех нужных вам людей и стараться всевозможными способами связать интересы влиятельных лиц с вашими интересами.

Делегаты рассказывали Распутину, что еврейские вожди Винавер, Грузенберг, Калманович, раввин Эйзенштадт и Фридман являются противниками такой тактики, так как, по их мнению, главной целью должно являться достижение равноправия для евреев. Но для проведения такой реформы необходимо время.

— Я, действительно, вас не понимаю, — возразил Распутин. — В прежнее время многие евреи имели большое влияние: например, Поляков. Симанович и теперь имеет доступ к царю. Почему вы не хотите постараться также найти к нему пути?

Делегаты продолжали свои жалобы против Николая Николаевича и просили Распутина избавить еврейство от его преследования. Он, очевидно, не ожидал, что ему столько придется услышать. Один за другим мы сообщали Распутину случаи гонения евреев и выражения против них ненависти со стороны Верховного Главнокомандующего и не могли удержать наши слезы при рассказах о несметных еврейских казнях через военные власти.

Распутин встал и перекрестился. Это означало, что он дал сам себе клятву нам помочь. В глубоком волнении объяснил он, что Николай Николаевич будет устранен от должности вождя русской армии в течение десяти дней, если только с ним ничего не случится.

— Тогда царь возьмет на себя командование армией, и мы сможем, может быть, сделать что-нибудь для евреев, — сказал он.

Все присутствующие были потрясены этим обещанием. Я предложил преподнести подарок в сто тысяч рублей для семьи Распутина. Мое предложение было принято. Распутин выразился, что он об этом сообщит царю.

На другой день М. Гинцбург внес в один из банков на имена дочерей Распутина по пятьдесят тысяч рублей.

С удивлением мы следили, как Распутин сдержал свое обещание. Еще до истечения десяти дней Николай Николаевич был смещен и назначен командующим кавказской армией.

СИЛА РАСПУТИНА

Распутин часто утверждал, что он владеет особой силой, при помощи которой он может все достигнуть и в опасные моменты даже спасти свою жизнь. Скептики этому не верили.

В действительности, Распутин обладал особой способностью, которую он называл своей «силой». Мне приходилось наблюдать, как эта «сила» у него проявлялась и как он ее применял. Я не намереваюсь давать объяснения этой «силы» и не могу сказать, был ли это гипноз или магнетизм. Про это много говорилось и писалось. Я хочу только передать мои личные наблюдения и мне известные факты.

Особенно показательны мне кажутся мои наблюдения в этом отношении по делу Николая Николаевича. Распутину самому приходилось много страдать вследствие враждебности Николая Николаевича. Отношения между обоими были не всегда плохими. Как известно, супруга Николая Николаевича первая познакомилась с Распутиным и позаботилась о его приезде в Петербург. Николай Николаевич сначала также выказывал Распутину благожелательное отношение. Даже одно время он неоднократно исполнял просьбы Распутина об отмене высылки немецких подданных в Сибирь. Эти просьбы исходили от меня, и я пользовался Распутиным, как посредником. За возвращенных германцев мне приходилось поручаться. В действительности большинство прошений о германских подданных исходило от царицы. Но она не считала возможным сама открыто выступать за германских подданных.

На одно такое прошение я вдруг получил от великого князя следующий телеграфный ответ:

— Удовлетворено в последний раз. В случае присылки новых прошений вышлю в Сибирь.

Я поспешил к Распутину, поднял большой шум и горько жаловался на угрозу главнокомандующего. Распутин улыбался. Он успокаивал меня и объяснял все недоразумением. Он решил лично поехать в главную квартиру и там с Верховным Главнокомандующим выяснить это недоразумение.

Он об этом телеграфировал Николаю Николаевичу, но через три часа получился очень определенный ответ:

— Если приедешь, то велю тебя повесить.

Ответ Николая Николаевича сильно задел Распутина. С тех пор он носил при себе мысль отомстить Николаю Николаевичу при первом случае.

Я начал бояться за свою судьбу и упрекал Распутина в том, что благодаря его деятельности наше положение стало угрожающим. Я стал объяснять ему, что он ничего не достиг, ни заключения мира, ни уравнения в правах инородцев, только вызвал против себя ненависть, которая ничего доброго не обещает.

Последовал гордый ответ Распутина: «Люди, подобные мне, родятся только раз в столетие. Но моя власть не может распространяться на все. Все нужное для меня я достигаю».

Вскоре после этого состоялось уже упомянутое совещание с представителями еврейства, на котором Распутин обещал добиться удаления Николая Николаевича.

При посещении в один из последующих дней мне бросилось в глаза странное поведение Распутина. Он ничего не ел, но все время пил мадеру. При этом он был молчалив, часто вскакивал, как будто ловил кого-то порывистыми движениями рук... грозил кулаком и вскрикивал: «Я ему покажу». Было ясно, что он собирался кому-то отомстить.

Подобное поведение я уже замечал у него раньше. Злобно он все повторял:

— Я с ним справлюсь. Я ему покажу.

Он находился в каком-то особом состоянии и был погружен совсем в себя. Такое состояние продолжалось целый день. Вечером он отправился в сопровождении агента охранной полиции (такой был заведен порядок) в баню и вернулся домой в десять часов. Он имел очень утомленный вид и молчал. Мне было знакомо это состояние, и я не беспокоил его разговорами, и даже распорядился, чтобы в этот вечер никого не принимать. Молча, ни на кого не смотря, Распутин прошел в свою рабочую комнату, написал что-то на записке, сложил ее и направился в свою спальню. Здесь он засунул записку под подушку и лег. Как я уже говорил, и раньше приходилось наблюдать у Распутина такого рода напоминающее колдовство поведение. Так как он в таких случаях не желал, чтобы его беспокоили, сейчас же заснул и проспал без перерыва всю ночь.

Однажды я спросил Распутина, какие это записки он кладет себе под подушку. Он ответил, что он записывает на записках свои желания, которые во время его сна исполняются. Это он мне говорил совсем серьезно: по-видимому, он верил в чудотворное действие записок, и эта вера действовала очень заразительно.

Распутин рассказывал, что в то время, когда он еще не умел писать, ему приходилось свои пожелания отмечать путем нарезов на палке и таким образом он предотвратил много несчастья.

После того, как он научился писать, он уже не нуждался в палке, но прибегал к запискам. На другой день после переданного случая, он еще спал, когда я к нему пришел. Он вышел только спустя некоторое время, и в сразу заметил, что его вид был совсем другим, чем за день перед тем. Он был оживлен, благожелателен и любезен. В его руках находилась лежавшая ночью под его подушкой записка. Эту записку он растер своими пальцами, и, когда она превратилась в мелкие кусочки, он бросил ее. При этом он сказал мне с любезной улыбкой: — Симанович, ты можешь радоваться. Моя сила победила.

— Я тебя не понимаю, — ответил я.

— Ну, так ты увидишь, что случится через пять или шесть дней. Я поеду к папе и расскажу ему всю правду.

— И твоя правда должна победить папу? — спросил я.

— Моя власть и правда будут царю известны через три дня, — ответил гордо Распутин. — Я должен ему только предсказать будущее.

Он просил меня соединиться по телефону с Царским Селом. Соединение было дано немедленно, так как телефонная станция имела распоряжение Распутина соединять с царем всегда немедленно. Такое же распоряжение было отдано телеграфному ведомству, так что телеграммы Распутина всегда передавались первыми.

— Чем занят папа? — спросил Распутин.

— Он занят со своими министрами, — последовал ответ.

— Доложи ему, что у меня имеется божественное послание для него.

Распутина соединили с царем.

— Кто там? — спросил Распутин.

— Папа. Что случилось, отец Григорий?

— Это я не могу по телефону сказать, — пояснил Распутин, — могу ли я приехать?

— Пожалуйста. Я тоже хочу с тобой говорить.

Распутин поехал в Царское Село и был немедленно принят. Как он мне потом рассказывал, разыгралась следующая сцена.

Распутин обнял царя и прижал трижды свою щеку к его, как это он привык делать с людьми, которые были ему симпатичны и приятны. Потом он рассказал царю, что ночью он имел божественное явление. Это явление передало ему, что царь получит после трех дней телеграмму от Верховного Главнокомандующего: в которой будет сказано, что армия обеспечена продовольствием только на три дня.

Распутин сел за стол, наполнил два стакана мадерой и велел царю пить из его стакана, между тем как он сам пил из царского.

Потом он смешал остатки вина из обоих стаканов в стакан царя и велел ему выпить это вино. Когда царь этими мистическими приготовлениями был достаточно подготовлен, Распутин объявил, чтобы он не верил телеграмме великого князя, которая придет через три дня. Армия имеет достаточно продовольствия. Николай Николаевич желает только вызвать панику и беспорядки в армии и на родине, затем, под предлогом недостатка в продовольствии начать отступление и, наконец, занять Петербург и заставить царя отказаться от престола.

— Что мне делать? — спросил он опасливо.

— Он хочет меня сослать в Сибирь, но я его отправлю на Кавказ, — ответил Распутин.

Царь понял намек. Можно представить себе его потрясение, когда через три дня от Верховного Главнокомандующего пришла телеграмма, которая сообщала, что армия снабжена хлебом только на три дня. Этого было достаточно, чтобы решилась участь великого князя. Никто уже теперь не мог разуверить царя в том, что великий князь замышляет поход на столицу и намеревается свергнуть с престола царя. Великий князь был назначен главнокомандующим кавказской армией, а царь принял на себя верховное главнокомандование. В этом царь также последовал совету Распутина.

Николай был ошеломлен, так как он верил предсказаниям Распутина.

Три дня Николай Николаевич оставался еще в главной квартире. Царица-мать хотела уговорить царя отменить его распоряжение подать Николаю Николаевичу поезд, который должен был доставить его на Кавказ.

ДАР ПРОЗОРЛИВОСТИ У РАСПУТИНА

Я посещал Распутина всегда с утра, и мы с ним устанавливали программу дня. В то же время я узнавал события прошедшего вечера. Мы всегда обменивались нашими сведениями.

Однажды я нашел Распутина в большом волнении и заключил из этого, что с ним происходит что-то особенное, и опять проявляется его «сила». Он меня, действительно, удивил ошеломляющим сообщением.

— Слушай, Арон, в Киеве готовится еврейский погром. Ты должен принять меры.

Можно себе представить, насколько меня такое сообщение поразило. Я имел в Киеве много родственников, и нападки на евреев мне и так причиняли много хлопот. На мою просьбу о сообщении подробностей, Распутин ограничился еще более неясным намеком:

— Нужно будет кончить со стариком, — сказал он.

Прозвище «старик» нами всегда употреблялось для председателя совета министров. В то время эту должность занимал Столыпин. Намек Распутина я мог только понять, в том смысле, что Столыпин скоро умрет. Ближайшие подробности о предстоящем несчастье мне не были сообщены.

Я старался разузнать у Распутина, почему Киеву угрожает еврейский погром и каким путем можно его предотвратить. В случае необходимости я хотел послать в Киев предупреждение. К моему удивлению, Распутин объяснил мне, что избежать погрома можно лишь в том случае, если царь при своей поездке в Киев не возьмет с собой Столыпина, так как Столыпина в Киеве убьют, и он больше не вернется в Петербург.

Я должен сознаться, что даже при моей вере в способность Распутина предсказывать будущее это откровение мне показалось мало вероятным.

Несмотря на мою малообразованность, во мне часто возникали сомнения в возможности тому подобных чудес и что не кроется ли за ними надувательство. Однако многое из деятельности Распутина возбуждало во мне большое изумление, несмотря на то, что я знал, что он большой ловкач и великолепно умел использовать свое положение при дворе. Что же касается указанного предсказания, то я не знал, что о нем думать. Несколько дней спустя Распутин рассказывал мне, что он имел с царем беседу по поводу его предстоящей поездки в Киев. Результатом беседы он был очень недоволен. Он предупреждал царя и советовал ему не брать с собою Столыпина. Хотя он и не предупреждал самого Столыпина о грозящей ему опасности, ибо он не был его другом, но так как царь в нем нуждался, то нужно было его щадить. Столыпин меня не трогает, — пояснил Распутин, — и я не хочу подставлять ему ногу.

Царь также не обратил особого внимания на это предсказание Распутина. Он не хотел отказаться от сопровождения его Столыпиным.

Это послужило поводом недовольства Распутина, которое не было вызвано тщеславием, а сознанием того, что поездкой решается судьба Столыпина.

Столыпин поехал в Киев и был там убит агентом Киевской охранной полиции, евреем Багровым.

Когда я впоследствии рассказывал этот случай моим знакомым из придворных кругов, то некоторые из них высказали мысль, что царь, может быть, потому и взял с собой Столыпина, что верил предсказаниям Распутина.

Я считаю это мнение совершенно необоснованным. Хотя и Николай верил предсказаниям Распутина, но это предсказание могло и ему показаться слишком невероятным, чтобы ему верить.

После покушения на Столыпина царь послал Распутину телеграмму: — Что делать? — Распутин ответил телеграммой: — Радость, мир, спокойствие! Ты, миротворец, никому не мешаешь. Кровь инородцев на земле русского царя столь же ценна, как своих собственных братьев.

Царь распорядился о принятии всех мер против возможных выступлений против евреев. Реакционеры были разочарованы. Погром не состоялся.

Продолжение следует.

В МИРЕ КНИГ

ЛЮБИМЫЕ ГЕРОИ

Воениздат в этом году сделал нам щедрый подарок: «Избранное» в двух томах Олега Михайлова. Почему подарок! И что же вошло в эти два тома! Лично я хорошую современную историческую прозу, изданную массовым тиражом, расцениваю только как подарок, поскольку ее крайне мало. И она все еще ходит у издателей в пасынках.

А тут сразу четыре лучших исторических произведения Олега Михайлова. И «Суворов», написанный легко и весело, грустно и надсадно печально, как протекала сама жизнь великого русского полководца, не знавшего поражений за всю свою долгую боевую жизнь, но испытавшего и милость царскую и хулу.

Тут же историческая повесть «Поручик Державин», рассказывающая о бурной полковой молодости предшественника Пушкина, поэта божьей милостью Гаврилы Романовича Державина. И очень короткая, но захватывающая по своей пронзительной правдивости повесть «Перевал». Командующий русскими войсками Иосиф Владимирович Гурко одолевает снежные суровые Балканы, чтобы освободить Болгарию от турецкого ига. Этот тяжелейший переход через горы и стал самой блистательной страницей в его долгой жизни.

Роман «Генерал Ермолов» — одно из первых исторических полотен писателя Олега Михайлова. Может, оттого еще оно осталось для него столь любимым, что и сейчас он вспоминает о поре написания и о самом романе с юношеской восторженностью. Конечно, Алексей Петрович Ермолов, герой Отечественной войны 1812 года, фигура в русской военной истории могучая, требующая серьезного и вдумчивого взгляда, углубленного изучения. Михайлов не жалел сил и не тратил времени зря. Он познал генерала и открыл его в пору и до сих пор, к сожалению, продолжающегося незаслуженного порицания героя Отечественной войны 1812 г.

Нам нет нужды особо выделять, кому эти книги могли бы быть интересны. Написанные талантливо, с широким охватом исторических картин, наполненные бытом и великолепным знанием русской жизни, они доставят удовольствие каждому, у кого открыта душа к познанию отечественной истории, мужественных и сильных зиждителей ее — бессмертных героев России.

А. К.

Михайлов О. Н. Избранное. В 2-х т. Т. 1. Т. 2. — М.: Воениздат, 1989.

НОВИНКИ:

Валишевский К. ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКОГО: Репринтное воспроизведение с изд. А. С. Суворина. — М.: ВААП-Информ, 1989. — 562 с., ил.— 23 р. 200 000 экз.— По заказу СК «Партнер».

Карамзин Н. М. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО: В 4-х кн. Кн. I. Т. 1—3. — Ростов-на-Д.: Кн. изд-во, 1989. — 525 с. — 5 р. 100 000 экз.

Полян П. М. ВЕНИАМИН ПЕТРОВИЧ СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ. 1870—1942. — М.: Наука, 1989. — 127 с., ил. — (Науч.-биогр. серия). — 30 к. 24 000 экз.

Лощиц Ю. ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ: Роман. — М.: Изд-во ДОСААФ, 1989. — 398 с. — (Отчизны верные сыны). — 3 р. 40 к. 100 000 экз.

Жданов Н. В., Игнатенко А. А. ИСЛАМ НА ПОРОГЕ XXI ВЕКА. — М.: Политиздат, 1989. — 352 с. — 1 р. 100 000 экз.

Буганов В. И. ПЕТР ВЕЛИКИЙ И ЕГО ВРЕМЯ. — М.: Наука, 1989. — 189 с. — (Страницы истории нашей Родины). — 1 р. 50 к. 50 000 экз.

Резун Д. Я., Васильевский Р. С. ЛЕТОПИСЬ СИБИРСКИХ ГОРОДОВ. — Новосибирск: Кн. изд-во, 1989. — 304 с. — 80 к. 15 000 экз.

Продолжение. Начало в №№ 6—12/1988 и 1—3, 5—7/1989

Ведут Павел БОНДАРОВСКИЙ и Александр НАЛОЕВ

David Cassidy
Дэвид Кэссиди

Американский певец.
12.IV.1950, New York.

Родился в семье актеров Джека Кэссиди (Jack Cassidy) и Эвелин Уорд (Evelyn Ward). Известность и популярность принесло ему участие в еженедельной телепрограмме «Partridge Family». В 1970 году одна из прозвучавших в программе песен, «I Think I Love You», была выпущена на сингле, который разошелся тиражом свыше пяти миллионов экземпляров, ознаменовав рождение новой поп-музыкальной звезды. Дэвид исполнял композиции в мягкой, проникновенной манере и в рамках одного стиля, названного софт-поп. 30 сентября 1972 года сингл Дэвида Кэссиди «How Can I Be Sure?» возглавил британский национальный хит-парад; 27 октября 1973-го аналогичное признание получила песня «Puppy Song». В десятку лучших входили записанные им композиции «Could It Be Forever?», «Rock Me Baby», «If I Didn't Care», «Darlin'», «I Write The Songs». Певец активно гастролировал по США и странам Европы. По уровню массовой истерии, охватывавшей публику при одном только появлении Дэвида на сцене, его концерты сравнимы лишь с концертами квартета «The Beatles» середины 60-х годов или чуть более поздними выступлениями групп «The Osmonds», «The Bay City Rollers». 26 мая 1974-го во время концерта Дэвида Кэссиди на лондонском стадионе «White City» толпой была насмерть задавлена 14-летняя девочка, пытавшаяся пробраться поближе к сцене. Известие об этом настолько потрясло певца, что в дальнейшем он отказался выступать перед подростковой аудиторией. Лучшим в дискографии Дэвида Кэссиди стал альбом «Dreams Are Nuthin' More Than Wishes» (1975), включивший, кроме уже известных публике хит-композиций, две песни, сочиненные им самим совместно с певицей Ким Карнс (Kim Carnes) и ее мужем Дэйвом Эллингсоном (Dave Ellingson), — «Can't Go Home Again» и «It's Preying On My Mind». В надежде завоевать успех у слушателей среднего поколения Дэвид изменил репертуар и сценический имидж, но в результате популярность его резко снизилась. Вскоре он вообще покинул рок-сцену. Женившись в 1977 году на актрисе Кэй Ленц (Kay Lenz), он поселился на Гавайских островах (Hawaii). Лишь в 1985-м певец вновь заявил о себе, выпустив альбом «Romance» и сингл «The Last Kiss», попавший как в британский, так и в американский хит-парады.

C. C. Catch
Си Си Кетч

Западногерманская певица.
Настоящее имя: Caroline Müller.
1964.

Родилась и выросла в Голландии. Родители хотели, чтобы дочь стала портнихой, но Каро (Caro), как ее звали дома, мечтала о славе поп-звезды. В 17 лет она отправилась в ФРГ на конкурс молодых талантов и одержала победу, после чего вошла в состав женского вокального ансамбля «Optimal» в городе Оснабрюк (Osnabrück). Коллектив пользовался успехом, и ему предложили сделать серию записей для радио. Пленки услышал известный музыкант, певец и композитор, участник дуэта «Modern Talking» Dieter Bohlen, которого заинтересовала оригинальная вокальная манера солистки. Он пригласил Каро в Гамбург, где в студии «Intersong» помог ей записать несколько композиций, сочиненных первоначально для «Модерн Токинг». Взяв псевдоним C. C. Catch, певица вскоре выпустила дебютный сингл «I Can Loose My Heart Tonight», сразу попавший в хит-парады многих западноевропейских стран. Большую популярность завоевали и следующие синглы — «'Cause You Are Young» и «Strangers By Night». Появившийся в 1986 году дебютный альбом Си Си Кетч, «Catch The Catch», составленный из уже знакомых публике песен, разошелся огромным тиражом и заметно увеличил число поклонников стиля диско-поп-соул. В аналогичном ключе выдержан и второй диск певицы, «Like A Hurricane» (1987), встреченный, впрочем, более сдержанно как публикой, так и критикой.

Диски: Catch The Catch (1986); Like A Hurricane (1987); Diamonds — Her Greatest Hits (1988).

Nick Cave
Ник Кейв

Австралийский певец, композитор, поэт.
1958, Melbourne, Australia.

Свой первый ансамбль, «The Boys Next Door», Ник Кейв образовал в Мельбурне еще школьником, но лишь в 1978 году удалось заключить контракт с фирмой грампластинок «Mushroom Records». Ядро коллектива к этому моменту составляли вместе с ним гитарист Rowland S. Howard и ударник Mick Harvey. После ряда изменений в составе постоянными участниками группы стали также Phil Calvert и Tracy Pew. Дебютный альбом, «Door Door» (1979), был выдержан в традициях хард-рока. Вскоре, однако, ансамбль изменил стиль, приняв и новое название, «The Birthday Party». Одноименный диск демонстрировал необычное смешение сразу нескольких стилевых направлений (dark wave, noise rock, post punk). В звучании композиций определяющими стали экстатичный вокал Кейва и неистовые гитарные пассажи Ховарда. В конце 1980 года музыканты покинули Австралию и обосновались в Лондоне (позднее переехали в Нью-Йорк, затем — в Западный Берлин). Песни ансамбля (автор текстов — Ник Кейв) пронизаны отчаянием, безысходностью, предчувствием надвигающейся глобальной катастрофы. Коллектив выпустил еще два диска и четыре мини-альбома. Среди последних примечателен «Drunk On The Pope's Blood» (1982), на второй стороне которого воспроизведены концертные записи певицы Лидии Ланч (Lydia Lunch). Мини-альбомы «The Birthday Party» и «Hee Haw» содержат варианты композиций диска «The Birthday Party» и прежде не реализованные записи раннего периода. Пластинка «Mutiny!» (1983) вышла уже после распада группы. Роуланд Ховард перешел в ансамбль «Kas Product» (Франция), но вскоре покинул его и основал группу «Crime and The City Solution», куда также вошли Мик Харви (ударные), Harry Howard (бас-гитара, брат Роуланда Ховарда) и Simon Bonney (вокал). Ник Кейв в 1983 году принял участие в создании альбома «Burnin' The Ice» западноберлинской группы «Die Haut», где не только исполнил все вокальные партии, но и выступил автором текстов четырех из семи композиций пластинки. В конце того же года он сформировал собственный аккомпанирующий ансамбль «The Bad Seeds» в составе: Barry Adamson (бас-гитара, экс-«Magazine»), Blixa Bargeld (гитара, вокал, «Einstürzende Neubauten»), Мик Харви (ударные, одновременно — в группе Роуланда Ховарда) и Thomas Wydler (экс-«Die Haut»). Дебютный сольный диск певца выдержан в блюзовом ключе с элементами рока «новой волны» («From Her To Eternity», 1984). Наибольший успех имели песни «Avalanche» (автор — Leonard Cohen), «A Box For Black Paul» с этой пластинки, а также вышедший одновременно с ней сингл «In The Ghetto» (оригинальная версия композиции из репертуара «The Birthday Party»). Второй альбом, «The Firstborn Is Dead» (1985), создан в аналогичном стиле; ряд песен свидетельствуют о небезуспешных попытках Ника Кейва применить на новом музыкальном уровне вокальные приемы Элвиса Пресли (Elvis Presley). Альбом пользовался успехом не только в Европе, но и в США.

Мини-альбом «Tupelo» (1985) был выпущен исключительно для американского рынка и включал четыре композиции: «Tupelo», «In The Ghetto», «The Moon Is In The Gutter» и «The Six Strings That Drew Blood» (последняя — из репертуара «The Birthday Party»). Диск «Kicking Against The Pricks» составили двенадцать балладных интерпретаций заимствованных песен разных авторов, но тематически все они соответствуют взглядам и настроениям Кейва, повествуя о безответной любви, одиночестве, роковой предопределенности судьбы. Высокие оценки критиков получил диск «Your Funeral, My Trial» (1986), композиции которого аранжированы в стиле, близком к жесткому фолк-року, с использованием Хэммонд-органа (Hammond-organ) и даже ксилофона; настроение текстов по-прежнему минорное, но в данном случае это скорее сентиментальность, чем отчаяние. Вышедший осенью 1988 года альбом «Tender Pray», как и диск «Kicking Against The Pricks», включил разностилевые композиции. Ник Кейв демонстрирует всю многоплановость своего таланта, но и лишний раз подтверждает сложившееся о нем мнение как о «певце обреченности». Наряду с концертными выступлениями и записью пластинок Кейв снимался в кино (фильмы «Ghosts», «Wings Of Desire); он автор романа «И явился ослу ангел» («And The Ass Saw The Angel»), поэтического сборника «Королевские чернила» («King Ink»; обе книги выпущены лондонским издательством «Black Spring»), соавтор (с Лидией Ланч) ряда одноактных пьес, полных иронии и гротеска. В отличие от большинства художников он ценит лишь сам процесс творчества и быстро теряет интерес к уже завершенным произведениям, настолько, что не хранит ни выпущенные им пластинки, ни изданные книги.

Дискография: *с группой «The Boys Next Door»* — Door Door (1979, Mushroom Rec.); Hee Haw (1979 & 1983, Missing Link Rec., EP);

с группой 'The Birthday Party' — The Birthday Party (1980, Missing Link); Prayers On Pire (1981, 4AD/Thermidor Rec.); Drunk On The Pope's Blood (1982, 4AD, EP, live; with Lydia Lunch); Junkyard (1982, 4AD); The Bad Seed (1983, 4AD, EP); The Birthday Party (1983, 4AD, EP); Mutiny! (1983, Mute Rec., EP); It's Still Living (1985, Missing Link); A Collection... (1985, Missing Link; 1986, Suite Beat Rec., hits);

с группой «Die Haut» — Burnin' The Ice (1983, Illuminated Rec.);

с группой «The Bad Seeds» — From Her To Eternity (1984, Mute Rec.); The Pirstborn Is Dead (1985, Mute/Homestead Rec.); Tupelo (1985, Homestead, PR); Kicking Against The Pricks (1986, Mute); Your Funeral, My Trial (1986); Tender Pray (1988).

Ray Charles
Рэй Чарлз

Американский певец, музыкант, композитор, аранжировщик.
Настоящее имя: Ray Charles Robinson.
23.IX.1930, Albany, Georgia.

Рэй был еще малышом, когда семья переселилась в Гринвилл, штат Флорида (Greenville, Florida), где сосед-музыкант дал ему первые уроки игры на фортепьяно. Вскоре, однако, занятия пришлось прекратить: от сильного нервного потрясения (на глазах у четырехлетнего Рэя утонул его младший брат George) ускорилось развитие глаукомы, и к шести годам он ослеп. В 1940 году умер отец, и Рэя отправили в Орландо (Orlando, Florida), в интернат для слепых, где он освоил по системе Брайля (Louis Braille) нотную грамоту и теорию композиции, научился играть на нескольких музыкальных инструментах. В 15 лет он похоронил мать и, оставив школу, обосновался в Джэксонвилле (Jacksonville, Florida). В неполные 16 начал выступать в составе группы «The Honeydippers», а в 17, переселившись в Сиэттл, штат Вашингтон (Seattle, Washington), стал работать тапёром в клубе «Rockin' Chair», где исполнял вокальные композиции в манере Нэта Коула (Nat «King» Cole). Вскоре Рэй образовал первый собственный ансамбль, «The McSon Trio», сочетавший стилистику буги и джаза. Переезжая из города в город, коллектив выступал в небольших клубах и даже сделал серию демонстрационных записей. В Лос-Анджелесе Рэю удалось заключить контракт с фирмой «Swing Time Records» на запись сольного сингла «Confession Blues», но пластинка не была выпущена. Зато следующая записанная композиция, «Baby Let Me Hold Your Hand» (март 1951), попала в национальный хит-парад США по категории ритм-энд-блюз. Аналогичный успех спустя год имел сингл «Kiss Me Baby» (март 1952, фирма «Swing Time Records»). Записи демонстрировали оригинальную, но эклектичную смесь разных стилей и направлений на базе блюза. В 1952-м Рэй на несколько месяцев отправился в Новый Орлеан (New Orleans), где выступал с гитаристом Эдди Джонсом (Eddie Jones), более известным под псевдонимом «Guitar Slim». Исполнительская манера Джонса отличалась как раз тем, чего не хватало Чарлзу, — смелой, азартной спонтанностью импровизаций. Часто и подолгу Рэй бывал в негритянских церквах Нового Орлеана, вслушиваясь в духовные песнопения (спиричуэлз). Когда музыкант вернулся к студийной работе, от недавней эклектичности в аранжировках не осталось и следа: пестрая стилевая смесь превратилась в его работах в гармоничный синтез ритм-энд-блюза, джаза, спиричуэлз, госпелз. В 1953 году в радиостудии города Атланта (Atlanta, Georgia) с помощью продюсера Джерри Уэкслера (Jerry Wexler) он записал собственную композицию «I Got A Woman», которая, однако, вышла на сингле лишь в январе 1955-го (13 августа 1963-го в студии радиостанции «BBC» ее записал и квартет «The Beatles»). В начале 1954 года Рэй Чарлз дебютировал на нью-йоркской фирме грампластинок «Atlantic Records» с синглом «It Should've Been Me», 24 марта занявшим 7-е место в национальном хит-параде США по категории ритм-энд-блюз. Большим успехом пользовалась и следующая, авторская композиция, «Don't You Know» (август 1954). Пластинки представляли качественно новую музыку — музыку соул. Изменилась и певческая манера Чарлза: прежде лишь экспрессивная, она стала и импрессивной — заразительной, возбуждающей. 3 июля 1957 года вышел его дебютный альбом «Ray Charles» (В 1959-м издан и в Англии, фирмой «Xtra Records»), а 5 июля 1958-го Рэй Чарлз принял участие в ньюпортском музыкальном фестивале «Newport Jazz Festival». Однако подлинное признание как автору и исполнителю принес ему сингл «What'd I Say» (июль 1959), разошедшийся тиражом свыше миллиона экземпляров. На годы вперед эта композиция стала традиционным завершающим номером концертов Чарлза (в исполнении Тони Шеридана — Tony Sheridan — и квартета «Битлз» фигурирует на диске «The Beatles' First», 1964, записанном в мае 1961 года; в январе 1969-го «Битлз» записали эту песню для фильма «Let It Be», но впоследствии исключили). После появления синглов «I'm Movin' On» (ноябрь) и «Come Rain Or Come Shine» (декабрь 1959) он перешел на фирму «ABC-Paramount Records», где дебютировал летом 1960-го с синглом «Sticks And Stones» (3.VII.— № 2; продюсер — Sid Feller), а 14 ноября того же года его композиция «Georgia On My Mind» возглавила национальный хит-парад США. Еще более крупным успехом пользовались концерты Рэя Чарлза, на которых он выступал в сопровождении инструментального ансамбля из семи музыкантов и женского вокального квартета «The Raelettes». Порой он вызывал смятение в стане своих поклонников тем, что вдруг резко менял стилистику. Например, после диска «Soul Meeting», записанного совместно с группой «The Modern Jazz Quartet», возглавляемой вибрафонистом Милтом Джексоном (Milt Jackson), он выпустил в 1962 году альбом «Modern Sounds In Country And Western Music», выдержанный в традициях музыки кантри-энд-вестерн. Огромную популярность приобрела включенная в эту пластинку обработка песни Дона Гибсона (Don Gibson) «I Can't Stop Loving You»; сингл с ее записью разошелся трехмиллионным тиражом и 2 июня на пять недель возглавил американский хит-парад, превысив успех даже такой блестящей ритм-энд-блюзовой композиции, как «Hit The Road Jack» (9.X.1961 — № 1), специально написанной для Рэя Чарлза Перси Мэйфилдом (Percy Mayfield). В дальнейшем высокие места в таблице популярности занимали синглы Чарлза «Your Cheatin' Heart» (ноябрь, 1962), «Take These Chains From My Heart» (апрель 1963), «Busted» (сентябрь 1963), «Crying Time» (декабрь 1965). Во второй половине 60-х он чаще исполнял обработки заимствованных песен, чем собственные; среди лучших — интерпретации песен «Yesterday» и «Eleanor Rigby» Леннона и МакКартни (Lennon — McCartney), выпущенные на синглах, соответственно, в ноябре 1967-го и июне 1968-го. 16 августа 1968 года «золотым» стал двойной альбом Рэя Чарлза «A Man And His Soul» (1967), свидетельствующий о его возвращении от экспериментов в области джаза, поп-рока и кантри-энд-вестерн к истокам — музыке соул. В 1976 году, совместно с английской джазовой певицей Cleo Laine, Чарлз записал альбом «Porgy And Bess», составленный из оригинальных интерпретаций арий одноименной оперы Джорджа Гершвина (George Gershwin). Популярность музыканта с годами не снижается. В 1979-м в национальный хит-парад США попадает его альбом «Ain't It So», 10 ноября того же года аналогичное признание получает сингл «Just Because». 23 июня 1983-го Чарлз участвует в открытии, а затем и во всей одиннадцатидневной программе нью-йоркского джазового фестиваля «The Cool Jazz Festival», в числе звезд которого — Miles Davis, B.B.King. Он вновь обращается к музыке кантри (альбом «Wish You Were Here Tonight», 1983), а в 1985 году вместе с другими звездами американской поп- и рок-сцены принимает участие в записи знаменитого сингла «We Are The World» (авторы — Michael Jackson и Lionel Richie), с 13 апреля четыре недели возглавляющего хит-парад; весь доход от продажи пластинки и проведения серии благотворительных акций (47 миллионов долларов) поступил в фонд помощи голодающим Африки. В июне 1986 года Рэй Чарлз гастролировал в Лондоне, где ему аккомпанировал Королевский филармонический оркестр (Royal Philharmonic Orchestra). К концу 80-х количество выпущенных им альбомов превысило шесть десятков, однако его место в истории рок-музыки определили прежде всего ранние работы, оказавшие огромное влияние на творчество как негритянских, так и белых исполнителей и композиторов. Элементы вокальной манеры Рэя Чарлза и его фортепьянной техники унаследовали Joe Cocker, Eric Burdon, Stevie Winwood, «Long» John Baldry, David Clayton-Thomas и, конечно же, Stevie Wonder, выразивший свои чувства к «отцу музыки соул» в песне «Tribute To Uncle Ray».

Диски: Ray Charles (1957, Atlantic Rec.); Yes Indeed (1958, Atlantic); Ray Charles At Newport (1958, Atlantic, live); What'd I Say? (1959, Atlantic); Ray Charles In Person (1960, Atlantic); Do The Twist With Ray Charles (1960, Atlantic); The Genius Sings The Blues (1960, Atlantic); The Genius Of Ray Charles (1960, Atlantic); Genius+Soul==Jazz (1960, Impulse Rec.); The Genius After Hours (1961, ABC-Paramount Rec.); Soul Meeting (1961, Atlantic, with Milt Jackson); Dedicated To You (1961, ABC-Paramount); Modern Sounds In Country And Western Music (1962, ABC-Paramount); Modern Sounds In Country And Western Music, vol. 2 (1962, ABC-Paramount); Ray Charles Story, vol. 1 (1962, Atlantic, hits); Ray Charles Story, vol. 2 (1962, Atlantic, hits); Brothers In Soul (1963, ABC-Paramount); Sweet And Sour Years (1963, ABC-Paramount); Have A Smile With Me (1964, ABC-Paramount); Ray Charles Live — The Great Concerts (1965, Atlantic, live); Together Again (1965, ABC-Paramount); Crying Time (1966, ABC-Paramount); Ray's Moods (1966, ABC-Paramount); A Man And His Soul (1967, ABC-Paramount, 2LP); Listen (1967, ABC-Paramount); A Portrait Of Ray (1968, ABC-Paramount); A 25th Anniversary In Show Business Salute (1971, Atlantic, 2LP, hits); Come With Me (1974, ABC-Paramount, live); Focus On Ray Charles (1975, ABC-Paramount, hits); Porgy And Bess (1976, RCA Rec., 2LP, with Cleo Laine); True To Life (1977, Crossover/ABC-Paramount); Ray Charles' Blues (1978, Crossover/ABC-Paramount); Ain't It So (1979, Crossover/ABC-Paramount); I Can't Stop Loving You (1980, ABC-Paramount); Brother Ray (1981, ABC-Paramount); Wish You Were Here Tonight (1983, CBS Rec.); From The Pages Of My Mind (1986, CBS).

Cheap Trick
Чип Трик

Американский ансамбль. Основан в 1973 году.
Начальный состав: Rick Nielsen — гитара, вокал, Robin Zander — вокал, гитара, Tom Petersson — бас-гитара, вокал, Bun E. Carlos (настоящее имя — Brad Carlson) — ударные.

Определяющим для этого коллектива является синтез хард-рока и мелодичной поп-шлягерности композиций, вылившийся в новое стилевое направление — так называемый метал-поп-рок. Рик Нилсен начинал профессиональную карьеру в поп-ансамблях города Рокфорд, штат Иллинойс (Rockford, Illinois). Играл в группах «Phaetons», «The Boyz», «The Grim Reapers». В 1967 году основал ансамбль «Fuse», в состав которого вошли Joe Sundberg (вокал), Craig Myers (гитара), Tom Petersson (бас-гитара) и Chip Greenman (ударные). В 1969-м коллектив записал альбом «Fuse» (фирма «Epic Records»), стилистически близкий к английской бит-музыке начала 60-х, но успеха он не имел. Спустя два года новым вокалистом группы стал Robert Anthony, а ударником — Bun E. Carlos. Изменив название на «Sick Man Of Europe», ансамбль отправился в длительную гастрольную поездку по странам Европы. В 1973-м Роберта Энтони сменил вокалист Robin Zander, прежде работавший сольно в стиле поп-фолк; после его прихода коллектив принял название «Cheap Trick». Первые годы музыканты активно выступали с концертами, но заключить контракт на запись пластинки не удавалось. Лишь в 1976-м, во время гастролей в городе Уокешо, штат Висконсин (Waukesha, Visconsin, зал «Sunset Bowling Alley»), они привлекли внимание известного продюсера Джека Дугласа (Jack Douglas, работал с «Aerosmith», продюсировал альбом «Double Fantasy» Джона Леннона и Йоко Оно — John Lennon, Yoko Ono). Результатом их сотрудничества стал альбом «Cheap Trick», появившийся в феврале 1977 года. Однако успех, да и то пока средний, принес группе следующий диск, «In Colour», выпущенный в конце того же года. Решающими оказались гастроли коллектива в Японии (1978), где музыканты выступили в высшей степени удачно. Записанный в пригороде Токио концертный альбом «Live At Budokan» (1978) вызвал массовый интерес и в США, разойдясь к 22 мая 1979-го миллионным тиражом. 13 августа сингл с одной из композиций диска, «I Want You To Want Me», стал «золотым» (примечательно, что эта же песня на студийном диске «In Colour» почти не привлекла внимания). К моменту выхода очередного альбома, «Dream Police» (1979), группа была признана лидером метал-поп-рока. Продюсером следующего диска, «All Shook Up» (1980), выступил легендарный George Martin, чьи музыкальный вкус и коммерческое чутье оказались и на сей раз на высоте: пластинка стала «золотой» за считанные недели. 26 августа 1980-го группу покинул Том Питерссон, начавший самостоятельную карьеру с женой, Dagmar Petersson; его место занял бас-гитарист итальянского происхождения Pete Comita. С ним ансамбль совершил гастрольную поездку по Англии и записал альбом «One On One» (продюсер — Roy Thomas Baker), вышедший в мае 1982-го, когда и Пита Комиту уже заменил новый музыкант, Jon Brant. Диск «Next Position Please» (1983, продюсер — Todd Rundgren) критика определила как крайне неудачный; несколько лучше следующий, «Standing On The Edge (1985). Прежние высокие оценки заслужил альбом «The Doctor» (1986), после появления которого в группу вернулся Том Питерссон. Лишь диск «Lap Of Luxury» (1988) не только подтвердил статус коллектива как лидера метал-поп-рока, но и явился шагом вперед в избранном направлении.

Дискография: Cheap Trick (1977, Epic Rec); In Colour (1977, Epic); Heaven Tonight (1978, Epic); Live At Budokan (1978, Epic, live); Dream Police (1979, Epic); All Shook Up (1980, Epic); One on One (1982, Epic); Next Position Please (1983, Epic); Standing On The Edge (1985, Epic); The Doctor (1986, Epic); Lap Of Lukury (1988, Epic).

Chicago
Чикаго

Американский ансамбль. Основан в 1967 году.
Начальный состав: Robert Lamm (13.X.1944) — клавишные, вокал, Terry Kath (31.I.1946 — 23.I.1978) — гитара, вокал, Peter Cetera (13.IX.1944) — бас-гитара, вокал, James (Jim) Pankow (20.VIII.1947) — тромбон, вокал, Walter Parazbider (14.III.1945) — саксофон, кларнет, флейта, вокал, Lee Loughnane — труба, вокал, Daniel Seraphine (28.VIII.1948) — ударные.

Группу образовали в 1967 году музыканты, прежде игравшие в разных чикагских поп-ансамблях («The Exceptions», «The Majestics» и др.). Первоначальное название коллектива — «The Missing Links», но в 1968-м было принято новое, «The Big Thing», а затем — «Chicago Transit Authority». В середине того же года менеджером группы стал James William Guercio, до этого работавший с другим чикагским ансамблем, «The Buckinghams» (позднее заключил контракт и с группой «Blood, Sweat and Tears»). По его предложению музыканты в конце 1968 года переехали в Лос-Анджелес, а в начале 1969-го менеджер добился для них контракта с фирмой грампластинок «Columbia Records». К этому времени коллектив был уже хорошо известен в Лос-Анджелесе благодаря регулярным выступлениям в местном клубе «Whisky-A-Go-Go», где исполнял композиции, сочетавшие элементы поп-музыки и джаз-рока. 27—27 июля 1969 года участвовал в фестивале «Seattle Pop Festival», проходившем в городе Вудивилл, штат Вашингтон (Woodenville, Washington), и собравшем 70 тысяч зрителей (выступили также Chuck Berry, Bo Diddley, «The Doors», «Led Zeppelin», «The Byrds», «Vanilla Fudge»). Номера ансамбля имели крупный успех, и музыканты были приглашены на трехдневный международный фестиваль «Texas International Pop Festival», открывшийся 30 августа 1969-го на автодроме города Льюисвилл, штат Техас (Lewisville, Texas; 120 тысяч зрителей; участвовали также «Led Zeppelin», «Grand Funk Railroad», «Canned Heat», «Santana», «Sly and The Family Stone», Janis Joplin, Jahnny Winter, B. B. King. Осенью того же года вышел дебютный альбом ансамбля, «Chicago Transit Authority» (сразу двойной!). 17 декабря он стал «золотым», а одна из его композиций, «25 or 6 to 4», заняла в национальном хит-параде США 4-е место. Звучание альбома определялось оригинальным сочетанием традиций «белого» блюза и специфически джазовых обертонов духовой секции в духе аранжировок ансамбля «Blood, Sweat and Tears». Нарочито сдержанные, упрощенные партии солирующих инструментов и вокала контрастировали с напористым, взрывным звучанием бэкграунда. В 1970 году группа стала называться просто «Чикаго». Ее второй альбом, «Chicago II» (1970), демонстрировал серьезное изменение стиля: композиции здесь мелодичнее, аранжировки спокойнее, экспериментальных элементов почти нет. Пластинка вызвала резкую критику специалистов, но у публики имела крупный успех. Концепция второго альбома обусловила направление дальнейшего творчества коллектива: коммерческий поп-вариант джаз-рока с нарастающим присутствием элементов стиля миддл-оф-зе-роуд (middle-of-the-road). Концертные варианты композиций группы стали звучать заметно дольше студийных из-за внедрения сложных гитарных импровизаций в духе Джими Хендрикса (Jimi Hendrix) — эффектных, но не оригинальных. Слушателям это нравилось, но пресса обвиняла ансамбль в претенциозности. 31 июля 1972 года альбом «Chicago V» стал «золотым», а 19 августа возглавил национальный хит-парад США и лидировал в нем 9 недель. Такой же успех имели альбомы «Chicago VI» (28.VII.1973 — № 1), «Chicago VII» (27.IV.1974 — № 1), «Chicago VIII» (3.V.1975 — № 1) и «Chicago IX — Chicago's Greatest Hits» (13.XII.1975 — № 1 на 5 недель). Все первые десять альбомов группы становились в Америке «платиновыми». В меньшей степени сопутствовала удача синглам ансамбля: «Saturday In The Park» (23.IX.1972 — № 3), «Just You'n'Me» (15.XII.1973 — № 4), «Old Days» (7.VI.1975 — № 5). Лишь 23 октября 1976 года сингл «If You Leave Me Now» занял в национальном хит-параде США первое место. Это была романтическая поп-баллада (автор — Питер Сетера) с диска «Chicago X», вызвавшая сенсацию и на британском музыкальном рынке; 6 ноября она на 4 недели возглавила английскую таблицу популярности. В целом же диск был признан лучшим альбомом 1976 года и отмечен премией «Grammy» (вручена 19.I.1977). Все это время ансамбль работал в стабильном составе, а в 1974-м даже пополнился новым участником — бразильским ударником Лодиром де Оливьерой (Laudir de Oliviera). 23 января 1978 года в результате несчастного случая погиб Терри Кэт; спустя два месяца его заменил в группе гитарист и певец Donnie Dacus. С ним коллектив записал альбомы «Hot Streets» (1978), «Chicago XIII» (1979), синглы «Alive Again» и «No Tell Lover», после чего Донни Дэкус ушел. С середины 1979-го до середины 1982-го ансамбль выступал септетом. В 1981 году испортились отношения с фирмой «Columbia», и музыканты заключили контракт с другой, «Full Moon Records», на которой дебютировали с альбомом «Chicago XV» (1982). В записи следующего диска, «Chicago XVI», участвовал новый гитарист, Bill Champlin. Продюсером пластинок «Чикаго» стал вместо Джеймса Гэрсио не менее авторитетный David Foster. Стилистика и принципы аранжировки композиций при этом изменились: превалировали отныне элементы поп-рока, а джаз-рок отошел на второй план. 11 сентября 1982-го еще один сингл ансамбля возглавил национальный хит-парад США — «Hard To Say I'm Sorry». Эта песня, сочиненная в соавторстве Питером Сетера и Дэвидом Фостером, являлась основной музыкальной темой фильма «Summer Lovers» (режиссер — Randal Kleiser). В дальнейшем, однако, популярность группы снизилась, и в течение двух лет ни одна ее композиция не фигурировала в десятке лучших. Ситуация изменилась в 1984-м, после того, как сингл «Hard Habit To Break» занял 13 октября 4-е место. 2 февраля 1985 года такое же признание получил сингл «You're The Inspiration». В 1986-м группу покинул один из основных музыкантов — бас-гитарист Питер Сетера. Он начал сольную карьеру и в записи альбома «Chicago XVIII» уже не участвовал.

Дискография: Chicago Transit Authority (1969, Columbia Rec., 2LP); Chicago II (1970, Columbia, 2LP); Chicago III (1971, Columbia, 2LP); Chicago At Carnegie Hall (1971, Columbia, 4LP, live); Chicago V (1972, Columbia); Chicago VI (1973, Columbia); Chicago VII (1974, Columbia, 2LP); Chicago VIII (1975, Columbia); Chicago IX — Chicago's Greatest Hits (1975, Columbia, hits); Chicago X (1976, Columbia); Chicago XI (1977, Columbia); Hot Streets (1978, Columbia); Chicago XIII (1979, Columbia); Chicago XIV (1980, Columbia); Chicago XV (1982, Fill Moon/Warner Brothers Rec.); Chicago XVI (1982, Full Moon / Warner Bros.); Chicago XVII (1984, Full Moon/Warnen Bros.); Chicago XVIII (1986, Full Moon/Warner Bros.); Chicago XIX (1988, Full Moon/Warner Bros.).

Продолжение следует.

АФИША ИЗДАТЕЛЬСТВА

ЭКСПРЕСС-ИЗДАНИЯ 1989

Издательство «Художественная литература», ставшее пионером в открытии «белых пятен» нашей литературы и доказавшее, что издательский цикл поддается уплотнению до двух-трех месяцев, по-прежнему лидирует в выпуске экспресс-изданий. Как всегда, они чрезвычайно заманчивы для книгочеев. Судите сами.

КРУПИН В. **Будем как дети.** 22 л., 1 р. 40 к., 150 000 экз.
Эта книга разножанрова — здесь и роман, и повести, и рассказы. А подчинены они одной идее. Отовсюду: из родной автору Вятки, из Москвы и Сибири собрались на страницах книги учителя и врачи, крестьяне и рабочие, художники и безработные, старые и малые, собрались, чтобы решить главные вопросы бытия: в чем смысл жизни, что есть истина, откуда мы пришли, куда идем? И почему высший дар природы — человеческую жизнь — часто тратим на то, чтобы убивать эту жизнь и в себе и в близких?

СБОРНИК «ГОВОРЯ ОТКРОВЕННО» **(писатели о межнациональных отношениях).** 22 л., 1 р., 300 000 экз.
В этом сборнике публикуются статьи по проблемам межнациональных отношений. Их авторы — известные писатели, представители многих народов, населяющих Советский Союз (Ч. Айтматов, Дм. Балашов, В. Быков, А. Вергелис, С. Капутикян, Дм. Лихачев, Б. Олейник, Я. Петерс, Т. Пулатов, В. Распутин, Ю. Самедоглы, Вл. Санги, О. Сулейменов, Ю. Туулик, О. Чиладзе и др.). Эти статьи, разумеется, не исчерпывают темы. Она сложна и многообразна. Отдельные регионы остаются вне поля нашего зрения. Некоторые из авторских суждений являются спорными, дискуссионными. Издательство оставляет за собой право не согласиться с рядом высказываний.

ЕВТУШЕНКО Е. **Граждане, послушайте меня... Стихотворения и поэмы.** 27 л., 2 р. 80 к., 250 000 экз.
В книгу Евгения Евтушенко вошли произведения, написанные им в разные годы. Тематический диапазон их широк — от любовной лирики до острых социальных поэм. Наряду со стихами, неоднократно переиздававшимися и давно полюбившимися читателям, в сборнике представлены и менее знакомые: такие, как «Елабужский гвоздь», «Наследники Сталина», «Вдова Бухарина» и др.

ЗАЙЦЕВ Б. **Улица Святого Николая. Повести и рассказы.** 24 л., 2 р. 50 к., 300 000 экз.
Борис Константинович Зайцев (1861—1972) — прозаик, драматург, переводчик, последний представитель старого литературного зарубежья.
В книгу входят произведения, характеризующие многогранный талант писателя: пронизанные космическим ощущением, чувством слиянности человека с природой рассказы, повесть о духовных исканиях русского интеллигента «Голубая звезда», жизнеописание одного из самых почитаемых на Руси святых — преподобного Сергия Радонежского, воспоминания «Москва», где даются живые портреты А. Чехова, И. Бунина, Л. Андреева и других современников Зайцева. Название книге дал рассказ, посвященный Москве, старому Арбату.

БЕЛОЗЕРСКАЯ-БУЛГАКОВА Л. **Воспоминания.** 15 л., 2 р. 30 к., 100 000 экз.
Книга второй жены М. А. Булгакова Любови Евгеньевны Белозерской-Булгаковой (1895—1987) включает в себя несколько очень интересных материалов: отрывки из ее книги «Страницы жизни», вышедшие в сборнике «Воспоминания о Булгакове» («Советский писатель», 1988) и никогда не публиковавшиеся воспоминания о годах ее вынужденной эмиграции в Константинополе, Берлине и Париже («У чужого порога»), об известном советском ученом-историке Е. В. Тарле (1875—1955).

СБОРНИК. **Сказания русского народа, собранные И. П. Сахаровым.** 22 л., 2 р. 30 к., 100 000 экз.
В сборник Ивана Петровича Сахарова (1807—1863) — своего рода энциклопедический свод русского народоведения — вошли народные игры, загадки, присловья, заговоры, притчи, подробная роспись по дням и месяцам праздников, примет, обычаев и обрядов.

А теперь, уважаемые читатели, вновь наш конкурс. Журнал «Слово» и издательство «Художественная литература» предлагают ответить на три традиционных вопроса. Семь участников, которые пришлют правильные и полные ответы, получат призы — одно из объявленных в «Афише» изданий.

1. Какое произведение посвятил М. А. Булгаков Любови Евгеньевне Белозерской!
2. Москва — место действия многих произведений Бориса Константиновича Зайцева. С этим городом связаны страницы его собственной судьбы. Он работал в газете «Утро России» (проезд, где находилась редакция, ныне носит имя Скворцова-Степанова); проходил военную службу в Александровском военном училище (на теперешней улице Фрунзе), жил в разное время на улицах: Щусева, Алексея Толстого, Герцена, Барыковском переулке. Захаживал на Каляевскую улицу к Леониду Андрееву, в 1909 году присутствовал на открытии памятника Гоголю (Гоголевский бульвар). Все это — сегодняшние названия улиц. Как именовались они в пору, когда по ним ступал Борис Зайцев!
3. Книга И. П. Сахарова «Сказания русского народа» тем и просится на наш конкурс. Ведь немалую ее часть составляют старинные русские загадки. Отгадайте-ка, что это:

Под лесом, лесом
Колесы висят.
Девиц красят,
Молодцев пленят.

Оглобли остались,
А дровни помчались.

Стоит голенище,
В голенище сусное масло.
Смелость, бодрость,
И смерть не далеко.

Возьму пыльно,
Сделаю жидко,
Брошу в пламень,
Будет как камень.

ЭКСПРЕСС-ИЗДАНИЯ 1989

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

СЛОВО № 10 октябрь 1989

Издается с сентября 1936 года

Литературно-художественный
журнал Госкомпечати СССР и Госкомпечати РСФСР

© Издательство «Книжная палата», журнал «В мире книг», 1989

В НОМЕРЕ:

■ **КУЛЬТУРА. Традиции. Духовность. Возрождение.**
Арс. Кузьмин. Русская фотография 1
Ю. Садовников. Снимок на память 3
К. Гамсун. Равного Московскому Кремлю я ничего не видел 7
Л. Скворцов. И любовь к родному языку 12
■ **ВРЕМЯ. Идеи. Диалоги. Поиски.**
Б. Олейник. У нас есть свои ценности... 16
В. Ганичев. Может ли быть общедоступной... «Роман-газета» 19
А. Айзенберг. Ситуация связанных рук 23
С. Семанов. Три несгибаемых Павла 24
А. Алексеев. Опять полуправда 27
■ **ИСТОКИ. Легенды. Исследования. Находки.**
Э. Ренан. Жизнь Иисуса 41
■ **ЛИТЕРАТУРА. Стихи. Повесть. Эссе.**
Поэтический венок 30
В. Белов. Праздник 32
В. Бушин. Курьез с шедевром 45
В. Бондаренко. Несломленный 49
Л. Бородин. Третья правда. Глава из повести 50
Ю. Кузнецов. Стихи. Переводы 58
В. Пикуль. Генерал-от-истории 60
Н. Клюев. Плач о Сергее Есенине 65
Н. Сидорина. «Меня хотят убить» 68
■ **ИСТОРИЯ. Воспоминания. Очерки. Письма.**
Г. Вагнер. Десять лет Колымы за Сухареву башню 74
А. Тимофеев. «Одиссея» Арона Симановича 78
А Симанович. Рассказывает секретарь Распутина 79
Рок-энциклопедия. Эксперимент 83
Экспресс-издания 1989 г. 87
В мире книг 87

Главный редактор **А. В. Ларионов**

Редакционная коллегия: **Д. С. Бисти, В. И. Десятерик, Е. П. Егорунина, В. Н. Звягин, В. И. Капугин** (зам. главного редактора), **Н. П. Карцов, И. П. Коровкин, А. В. Кочетов** (зам. главного редактора), **В. Ф. Кравченко, В. С. Молдаван, А. И. Пузиков, С. В. Сартаков, Н. В. Тропкин, В. С. Хелемендик, Ю. П. Черненевский**

Главный художник **А. Н. Игнатьев**
Художественно-технический редактор **Е. М. Верба**
Технический редактор **Н. Н. Козлова**
Корректор **В. И. Серикова**

Сдано в набор 31.07.89. Подписано в печать 30.08.89. А13351. Формат 84×108/16. Бумага Знаменская 100 гр. Печать глубокая и офсетная. Усл. печ. л. 8,40+0,84+0,42. Усл. кр.-отт. 21,42. Уч.-изд. 14,87+1,06. Тираж 156 662. Заказ 480. Цена 90 коп.

Адрес редакции: 129272, Москва, Сущевский вал, 64

Телефон для справок: 281-50-98

Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфкомбинат Госкомпечати СССР. 170024, г. Калинин, проспект Ленина, 5.

Во всех случаях обнаружения полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться на Калининский полиграфкомбинат по адресу, указанному в выходных сведениях.
Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимается «Союзпечать».

150
ЛЕТ
ФОТОГРАФИИ

Портрет дочери П. А. Столыпина.